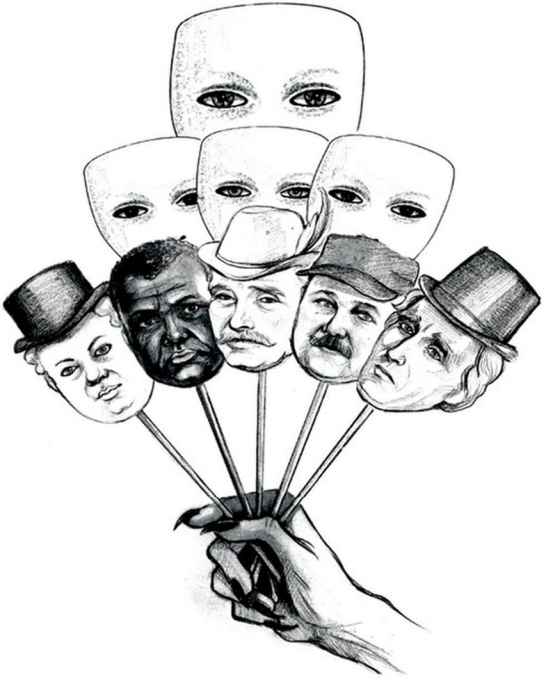
ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ



МАСКАРАД,
ИЛИ
ИСКУСИТЕЛЬ

Маскарад, или Искуситель
Герман Мелвилл

Аннотация
Маскарад, или Искуситель. Герман Мелвилл
Глава I. Глухонемой пассажир плывёт на корабле по Миссисипи
Глава II,. показывающая, что у множества людей есть множество мнений
Глава III,. в которой появляется множество знаков
Глава IV. Возобновление прежнего знакомства
Глава V. Человек с пером порождает вопрос, является ли он великим мудрецом или великим простаком
Глава VI,. в начале которой некоторые пассажиры остаются глухими к просьбе о милосердии
Глава VII. Джентльмен с золотыми пуговицами на манжетах
Глава VIII. Благотворительница
Глава IX. Два бизнесмена проводят маленькую сделку
Глава X. В каюте
Глава XI. Всего лишь страница или около того
Глава XII. История Неудачника, в которой, воз-

можно, собраны все обстоятельства того, справедливо или нет он был наделён своими правами
Глава XIII. Человек в дорожной кепке проявляет щедрое человеколюбие и попутно, как оказывается, доказывает, что он является одним из самых логичных оптимистов
Глава XIV,. которая стоит внимания тех, для кого она достойна внимания
Глава XV. Старый скупец при должном подходе пускается в рискованные инвестиции
Глава XVI. Нетерпеливый больной вынужден стать пациентом
Глава XVII,. к концу которой травяной доктор прощает нанесённую ему обиду
Глава XVIII. Исследование истинной сути травяного доктора
Глава XIX. Солдат удачи
Глава XX. Новое появление того, о ком уже упоминалось
Глава XXI. Непробиваемый
Глава XXII. Спор в вежливой манере эпохи Тускуланов
Глава XXIII,. где естественный пейзаж сильно воздействует на миссурийца, к которому, ввиду окольного пути вокруг Каира, возвращается его холодный припадок

Глава XXIV. Филантроп обязуется переубедить мизантропа, при этом не опровергая его
Глава XXV. Космополит заводит знакомство
Глава XXVI,. говорящая о подоплёке ненависти к индейцам у человека, расположенного к ним не столь дружелюбно, как Руссо
Глава XXVII. Немного о человеке сомнительной морали, которого, тем не менее, как оказалось, называл уважаемым выдающийся английский моралист, заявлявший, что ему нравятся хорошие ненавистники
Глава XXVIII. Спорные вопросы, касающиеся покойного полковника Джона Мердока
Глава XXIX. Собутыльники
Глава XXX,. открываемая поэтической похвальной речью прессе и продолжаемая разговором, вдохновлённым этой похвалой
Глава XXXI. Метаморфоза, более удивительная,. чем у Овидия
Глава XXXII,. показывающая, что время волшебства и фокусников ещё не закончилось
Глава XXXIII,. смысл которой может подойти к любому, кто этого заслуживает
Глава XXXIV,. в которой космополит рассказывает историю безумного месье
Глава XXXV,. в которой проявляется поразитель-

ная простота характера космополита
Глава XXXVI,. в которой к космополиту обращается мистик, после чего следует серьёзный разговор, которого стоило ожидать
Глава XXXVII. Мистик представляет практикующего ученика
Глава XXXVIII. Последователь не поддаётся и соглашается играть сценическую роль
Глава XXXIX. Гипотетические друзья
Глава XL,. в которой из вторых уст пересказывается история Китайской астры, и тем же самым рассказчиком, кто, соглашаясь с её моралью, отказался от её стиля
Глава XLI. Окончательно отвергнутая гипотеза
Глава XLII. В конце последней сцены космополит входит в парикмахерскую с благословением на устах
Глава XLIII. Исполненная очарования
Глава XLIV,. в которой последние три слова последней главы написаны в виде дискуссии, где будет выражена уверенность в большем или меньшем внимании у тех читателей, которые её не пропустят
Глава XLV. Космополит становится серьёзным
Мелвилл и Булгаков: эстафета. Послесловие переводчика

Аннотация

Это последний крупный роман американского классика Германа Мелвилла (романы «Моби Дик», «Редберн», «Марди» и др.), впервые за 160 лет переведённый на русский язык. Сюжет романа таков: Сатана ради забавы выступает под личинами мошенников и философов, в свою очередь выдающих себя за альтруистов и энтузиастов. По мнению литературоведов, прочитанный Булгаковым «Искуситель: его маскарад» (дословный перевод названия) определённо стал прототипом романа «Мастер и Маргарита».Для искушённых читателей.

Маскарад, или Искуситель
Герман Мелвилл

Переводчик Роман Каменский
Дизайнер обложки Д. Шилов

© Герман Мелвилл, 2020
© Роман Каменский, перевод, 2020
© Д. Шилов, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-6162-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

THE

CONFIDENCE-MAN:

HIS MASQUERADE.

BY

HERMAN MELVILLE,
AUTHOR OF "PIAZZA TALES," "OMOO," "TYPEE," ETC., ETC.

NEW YORK:
DIX, EDWARDS & CO., 321 BROADWAY.
1857.

К 200-летию Германа Мелвилла

Глава I
Глухонемой пассажир плывёт на корабле по Миссисипи

На восходе солнца первого апреля на берегу реки в городе Сент-Луисе внезапно, как Манко Капак на озере Титикака, появился человек в кремовом костюме.

Его щёки были выбриты, его пушистый подбородок, его льняные волосы, его шляпа представляли собой единый белый длинный кудрявый ворс. У него не было ни трости, ни чемодана, ни саквояжа, ни пакета. За ним не следовал слуга. Никто не сопровождал его. По пожимаемым плечам, смешкам и удивлённому шёпоту толпы было ясно, что он был в самом прямом значении этого слова чужаком.

В первый же момент своего появления он ступил на борт парохода «Фидель», первого из отправлявшихся в Новый Орлеан. Пристально разглядываемый, но не приветствуемый, в атмосфере отчуждения, не избегая взглядов, но равномерно следуя намеченному пути, проведшему его через пустыни или города, он шёл

по нижней палубе, пока случайно не подошёл к плакату, наклеенному рядом с конторой капитана и предлагавшему вознаграждение за поимку таинственного самозванца, который, как предполагали, недавно прибыл с Востока, — совершенно оригинального гения в своём призвании, как будто бы только что появившегося, хотя, в чём состояла его новизна, ясно не было, но она подразумевалась согласно следующему тщательному описанию его личности. Словно возле театральной афиши, толпа собралась вокруг этого объявления, и среди неё некоторые кавалеры, чьи глаза, словно оно было равниной, в основном или, по крайней мере, искренне пытались разглядеть его через одежду пришедших людей; но что касается ловких кавалеров, то они были заняты неким делом, поскольку во время случайной паузы один из них жестом выказал желание купить у другого, по профессии продавца денежных поясов, одно из его популярных изделий, в то время как другой коробейник, который оказался весьма разносторонним кавалером, распродавал в гуще толпы жизнеописание Мисана, бандита из Огайо, Марелла, пирата Миссисипи, и братьев Харп, головорезов из страны Грин-Ривер в Кентукки, — существ уже иного

вида, всех до единого истреблённых в своё время, как в большинстве случаев охотниками истребляются целые поколения волков в некоторых местностях при оставлении небольшого количества их преемников, что, как считается, является причиной для чистосердечного поздравления всем людям, кроме тех, кто думает, что в новых странах, где уничтожаются волки, увеличивается поголовье лис.

Остановившись в этом месте, незнакомец к настоящему моменту преуспел в том, чтобы проложить себе путь, пока наконец не устроился возле плаката, где, достав маленький кусочек мела и начертав некие слова сверху, принялся держать его перед собой на одном уровне с плакатом так, чтобы те из пассажиров, кто написанные слова уже прочитал, смогли бы прочитать и остальные. Слова были следующие: «Милосердие совсем не зло».

Так же как и в достижении своего нынешнего места, некоторая небольшая устойчивость, если не сказать постоянство, слегка безобидного вида, была неизбежна, но оказалась не самой прекрасной манерой, отчего толпа отметила его очевидное вторжение и при более внимательном обзоре не почувствовала в нём признаков

силы, а, скорее, что-то вполне обратное: он имел вид особенно невинный, такой, который они сочли так или иначе не соответствующим времени и месту, как и его упражнения в письме; короче говоря, видя странного для некоторых простака, довольно безопасного, остающегося самим собой, но не совсем неприятного, а как бы вторгающегося без приглашения, толпа не колебалась в желании оттолкнуть его в сторону, в то время как один человек из толпы, менее добрый, чем остальные, или же оказавшийся большим шутником, ловким незаметным ударом заставил свалиться его кудрявую шляпу с его головы. Не возвращая её на прежнее место, незнакомец спокойно повернулся и снова написал мелом поверху: «Милосердие терпеливо, и это хорошо».

Раздражённая его упорством, как ей это показалось, толпа второй раз оттолкнула его, не без эпитетов и лёгких толчков, вознегодовав всей своей массой. Но затем, как будто наконец отчаявшись из-за сложности ситуации, в которой он один, явно без сопротивления, искал возможность озадачить своим присутствием напавших на него персонажей, незнакомец медленно отошёл дальше, но не прежде, чем изменил свою фразу так: «Милосердие вынесет все испыта-

ния».

Держа свой мелок перед собой подобно щиту, среди пристальных взглядов и насмешек он двигал им медленно вверх и вниз, при каждом повороте снова и снова меняя свою надпись на «Милосердие верит всему» и затем на «Милосердие никогда не проигрывает».

Слово «милосердие», как первоначально начертанное, осталось повсюду невычеркнутым, мало чем отличаясь от цифры, напечатанной слева от даты, которую ради удобства оставляют в бланке.

Для некоторых наблюдателей особенность, если не невменяемость, незнакомца была усилена его немотой и также, возможно, контрастом в его поведении, представленном в его действиях — среди обычного и разумного устройства вещей, — в частности, для корабельного парикмахера, на чью территорию под курительной комнатой напротив бара вела ближайшая дверь, исключая две двери в контору капитана. Поэтому, если длинная широкая крытая палуба с устроенными по обеим сторонам окнами, подобно магазинным, вроде некой константинопольской галереи или базара, была предназначена не только для одной лишь торговли, то корабельный

парикмахер, в фартуке и в туфлях, но моментально раздражающийся, возможно, оттого, что недавно вылез из кровати, оставлял открытым своё помещение на целый день и соответствующим образом приводил в порядок чью-либо внешность. С деловитой распорядительностью он потрещал ставнями, сдвинув их вниз, поставил в угол пальмовое дерево, закрепив его железным фиксатором в небольшой декоративной опоре, и всё это прошло без чрезмерной нежности в отношении локтей и пальцев ног собравшейся толпы. Он закончил свои действия тем, что предложил людям отойти подальше в сторону, и затем, вскочив на табурет, повесил над своей дверью на обычный гвоздь возбуждающе безвкусного вида картонную вывеску, умело выполненную им самим, позолоченную и сходную по виду с изогнутой бритвой, готовой к бритью, с двумя словами, соответствующими общественным интересам, весьма часто замечаемыми на берегу и украшавшими другие лавки, помимо лавки парикмахера:

В КРЕДИТ НЕ ОБСЛУЖИВАЮ

Надпись, казалось, была в некотором смысле не менее навязчива в сопоставлении с надписью

незнакомца, но она вызывала у любого человека соответствующую улыбку или удивление, которые оказывались намного меньше негодования; и менее всего, как видно, она была написана ради снискания доброй репутации простака.

Тем временем незнакомец с мелком продолжал медленно двигать им вверх и вниз, давая повод некоторым пристальным взглядам измениться на насмешки, а некоторым насмешкам на толчки, а некоторым толчкам на удары, когда внезапно на одном из своих поворотов он был окликнут сзади двумя матросами, несущими большое бревно; но, поскольку окрик, хоть и громкий, был оставлен без эффекта, они случайно или как-то иначе, раскачивая свою ношу рядом с ним, почти опрокинули его; тогда, быстро отскочив, специфическим невнятным стоном и жалобным постукиванием своих пальцев он невольно дал знать, что был не только немым, но также и глухим.

Затем, как будто до сих пор совершенно не тронутый произошедшим конфликтом, он прошёл вперёд, усевшись в уединённом месте на баке, почти касаясь ногой лестницы, ведущей на верхнюю палубу, вверх и вниз по которой иногда перебегали отдельные матросы, исполнявшие

свои обязанности.

Из-за его самостоятельного нахождения прибежища в этой укромной части корабля было видно, что палубный пассажир, будучи чужаком, просто, наверно, не был всецело осведомлён об этом месте, хотя занятие им прохода на палубе могло бы быть удобным лишь частично; и потому, что у него не было багажа, было весьма вероятно, что его целью была одна из маленьких придорожных пристаней в течение ближайших нескольких часов. Но хотя у него не могло быть долгой дороги впереди, всё же казалось, что он уже прошёл очень длинный путь.

Пусть не испачканный и не неряшливый, его кремовый костюм имел потёртый вид, почти нечищеный, как будто, идя ночью и днём из некой далёкой страны вне прерий, он долгое время не ложился спать. Его вид был одновременно нежным и утомлённым и с самого момента его появления выделялся надоедливой рассеянностью и мечтательностью.

Постепенно настигаемая дремотой, его льняная голова свисла, вся его овечья фигура расслабилась, и, наполовину вытянув ноги напротив лестницы, он неподвижно улёгся, как некий сахарный снег в марте, который, мягко и украд-

кой выпав за ночь, своим белым спокойствием поражает загорелого фермера, выглядывающего со своего порога на рассвете.

Глава II,
показывающая, что у множества людей есть множество мнений

— Странная рыба!

— Бедняга!

— Кем он может быть?

— Каспер Хаузер.

— Благослови мою душу!

— Необычайное самообладание.

— Новоявленный пророк из Юты.

— Вздор!

— Исключительная невинность.

— Какая-то мысль есть…

— Глашатай духа.

— Лунное дитя.

— Жалкий.

— Пытается привлечь внимание.

— Остерегайтесь его!

— Крепко спит здесь, значит, несомненно, карманники на борту.

— Разновидность дневного Эндимиона.

— Сбежавший преступник, уставший прятаться.

— Иаков, размечтавшийся в Лузе.

Такие некрологические комментарии противоречиво высказывались или мыслились разношёрстной компанией, которая, собравшись на возвышении, крестообразном балконе в переднем конце верхней палубы поблизости, засвидетельствовала произошедший инцидент.

В то время как, подобно некоему спящему в своей могиле человеку, счастливо забывшему обо всех сплетнях, высеченных в камне или выболтанных вслух, глухонемой незнакомец всё ещё спокойно спал, корабль уже начал своё путешествие.

Большим судоходным каналом Винг-Кинг-Чинг в Цветочном королевстве кажется Миссисипи в тех местах, где она несёт свои воды между низкими, опутанными виноградной лозой берегами, и одновременно ровной, как тропа, несущая огромные пароходы, ярко украшенные и отлакированные всеми поверхностями, подобно имперской мебели.

С открытыми вдоль своего большого белого борта двумя рядами маленьких, подобных амбразурам окон, находящихся намного выше ватерлинии, «Фидель», тем не менее, мог бы на расстоянии быть принят незнакомцами

за некий выбеленный форт на плавучем острове.

Торговцы, меняясь, казались пассажирами, которые гудели на его палубах, в то время как из невидимых отсеков исходил гул, похожий на исходящий от пчёл в ульях. Прекрасные дорожки, куполообразные бары, длинные галереи, солнечные балконы, тайные проходы, свадебные палаты, множество коробок-купе и отдалённых уголков, вроде секретных ящичков в секретере, существующих как средства для общей или частной жизни. Аукционист или фальшивомонетчик с равной непринуждённостью могли бы где-нибудь здесь вести свои дела.

Хотя его путешествие в одну тысячу двести миль простиралось от яблока до апельсина, от страны до страны, всё же, как любой маленький паром, справа и слева при каждом причаливании огромный «Фидель» всё ещё принимал дополнительных пассажиров в обмен на тех, что сходили на берег; поэтому, всегда наполненный незнакомцами, он всё время, в определённой степени, добавлял или заменял их ещё более странными незнакомцами, как Рио-де-Жанейро, питаемый от гор Коко-Верде, иногда переполняется чужими водами, но всё же никогда не приносит чужого песка.

Хотя к настоящему времени, начиная с момента своего появления, человек в кремовом костюме не имел возможности пройти незамеченным, всё же, незаметно уединившись и продолжая спать и спать, он, казалось, предался забвению — благу, от которого не часто отказываются такие униженные просители, как он. Пристально смотрящие толпы на берегу теперь остались далеко позади, выглядя смутными пятнышками, подобно ласточкам на карнизе, в то время как внимание пассажиров вскоре было уделено беглой стрельбе с высоких обрывов и дроболитейным башням на берегу Миссури или пугающе выглядящим миссурийцам и высоким кентуккийцам среди толпы на палубах.

Вскоре две или три случайных остановки были сделаны, и последнее мимолётное воспоминание о сне исчезло, и сам он, но вряд ли разбуженный, высадился, как тотчас же толпа, как обычно, начала делиться на части, чтобы разойтись из зала разными группами или командами, которые в некоторых случаях снова делились на квартеты, трио и пары или даже пасьянсы, непреднамеренно подчиняясь тому природному закону, который предопределяет растворение частиц пропорционально массе и времени.

Как в среде паломников в Кентербери у Чосера или у восточных паломников, пересекающих Красное море при движении к Мекке в праздничный месяц, тут не было никакой нехватки в их разнообразии. Уроженцы всех концов страны и иностранцы, бизнесмены и повесы, кабинетные работники и дикари, загонщики с ферм и искатели славы, охотники за наследницами, золотоискатели, охотники на бизонов, бортники, искатели счастья, искатели правды и, в конце концов, за всеми этими охотниками — обычные охотники. Прекрасные леди в комнатных туфлях и скво в мокасинах, северные спекулянты и восточные философы; англичане, ирландцы, немцы, шотландцы, датчане; торговцы из Санта-Фе в полосатых накидках и бродвейские денди в шейных платках из золотой парчи; прекрасно выглядящие лодочники Кентукки и по-японски смотрящиеся хлопковые плантаторы Миссисипи; квакеры, полностью облачённые в серое, и солдаты Соединённых Штатов в полном обмундировании; рабы, темнокожие, мулаты, квартероны; модные молодые испанские креолы и старомодные французские евреи; мормоны, и фанатичные паписты, и нищие; шуты и скорбящие, трезвенники и выпивохи, дьяконы

и жулики; закоснелые баптисты и поедатели глины; усмехающиеся негры и вожди сиу, торжественные, как первосвященники. Короче говоря, пегий парламент, конгресс всех видов Анахарсиса Клоотса из многообразия паломников и пород человека.

Как сосна, бук, берёза, ясень, лиственница, болиголов, ель, американская липа, клён вплетают свою листву в естественный лес, так и эти смертные смешались в своём разнообразии обликов и одежд. Подобная Тартару живописность, своего рода языческие отречённость и уверенность. Здесь правил всё перемешивающий и всё переплавляющий дух Запада, который, как и сама Миссисипи, объединяя потоки из самых отдалённых и противоположных зон, несёт их вперёд, бурля, в едином смешанном и уверенном течении.

Глава III,
в которой появляется множество знаков

В передней части корабля как раз в это время не менее привлекательным объектом стал неуклюжий калека негр в одеянии из двойной ткани и со старым, угольно-чёрным, похожим на решето тамбурином в руках, кто, вследствие какого-то увечья его ног, был воистину ростом с ньюфаундленда; его густые чёрные овечьи волосы и добродушное честное чёрное лицо тёрлись о верхнюю часть бёдер людей, поскольку он, ходя туда-сюда, наигрывал мелодию, соответствующую его настроению, и заставлял улыбнуться даже самого серьёзного человека. Было любопытно видеть, что его страшное уродство, бедность и бездомность, столь весело переносимые, порождали такую радость среди части людей в толпе, которую их собственные кошельки, очаги, сердца, всё их имущество и обладаемые ими здоровые конечности не смогли бы им дать.

— Как тебя зовут, дружище? — спросил скотопромышленник с лиловым лицом, кладя свою

большую фиолетовую руку на густую шевелюру калеки, как будто это был кудрявый лоб чёрного бычка.

— Чёрная Гвинея называют меня, сэр.

— И кто твой хозяин, Гвинея?

— О, сэр, я — собака бес масса.

— Свободная собака, а? Ну, на твой счёт я сожалею об этом, Гвинея. Собаке тяжело, если хозяин не платит за её проезд.

— Так оно и есть, сэр, так оно и есть. Но вы видите, сэр, какой здесь ноги? Какой шентльмен хочет иметь такой ноги?

— Но где ты живёшь?

— Весь длинный берег, сэр; теперь — пекарня. Я собираюсь увидеть пекаря при высадка, но в основном я свободен в городе бога.

— В Сент-Луисе? Ах ты! Где же ты спишь там ночью?

— На этаже духовки славного пекаря, сэр.

— В духовке? Чьей? Умоляю, какой такой пекарь, хотел бы я знать, печёт такой чёрный хлеб в своей духовке как раз рядом со своими славными белыми батонами. Кто же этот столь благодетельный пекарь? Умоляю.

— Он быть. — С широкой ухмылкой он поднял свой тамбурин высоко над своей головой.

— Солнце — пекарь, а?

— Да, сэр, в городе хороший пекарь нагревает камни для ложе стар негр, когда он спит на улице на тротуаре ночью.

— Но это, должно быть, только летом, дружище. А как зимой, когда приходят холодные казаки с треском и звоном? А как зимой, дружище?

— Хромой бедный стар негр очень трясёт, я говорю вам, сэр. О, сэр, о! Не говорите о зима, — добавил он с ностальгической дрожью, втягиваясь в самую гущу толпы, как полузамёрзшая чёрная овца, проталкивающаяся к удобному месту в сердцевине скопления белых овец.

К настоящему времени он получил не очень много пенсов, и привыкшие наконец к его странной внешности менее вежливые пассажиры в этой части корабля начали окружать его, как любопытный объект; но тут внезапно негр, более чем ожививший их первоначальный интерес, счёл целесообразным — случайно или намеренно — с исключительным искушением обратиться к ещё большему, чем его хромые конечности, отвлекающему манёвру и милосердию, позволив себе встать в собачью стойку. Короче говоря, поскольку внешне он напоминал собаку, то теперь, как собака, он и начал смешно смотреться. Всё

ещё бродя среди толпы, время от времени он делал паузу, отбрасывая свою голову и открывая рот, как слон для бросаемых ему яблок в зверинце; и потому при создавшемся перед ними пространстве люди уже имели возможность поиграть в странную игру с подачей пенса, где рот калеки являлся одновременно и целью, и кошельком и где калека приветствовал каждую мастерски пойманную медь резкими бравурными звуками своего тамбурина. Пытаться быть объектом раздачи милостыни и чувствовать обязанность выглядеть ликующе благодарным в момент испытания он принялся с ещё большим усердием, но, безотносительно к своим тайным эмоциям, он, глотая монеты, ещё и сохранял каждую медь от попадания в пищевод. И почти всегда он усмехался и только несколько раз вздрогнул, когда несколько монет, брошенных большой группой игривых дарителей, неудачно попали почти по его зубам, каковая неприятность не умалила выгоды, доказанной брошенными пенсами.

В то время как эта игра в милосердие оказалась в самом разгаре, прихрамывающий человек с кислым лицом, со сверлящим взглядом — возможно, некий освобождённый от должности таможенный чиновник, внезапно лишённый

подходящих средств к существованию и имеющий цель отомстить за всё это правительству и всему человечеству, считающий себя несчастным в жизни, или ненавидящий, или подозревающий всех и вся, — этот мелкий неудачник после многих сочувствующих взглядов на негра начал брюзжать что-то о его уродстве, являющемся обманом, устроенным ради денег, что немедленно вызвало испарину у шаловливых добряков, играющих в подачу пенсов.

Но то, что эти подозрения исходили от того, кто самостоятельно на деревянной ноге вошёл на остановке, казалось, не проняло никого из присутствующих. Это принесло бы вред, и прежде всего все люди должны быть общительными или, по крайней мере, должны воздерживаться от критики отдельных личностей, — короче говоря, должно быть немного сочувствия к чужой беде, если она, как казалось, не случилась с остальной компанией.

Тем временем внешнее самообладание негра, прежде отмечаемое как более чем терпеливое добродушие, уступило место печальному выражению лица, исполненному самого болезненного бедствия. К этому моменту униженная ниже своего надлежащего естественного уровня морда

ньюфаундленда предстала в пассивно безнадёжном обращении, как будто бы инстинкт подсказал ей, что право или несправедливость не могут быть чрезмерными, поскольку превосходящий всё интеллект не даст выхода какому-либо капризному настроению.

Но инстинкт, как известно, всё же изучает основную причину, которая сама говорит в комедии серьёзными словами Лисандра, из шалуна превратившегося в мудреца со своим заклинанием: «Желанье человека — причина, способная его поколебать».

Поэтому внезапное изменение в расположении, которое происходит с людьми, совсем не всегда оказывается капризом, а углублённым суждением, которое, как в случае с Лисандром или как в данный момент, воздействует на них на всех.

Да, они принялись довольно тщательно исследовать негра с превеликим любопытством, когда, ободрённый этими доказательствами эффекта от его слов, человек с деревянной ногой прихромал к негру и с видом университетского чиновника, чтобы доказать предполагаемый обман на месте, решил раздеть его и затем прогнать, но был остановлен шумом толпы, теперь

уже принявшей участие в бедняге против того, кто как раз имел целью перед этим повести почти все умы по другому пути. Таким образом, человек с деревянной ногой был вынужден удалиться; тогда остальные оказались единственными оставшимися судьями внутри случившегося, не в состоянии сопротивляться возможности играть свою роль, — но не потому, что это человеческая слабость в получении удовольствия на заседании в осуждении одного человека в клетке, каким, конечно, этот несчастный негр теперь и являлся, а потому, что это странно обостряет человеческое восприятие, когда, вместо того чтобы стоять в стороне и выражать свою поддержку предполагаемому преступнику, строго обработанному каким-то судейским чиновником, толпа сама в этом же самом случае внезапно становится всеми судейскими чиновниками. Однажды, например, в Арканзасе, где человек, чья вина в убийстве, согласно закону, была доказана, но чьё осуждение люди считали несправедливым, был ими спасён для того, чтобы те имели возможность судить его самостоятельно, после чего они, как оказалось, нашли его ещё более виновным, чем это решил суд, и немедленно продолжили исполнение приговора, отчего ви-

селица действительно предстала устрашающим зрелищем с человеком, которого повесили его же друзья.

Но не к таким крайностям или чему-либо подобному пришла существующая толпа; она с течением времени отнеслась к вопросу с негром довольно справедливо и осторожно, решив, среди прочего, выяснить, имеется ли у него какое-либо документальное свидетельство, любая простая бумага, доказывающая, что его состояние не было подделкой.

— Нет, нет, падший бедный стар негр нет ни один нужной бумаги, — возопил он.

— Но есть ли кто-нибудь, кто может сказать правдивое слово о тебе? — спросил тут человек, недавно пришедший с другой части корабля, молодой епископальный священник в длинном чёрном пальто с прямым фасоном; небольшого роста, но мужественный; с ясным лицом и голубыми глазами; невинный, нежный и несущий славный дух Святой Троицы.

— Ах да, ах да, шентльмен, — ответил он нетерпеливо, как будто его память, прежде внезапно замёрзшая от холодного милосердия, внезапно оттаяла и растеклась от первого же доброжелательного слова. — Ах да, ах да, на борту здесь

ошень хороший, хороший шентльмен с сигарой и шентльмен в сером пальто и фраке, что знает всё обо мне; и у шентльмен есть большая книга тоже; и ушной доктор; и шентльмен на ранчо на западе; и шентльмен с медная табличка; и шентльмен в фиолетовой одежде; и шентльмен, как солдат; и ещё много хороших, добрых, честных шентльменов больше на борту, который знает меня и выступит за меня, Бог кранит их; Но как мы должны будем найти всех этих людей в этой большой толпе? — таков был вопрос свидетеля с зонтиком в руке, человека средних лет, местного коммерсанта, чьё естественное сочувствие, очевидно, было порождено по меньшей мере неестественной неприязнью к освобождённому от должности таможенному чиновнику.

— Где мы должны найти их? — с упрёком пополам повторил молодой епископальный священник. — Я пойду, найду одного для начала, — добавил он быстро, и с любезной поспешностью, облекающей слово действием, он пошёл дальше.

— Погоня за несбыточным! — прокаркал человек с деревянной ногой, теперь снова притащившись поближе. — Не верьте, что есть хотя бы одна из этих душ на борту. Когда-нибудь кто-либо из нищих имел столько прекрасных друзей? Он

может идти достаточно быстро, когда пожелает, намного быстрее, чем я; но он может лгать ещё быстрее. Он — какой-то белый мошенник, переодетый и перекрашенный для приманки. Он и все его друзья фальшивы.

— Разве у вас нет милосердия, дружище? — здесь полумягким тоном, особенно контрастировавшим с его непокорной личностью, сказал методистский священник, приблизившись, — высокий, мускулистый, по-военному выглядящий человек родом из Теннесси, который во время Мексиканской войны был священником-добровольцем добровольного стрелкового полка.

— Милосердие — одна вещь, а правда — другая, — возразил человек с деревянной ногой. — Он мошенник, говорю я вам.

— Но почему бы, дружище, не проявить милосердие и не помочь бедному парню? — сказал по-военному методист, с трудом сохраняя спокойствие в отношении к тому, чья собственная грубость казалась ему столь малой, что он позволял её себе. — Он выглядит честным, не так ли?

— Взгляды — одна вещь, а факты — другая, — упрямо не сдавался противник, — и что если ваше милосердие таково, что оно применимо к мошеннику, каковым он и является?

— Не будьте совсем уж канадским чертополохом, — убеждал методист с каким-то меньшим терпением, чем прежде. — Милосердие, человек, милосердие.

— Туда, где всё принадлежит вашему милосердию! В небеса с ним! — снова оживился другой, уже по-дьявольски. — Здесь, на земле, истинное милосердие любит до безумия и фальшивое милосердие плетёт заговоры. Кто-то предаёт дурака с поцелуем, а милосердие дурака — это милосердие верить в любовь к нему, и милосердный мошенник на возвышении даёт милосердные показания на своего товарища в ящике.

— Конечно, дружище, — парировал благородный методист, с большим смущением сдерживая всё ещё горящее негодование оппонента. — Конечно же, осторожно говоря, вы забыли про себя. Примените это к себе, — продолжал он с внешним спокойствием, дрожа и сдерживая эмоции. — Предположим, что теперь я не должен оказывать милосердие с точки зрения ваших собственных слов; вы думаете, я бы перенял что-нибудь от такого мерзкого, безжалостного человека?

— Без сомнения, — с усмешкой, — вы — некий безжалостный человек, потерявший своё благо-

честие почти тем же способом, с каким жокей теряет свою честность.

— И как это, дружище? — Он всё ещё добросовестно сохранял ветхозаветного Адама в себе, как будто это был мастиф, которого он держал за шею.

— Тут есть некая инсинуация.

— Вы большой дурак, коли озадачены ею.

— Подонок! — крикнул другой. Его негодование теперь наконец почти вскипело. — Безбожный подонок! Если бы милосердие не сдерживало меня, то я мог бы обозвать вас именами, которых вы заслуживаете.

— Действительно могли бы? — с наглой усмешкой.

— Да, и преподам вам милосердие на месте, — закричал раздражённый методист, внезапно ловя этого невыносимого противника за потёртый воротник его пальто и сотрясая его, пока деревянные пальцы его ноги не загремели по палубе, как сосновые штырьки. — Ты считаешь меня непротивленцем? Подумай, ты, захудалый трус, перед тем, как оскорбить христианина безнаказанно. Поищи свою ошибку, — последовала другая искренняя встряска.

— Хорошо сказано, и ещё лучше сделано, воин

церкви! — раздался чей-то голос.

— Белый шейный платок против всего мира! — закричал другой.

— Браво, браво! — запело хором множество голосов, с энтузиазмом выбравших позицию решительного победителя.

— Вы дурачитесь! — вскричал человек с деревянной ногой, корчась и освобождаясь самостоятельно и воспалённо поворачиваясь к толпе. — Вы — скопление дураков при этом капитане дураков на этом корабле дураков!

С такими восклицаниями, сопровождаемыми праздными угрозами в ответ на его увещевания, эта заслуженная жертва правосудия захромала дальше, как бы считая презрением терпеть дальнейшие реплики от этой толпы. Но его презрение было больше, чем возмущённое шипение, которое преследовало его и к которому храбрый методист, удовлетворённый выговором, который он только что сделал, использовав все весомые средства, отнёсся слишком великодушно, чтобы присоединиться. Всё, что он сказал, указывая на уходящего бунтаря, было следующим:

— Пусть он волочит ноги прочь на своей единственной ноге, символизирующей его одностороннюю точку зрения на человечество.

— Не верьте вашей раскрашенной приманке, — парировал тот с расстояния, указывая назад на темнокожего калеку, — и я отомщу по-своему.

— Но мы не собираемся верить ему! — крикнул голос позади.

— Тем лучше! — усмехнулся он, обернувшись назад. — Глядите, — добавил он, топчась на том же месте, где он стоял, — глядите, меня назвали канадским чертополохом. Очень хорошо. И захудалым — ещё лучше. И захудалый канадский чертополох вполне прилично встряхнул вас всех, лучше, чем кто бы то ни было. Смеете сказать, что несколько семян выпало и это не весна? И когда будет весна, разве она уменьшит число молодых чертополохов и разве их весной не становится больше? Не она ли питает и поддерживает их? Теперь, когда моими чертополохами ваши фермы весьма густо засеяны, то почему бы тогда вам не оставить их!

— Что это означает? — спросил местный торговец, пристально глядя.

— Ничего. Завывание раненого помешавшегося волка, — сказал методист. — Раздражительность, много раздражительности, которая есть хрупкое порождение его злого неверующего сердца: оно сделало его безумным. Я подозреваю, что

он природный подонок. О, друзья! — Он воздел свои руки, как на кафедре проповедника. — О, возлюбленные, вот мы и предупреждены печальным зрелищем этого безумца. Давайте извлечём пользу из урока, чтобы у следующего человека, не верящего в провидение, не было того, против чего должен молиться человек, то есть против того, чтобы подозревать своего ближнего. Я был в сумасшедших домах, полных скорбного духа, и обратил там внимание на законченных безумцев: капризного безумного циника, бормотавшего в углу, в течение многих лет из-за своего безумия прикованного там, голова которого была поглощена грызением его собственной губы, ставшего стервятником по отношению к самому себе, в то время как из угла напротив виднелась судорожная гримаса идиота.

— Какой пример! — прошептал один.

— Мог бы удержать Тимона, — был ответ.

— О, о, хороший шентльмен, неужели вы не верите кривой бедный стар негр? — возопил возвратившийся теперь негр, который во время последней сцены с тревогой стоял в стороне.

— Верю ли я тебе? — вторил ему тот, кто шептал, внезапно изменившимся тоном, резко развернувшись. — Это ещё неизвестно.

— Я говорю тебе, каково это, Чёрное Дерево, — столь же изменившимся тоном сказал ему тот, кто ответил на сплетню, — что вон тот грубиян, — он указал на деревянную ногу на расстоянии, — является, без сомнения, довольно грубым парнем, и я не хотел бы походить на него, но это не причина, почему ты не можешь быть своего рода темнокожим Джереми Диддлером.

— Никакой вера кривому бедному стар негру, денди?

— Прежде чем вселить в себя нашу веру, — сказал третий, — мы будем ждать отчёта доброго джентльмена, который отправился на поиски одного из твоих друзей, кто должен будет рассказать о тебе.

— Очень вероятно, что в этом случае, — сказал четвёртый, — мы не будем ждать здесь до Рождества. Не должно задаваться вопросом, пока мы не увидим этого доброго джентльмена снова. После напрасного поиска через некоторое время он придёт к заключению, что был обманут им, и, таким образом, не возвратится к нам из-за чистого позора. Факт в том, что я сам начинаю испытывать мало угрызений совести относительно негра. Все странности этого негра зависят от него.

Негр завопил снова и, в отчаянии отшатнувшись от последней фразы, умоляюще поймал методиста за полу его пальто. Но возбуждённый проситель заметил перемену. В нерешительной и обеспокоенной атмосфере священник безмолвно следил за просителем, против которого, так или иначе, инстинктивное недоверие, поначалу слабое, теперь возрождалось, и, во всяком случае, с усилившейся серьёзностью.

— Никакой веры кривой бедный стар негр, — снова и снова вопил старый негр, отпуская полы пальто и умоляюще поворачиваясь повсюду вокруг себя.

— Да, мой бедняга… я… верю тебе, — тут же воскликнул уже упоминавшийся местный торговец, отчего негр, жалобно стоящий на жёстких пятках, понял, что решение принято в его пользу. — И вот здесь есть некое подтверждение моего доверия. — И затем, подложив свой зонтик под мышку и запустив свою руку в свой карман, он выловил кошелёк, и как раз случайно его визитная карточка, никем не замеченная, упала на палубу. — Здесь, здесь, мой бедняга, — продолжал он, жертвуя полдоллара.

Не более благодарное за монету, чем за доброту, лицо калеки пылало, как полированная медная

кастрюля, и, качая одной протянутой рукой, он взял милостыню, в то время как, подсознательно придвинувшись, кожаным ремнём накрыл карточку.

Несмотря на общее чувство, благодеяние торговца не свершилось бы, возможно, без его нежелательного возвращения из толпы, и с того момента это благодеяние, казалось, так или иначе адресовало всем присутствующим своего рода упрёк.

И снова, и более неуступчиво, чем когда-либо, раздался выкрик против негра, и снова тот вопил в своём плаче и обращался к другим людям, опять повторяя, что друзья, которых он имел в виду, частично покинувшие список, свободно вступились бы за него, если бы кто-то пошёл и нашёл их.

— Почему ты не пойдёшь и не найдёшь их сам? — потребовал грубый лодочник.

— Как может я идти найти их сам? Друзья кривой бедный стар негр ногами должен прибыть к нему. О, што, што, а хороший человек с сигарой — хороший друг кривой негр?

В этот момент подошёл стюард и позвонил в звонок, призывая всех людей, которые не получили свои билеты, идти в контору капитана; это

объявление быстро проредило толпу вокруг чёрного калеки, который вскоре сам, озадаченный несчастьем, исчез с глаз долой, — вероятно, по почти таким же делам, что имелись у остальных.

Глава IV
Возобновление прежнего знакомства

— Как дела, господин Робертс?

— А?

— Разве вы не знаете меня?

— Нет, конечно.

Толпа возле конторы капитана со временем растаяла, и вышеупомянутая встреча произошла на одном из балконов со стороны кормы между человеком в траурном наряде и с представительным, но не самым блестящим, длинным пером на шляпе и вышеупомянутым местным торговцем, к которому по-дружески, как к старому знакомому, тот и обратился.

— Возможно ли, мой уважаемый господин, — резюмировал тот, что с пером, — что вы не помните моего лица? Тогда почему я вспоминаю ваше отчётливо, как будто не более получаса, а не полвека прошло с тех пор, как я увидел вас? Не припоминаете меня теперь? Посмотрите внимательно.

— По своей совести, воистину, я протестую. —

Честное изумление. — Благословите мою душу, сэр, я не узнаю вас — воистину, воистину. Но останьтесь, останьтесь, — добавил он поспешно, не без удовлетворения глядя на креп на шляпе незнакомца. — Останьтесь. Да, мне кажется, хотя я и не имею удовольствия лично знать вас, но всё же я вполне уверен, я, по крайней мере… слышал… вас, и ещё недавно, совсем не давно. Бедный негр на борту здесь упомянул вас среди других, из-за характера, как я полагаю.

— О, калека. Бедняга. Я его хорошо знаю. Они нашли меня. Я сказал всё, что мог ради него. Я думаю, что преуменьшил их сомнения. Если бы я мог оказать более существенную услугу! И кстати, сэр, — добавил он, — теперь позвольте мне спросить о том, что останавливает меня: обстоятельства отношений одного человека, хоть и скромного, к характеру другого человека, хоть и огорчающему, не заставляют ли поспорить о большей или меньшей моральной ценности у последнего?

Славный торговец выглядел озадаченным.

— Вы всё ещё не вспомнили моё лицо?

— Истина пока заставляет меня сказать, что не могу, несмотря на все мои старания, — таков был неохотный искренний ответ.

— Разве я мог так измениться? Поглядите на меня. Или я тот, кто ошибается? Разве вы не сэр Генри Робертс, торговец-отправитель из Уилинга, Пенсильвания? Умоляю, если вы теперь размещаете рекламу на визитных карточках и одна из них случайно имеется при вас, просто посмотрите на неё, и увидите, что являетесь тем человеком, за которого я вас и принимаю.

— Почему же, — возможно, немного раздражённо, — я надеюсь, что знаю самого себя.

— И всё же о самопознании некоторые думают не настолько легко. Кто знает, мой уважаемый господин, но какое-то время вы, возможно, принимали себя за кого-то ещё? Случались ли более странные события?

Добрый торговец поднялся.

— Если подробно рассказывать, мой уважаемый господин, то я встретил вас уже приблизительно шесть лет назад в офисе братьев Брейд и Ко, как я полагаю. Я приехал в Филадельфийский дом. Старший Брейд представил нас, вы помните; последовала некая деловая беседа, тогда вы вынудили меня идти с вами домой на семейное чаепитие, и мы провели время в кругу семьи. Забыли вы и о самоваре, и что я рассказывал о Вертеровой Шарлотте, и о хлебе с маслом,

и об этой капитальной истории, которую вы рассказали о большой буханке. Сто раз с тех пор я смеялся по этому поводу. По крайней мере, вы должны вспомнить моё имя: Рингман, Джон Рингман.

— Старший Брейд? Пригласил вас на чай? Рингман?

— Рингман[1]? Ринг? Ринг[2]?

— Ах, сэр, — печальная улыбка, — не бегайте по кругу. Я вижу, у вас плохая память, господин Робертс. Но поверьте в мою веру.

— Ну, по правде говоря, в некоторых вещах моя память лучше, чем у других, — таково было честное возражение. — Но, тем не менее, — добавил он недоуменно, — я всё ещё…

— О, сэр, удовлетворитесь тем, что всё обстоит так, как я говорю. Сомнений нет, мы все хорошо знакомы.

— Но… но мне решительно не нравится этот выпад против моей собственной памяти, я…

— Но вы же не можете не признать, мой уважаемый сэр, что в некоторых аспектах эта память о вас самом немного неверна? Тогда те, у кого

---

1 Примечания: 1
Дословно — «букмекер» (англ.). — Прим. пер.

2 Примечания: 2
Кольцо (англ.). — Прим. пер.

есть неверные воспоминания, могут ли хотя бы довериться более верным воспоминаниям других людей?

— Но об этой дружественной беседе и чае у меня нет ни малейшего…

— Я вижу, я вижу; полностью стёрто таблетками. Умоляю, сэр, — с внезапным озарением, — приблизительно шесть лет назад не появилась ли у вас случайно рана на голове? Удивительные эффекты дают такие травмы. Ни одного бессознательного восприятия событий за большее или меньшее время, немедленно следующее за раной, но аналогичное — странно добавить — забвение, цельное и неизлечимое, относительно событий, охватывающих более длинный или более короткий период, немедленно предшествующий ей; то есть когда сознание в то время было совершенно нормальным у человека, оно так же полностью компетентно регистрировало те события в памяти, что действительно фактически и происходили; но всё было забыто вследствие ушиба.

После первоначального вступления у торговца уже появилось нечто большее, чем обычный интерес.

Другой продолжал:

— В детстве меня пнула лошадь, и я долгое время пролежал без чувств. После восстановления какая же наступила чистота! Никакого самого слабого следа воспоминаний о том, как я подошёл к лошади, или какова была эта лошадь, или где это было, или то, что случилось с лошадью, если она понесла меня к тому проходу. Знанием этих подробных сведений я обязан исключительно моим друзьям, чьим заявлениям, не стоит упоминать, я робко верю с тех пор, как некие события, должно быть, имели место; и почему они должны обманывать меня? Вы видите, сэр, что ум податлив, это очевидно, — но образам, податливо воспринятым им, требуется определённое время, чтобы укрепиться и затвердеть в его восприятии, иначе при таком несчастном случае, о котором я рассказал, рождается желание в момент стереть их, как будто они никогда не существовали. Мы всего лишь глина, сэр, гончарная глина, как говорится в хорошей книге; глина мягкая, а также податливая. Но я не буду философствовать. Скажите мне, случалась ли у вас какая-либо беда, в которой вы получили какое-либо сотрясение мозга в описанный период? Если так, то я с удовольствием заполню пустоту в вашей памяти, более чем поминутно воспроизводя обстоятель-

ства нашего знакомства.

Растущий интерес, передавшийся торговцу, не слабел, пока рассказчик продолжал. После некоторого колебания, воистину несколько большего, чем сомнение, он признался в том, что, хотя он никогда и не получал описываемых ран, всё же в рассматриваемое время он фактически болел воспалением мозга, полностью потеряв воспоминания за значительный период. Он продолжал говорить, пока незнакомец с большим оживлением не воскликнул:

— И значит, вы видите, что я не совсем ошибался. Это воспаление мозга относится ко всему подобному.

— Нет, но…

— Простите меня, господин Робертс, — с уважением прерывая его, — но время коротко, и у меня есть нечто частное и особенное, чтобы сказать вам о нём. Позвольте мне.

Господин Робертс, славный человек, мог бы и не соглашаться и дважды молчаливо прошёлся к безлюдному месту на палубе, но облик человека с пером внезапно принял почти болезненную серьёзность. Её можно было бы назвать скрытым выражением страдания. Он, казалось, боролся с некоторой пагубной потребностью что-то рас-

крыть. Он предпринял одну или две попытки говорить, но слова, казалось, задушили его. Его компаньон стоял в сострадательном удивлении — удивлении, вполне ожидаемом. Медленно, с усилием борясь со своими чувствами, терпеливым тоном он сказал:

— Если я помню, то вы масон, господин Робертс?

— Да, да.

Отводя от себя самого момент возвращения аргументации, незнакомец схватил другого за руку:

— И вы бы дали взаймы брату шиллинг, если бы он нуждался в нём?

Торговец встал, очевидно почти с желанием отступить.

— Ах, господин Робертс, я полагаю, что вы не из тех бизнесменов, кто делает бизнес, никогда не имея дел с неудачниками. Ради Бога, не оставляйте меня. У меня есть что-то на сердце… на моём сердце. При прискорбных обстоятельствах я оставлен среди чужаков, абсолютных чужаков. Мне нужен друг, которому я могу довериться. Вы, господин Робертс, почти первое известное лицо, которое я увидел за много недель.

Это была этакая внезапная вспышка; бесе-

да составляла такой контраст к окружающей обстановке, что торговец, хотя и выглядящий очень несдержанным, всё же, чтобы не проявлять полного неуважения, оставался полностью неподвижным.

Другой, всё ещё дрожа, продолжал:

— Я не должен говорить, сэр, до чего это терзает мою душу, что за общепринятые «приветствия» следуют за такими словами, которые только что прозвучали. Я знаю, что подвергаю опасности свою репутацию. Но я не могу помочь ей: потребность не знает закона и не учитывает риска. Сэр, мы — масоны, ещё один шаг в сторону; я расскажу вам свою историю.

Низким, наполовину глухим тоном он начал говорить. С точки зрения его аудиторской выразительности это, казалось, был рассказ об исключительном интересе, приведшем к бедствиям, от которых никакая целостность, никакая предусмотрительность, никакая энергия, никакой гений и никакое благочестие не смогли бы уберечь.

При каждом его повороте сочувствие слушателя возрастало. Без сентиментальной жалости. В то время как история продолжалась, он извлёк из своего бумажника банкноту, но через неко-

торое время из-за некой ещё более несчастной подробности поменял её на другую, вероятно несколько большего достоинства, которую, когда история была завершена с ораторским старанием раздающего милостыню, он вложил в руку незнакомца, кто, в свою очередь, с ораторским старанием берущего милостыню положил купюру в свой карман.

При получении помощи поведение незнакомца приняло такой вид и такую степень этикета, которые при данных обстоятельствах показались почти неприветливыми. После нескольких слов, не совсем горячих и не совсем точно соответствующих моменту, он решил отойти, сделав поклон, как сумел, сознавая определённую сдержанную независимость в ситуации, при которой страдание, даже обременительное, не смогло согнуть его чувство собственного достоинства и благодарность, пусть даже глубокая, не смогла оскорбить джентльмена.

Он почти исчез из поля зрения, когда остановился, как будто размышляя; затем ускоренными шагами возвратился к торговцу:

— Мне просто напомнили, что президент, который является также трансфер-агентом угольной компании «Рапидс», оказался здесь на борту и,

будучи вызванным в суд как свидетель, ссылающийся на записи в Кентукки, везёт свою трансфертную книгу с собой. И месяц прошёл с тех пор, как в панике, затеянной ловкими паникёрами, некоторые доверчивые акционеры распродали акции; но это и было целью паникёров. Компания, ранее предлагавшая такие схемы, манипулировала ими так, чтобы прибрать к своим собственным рукам принесённые в жертву акции, решив, что с тех пор, как поддельная паника пройдёт, создатели паники должны были бы от этого выиграть. Компания, я слышал, теперь в норме, но не беспокоится о том, чтобы повторно избавиться от тех акций, и, получив их по упавшей цене, теперь продаёт их по номиналу, хотя, тем не менее, до паники они котировались весьма солидно. То, что готовность компании сделать это не общеизвестна, доказано тем фактом, что запас всё ещё числится на трансфертной книге названной компании, предлагающей некоему фонду редкий шанс для инвестиций. Поскольку паника спадает всё более и более каждый день, то ежедневно отмечается, что это происходит; доверие будет более чем восстановлено, будет реакция, из-за сброса запаса их удорожание будет выше, чем от какого-либо падения, и держатели,

доверяющие себе, не боятся повторения прежних событий.

Сначала слушая с любопытством, затем, наконец, с интересом, торговец ответил на рассказ, что некоторое время назад через своих друзей он слышал о компании, и слышал о ней много хорошего, но не осведомлён о том, что недавно были колебания. Он добавил, что не является спекулянтом, что до настоящего времени он избежал необходимости иметь какие-либо активы, но в данном случае он действительно ощутил некий соблазн.

— Умоляю, — в заключение, — вы думаете, что это повышение курса может быть проведено здесь, на борту, через трансфер-агента? Вы знакомы с ним?

— Не я лично. Я случайно услыхал, что он оказался пассажиром. Из-за отдыха, хоть и несколько неофициального, джентльмен не будет возражать против выполнения небольшого дельца на борту. На Миссисипи, знаете ли, бизнес не столь церемонный, как на Востоке.

— Верно, — ответил торговец и посмотрел вниз, на мгновение задумавшись; затем, быстро подняв свою голову, сказал тоном не столь мягким, как обычно:

— Действительно, это кажется редким шансом; тогда почему вы, первым услышав о нём, им не воспользовались? Я имею в виду для себя!

— Я? Это было бы невозможно!

Это было сказано не без некоторой эмоции, и не без некоторого замешательства был дан ответ:

— Ах да, я забыл.

Эту фразу незнакомец, немало не смутившись, воспринял с умеренной серьёзностью, больше выразившейся в том, что показалось бы не то чтобы частью облика начальника, но, скажем, выговором; такое отношение бенефициария к его благотворителю смотрелось достаточно странно, тем не менее оно, так или иначе, выглядело не совсем не подходящим для бенефициария, ещё свободного от чего-либо, из-за ненадолго появившегося предположения, смешанного со своего рода болезненной щепетильностью, хотя и надлежащий смысл того, что он был обязан им самому себе, поколебал его.

Он медленно произнёс:

— Упрекаете бедного человека в пренебрежении и неспособности помочь самому себе денежными инвестициями, — нет, нет, нет, это было забвение, и это милосердие будет при-

писано некоему остаточному эффекту от того несчастного воспаления мозга, которое возникло уже давно, нарушив память господина Робертса ещё более серьёзно.

— Относительно этого, — сказал торговец, сжимаясь, — я не…

— Простите меня, но вы должны признать, что вот сейчас недостойное недоверие, хотя и неопределённое, исходило от вас. Ах, как мелка всё же эта тонкая штука — подозрение, которое время от времени может вторгнуться в человеколюбивые сердца и в самые мудрые головы! Но хватит. Моя цель, сэр, в привлечении вашего внимания к этому запасу в качестве признания вашей добродетели. Я не ищу благодарности, и если моя информация ни к чему не приведёт, то тогда вы должны будете запомнить причину её появления. Он поклонился и наконец удалился, оставив господина Робертса не совсем без угрызений совести, для того чтобы тот смог бы на мгновение потворствовать вредным мыслям относительно человека, который, вполне очевидно, был одарён чувством собственного достоинства, и которое ему самому это же самое потворство и запрещало бы.

Глава V
Человек с пером порождает вопрос, является ли он великим мудрецом или великим простаком

— Ну, есть горе в мире, но есть и благодать; и эта благодать отнюдь не незрелая, равно как и горе. Дорогой хороший человек. Бедное разбитое сердце!

Это был человек с пером, вскоре после ухода торговца бормотавший сам с собой, державшийся рукой за бок, как при сердечной боли.

Пришедшее размышление о доброте тоже, казалось, смягчило в нём что-то, может быть, потому, что помощь, возможно, была получена от того, чьё непривычное чувство собственного достоинства в час нужды и в процессе принятия помощи, возможно, является к некоторым не полностью, в отличие от гордости, появление которой не зависит от места и времени; и гордость в любой ситуации очень редко бывает чувствительна. Но правда, возможно, состояла в том, что те, кто меньше всего был тронут

этим недостатком, и, кроме того, будучи весьма невосприимчивыми к совершенству, из-за соображений пристойности оказываются холодными, если не неблагодарными за полученное добро. Поскольку для того, чтобы наполнить людей тёплыми, серьёзными словами и сердечными заявлениями, нужно создать сцену; и воспитанные люди не любят подобные сцены, как эта, которая, как оказалось, смотрелась так, будто мир не смаковал ничего более серьёзного; но нет, не так; потому что мир, будучи серьёзным сам по себе, любит серьёзную сцену и серьёзного человека, что очень хорошо, но только на своём месте — на своей стадии. Смотрите, какую печальную работу они сотворили над теми, кто, игнорируя эту мысль, восстали в ирландском энтузиазме и с искренностью ирландского языка против благодетеля, который, будучи человеком настолько здравомыслящим и респектабельным, насколько и добрым, оказался так или иначе раздражён ими; и поэтому из нервной привередливой природы, как некоторые полагают, можно создать намного менее благодарного бенефициария, причиняющего боль своему благодетелю, как будто бы тот был виновен в чём-то обратном, да и то только по неосмотрительности.

Но бенефициарии, которые соображают лучше, хотя и могут осознавать так же, если не больше, как не причинить какую-либо боль, не склонны избегать какого-либо риска из-за создавшегося эффекта. И они, будучи мудрыми, оказываются в большинстве. В нём каждый видит, насколько невнимательны те люди, которые из-за отсутствия официозных проявлений в мире жалуются, что не существует больше благодарности, в то время как правдой является то, что существует такое же количество скромности; но обе они, по большей части, выбирают тень, держась подальше от глаз.

Этим началом, при необходимости, можно считать то, что из-за изменившегося настроения человек с пером, отбросив конфиденциально холодную одежду этикета и таким образом открыв теплу свободы своё подлинное сердце, предстал уже почти другим существом. Его подавленный дух также мягко смешался с меланхолией, несдержанной меланхолией — настроем, хоть и расходящимся с уместностью, тем не менее, более подтверждающим его серьёзность; не каждый знает, что иногда происходит так, что там, где присутствует серьёзность, там также появляется и меланхолия.

В это самое время он, задумавшись, оперся на перила, устроенные вдоль борта корабля, не обращая внимания на другую задумчивую фигуру рядом — молодого джентльмена с лебединой шеей, носящего рубашку с благородно открытым воротником, отброшенным назад и перевязанным чёрной лентой. Из-за квадратной прошивки, занятно выгравированной греческими символами, он казался студентом колледжа — весьма вероятно, второкурсником, отправившимся в путешествие, а возможно, и первокурсником. В своей руке он держал маленькую книгу, обёрнутую в римский пергамент.

Слушая своего бормочущего соседа, молодой человек воспринял его с некоторым удивлением, если не сказать с интересом. Но, что странно для студента колледжа, очевидно застенчивого по природе, он не говорил; тогда другой ещё более усилил его застенчивость, перейдя от монолога к дискуссии в манере странной смеси дружелюбия и пафоса.

— Ах, кто это? Вы разве не слышали меня, мой молодой друг, не так ли? Да ведь вы тоже смотритесь грустным. Моя меланхолия непривлекательна!

— Сэр, сэр, — запнулся другой.

— Умоляю, сейчас, — со своего рода печальной общительностью, медленно идя вдоль перил. — Умоляю, сейчас, мой молодой друг, что это за книга? Позвольте, я возьму, — мягко вытаскивая её из рук хозяина. — Тацит! — Затем, раскрыв её в случайном месте, прочитал: — «Совсем чёрный и позорный период предстаёт передо мной». Дорогой молодой сэр, — с тревогой касаясь его руки, — не читайте эту книгу. Это яд, моральный яд. Даже если бы и была правда в Таците, такая правда не служила бы истине потому, что была бы ядом, моральным ядом. Слишком хорошо я знаю этого Тацита. В мои ученические дни он едва не завёл меня в кислый цинизм. Да, я начал опускать свой воротник и ходить с презрительно-безрадостным выражением лица.

— Сэр, сэр, я… я…

— Доверьтесь мне. Теперь, молодой друг, возможно, вы думаете, что Тацит, как и я, всего лишь меланхолия; но всё обстоит серьёзней: он уродлив. Значительные отличия, молодой сэр, есть между печальным видом и уродливым. Что-то может казаться миром, всё ещё красивым, но другое не таково. Одно может быть совместимым с благосклонностью, другое — нет. Один может углубить способность проникновения

в суть, другой — смотрит лишь на поверхность. Бросьте Тацита. Если взглянуть с френологических позиций, мой молодой друг, то у вас, кажется, вполне развитая голова — и большая, но запертая в границах уродливых представлений, и, с точки зрения Тацита, ваш большой мозг, как и ваш большой бык, оказавшийся на сжатом поле, будет обречён на ещё больший голод. И не мечтайте, что часть из ваших студентов, получив те же самые уродливые представления и уродливые знания из более глубоких книг, сможет приоткрыть их вам. Бросьте Тацита. Его тонкость ошибочна, к нему, к его дважды усовершенствованной анатомии человеческой натуры хорошо применимо высказывание Священного Писания: «Есть искусный человек и прочие, им обманутые». Бросьте Тацита. Ну-ка, позвольте мне выбросить книгу за борт.

— Сэр, я… я…

— Ни слова; я знаю, что сейчас в вашем уме, и это то, о чём я сказал. Да, узнайте от меня, что, хотя печали мира и велики, его зло — то есть его уродство — мало. Много есть причин, чтобы пожалеть человека, и мало причин не доверять ему. Я сам познал бедствие и знаю его до сих пор. Но ради этого стоит ли перевоспитывать цини-

ка? Нет, нет, это слабый, ничтожный ручеёк. Моим ближним я обязан облегчением. Поэтому, независимо от того, чему я, возможно, подвергся, это уже не углубляет мою веру в моё видение. И потому теперь, — подкупающе, — вы позволите мне утопить эту книгу… ради вас?

— Действительно, сэр… я…

— Я вижу, я вижу. Ну конечно, вы читаете Тацита, чтобы помочь себе в понимании человеческой натуры, — как будто правда когда-либо достигалась клеветой. Мой молодой друг, если знать человеческую натуру, которая является вашим объектом, то бросьте Тацита и пойдите на север, на кладбища Эберна и Гринвуда.

— Честное слово, я… я…

— Но я всё это уже предвижу. Но вы носите Тацита, маленького Тацита. Что вы носите? Вижу: издание карманного объёма — «Акенсайд», его «Удовольствие воображения». На днях вы узнаете его. Безотносительно к нашей судьбе, мы должны читать безмятежные и радостные книги, приспособленные для того, чтобы вдохновляться любовью и доверием. Но Тацит! Я давно полагал, что эта классика — отрава для колледжей; не из-за намёка на безнравственность Овидия, Горация, Анакреона и остальных и опасной набожности

Эсхила и других, — где же ещё каждый может найти взгляды, столь вредные для человеческой натуры, если не в Фукидиде, Ювенале, Лукиане, но более подробно в Таците? Как подумаю, что начиная с возрождения изучения эта классика имеет последовательных поклонников среди поколений студентов и прилежных мужей, то содрогаюсь от той массы скрытой ереси на каждую жизненную тему, которая в течение многих столетий, должно быть, незаметно кипела в сердце христианского мира. Но Тацит — он самый необычный пример еретика; ни одной йоты веры в его мыслях. Как же смешно то, что такое нужно счесть мудрым и Фукидида уважать как государственного деятеля! Но Тацит — я ненавижу Тацита; но тем не менее я верю, с ненавистью, которая грешна, но со справедливой ненавистью. Без веры в самом себе Тацит разрушает её во всех своих читателях. Разрушает веру, отеческую веру, о которой Бог говорит, что без неё в этом мире не будет ни одного спасённого. Почему вы, сравнительно неопытный мой дорогой юный друг, никогда не замечаете, как мало, очень мало там веры? Я имею в виду — у человека к человеку, более точно — у одного незнакомца к другому. В печальном мире это самый печальный факт.

Вера! Я почти думаю, что от веры бегут, что вера — это новая Астрея: пропала — исчезла — была украдена. — Затем, мягко подойдя ближе, с мягким придыханием, с мелкой дрожью и закатыванием глаз: — Можете ли вы теперь, мой дорогой молодой сэр, при таких обстоятельствах в качестве эксперимента просто поверить мне?

С первого момента появления незнакомца второкурсник боролся с постоянно увеличивающейся тяжестью, возникшей, возможно, от столь странных замечаний, исходивших от незнакомца, — и столь же постоянных и длительных. Он не раз напрасно надеялся рассеять чары, пытаясь сказать умоляющее или прощальное слово. Напрасно. Так или иначе, незнакомец очаровал его. Чему было удивляться, что, когда к нему кто-то обратился, он едва мог сказать что-либо, но, как прежде сообщалось, из-за своего стеснительного характера резко удалялся с места, избегая скверного незнакомца и уходя подальше в противоположном направлении.

Глава VI,
в начале которой некоторые пассажиры остаются глухими к просьбе о милосердии

— …Вы… тьфу! Почему капитан терпит этих нищих, гуляющих по борту?

Эти раздражённые слова выдохнул состоятельный джентльмен в бархатном жилете рубинового цвета, со щеками рубинового цвета, держащий трость с рубиновым набалдашником, в человека в сером пальто и фраке, который вскоре после интервью, недавно описанного, обратился к нему за помощью на вдово-сиротский приют, недавно основанный среди семинолов. На первый взгляд, этот последний человек, возможно, казался, как и человек с пером, одним из классических порождений каких-либо бедствий; но при более близком рассмотрении его самообладание говорило о немногих бедствиях и набожности.

Добавив слова о раздражительном отвращении, состоятельный джентльмен поспешил дальше. Но, хоть отказ и был груб, человек в сером не высказал упрёка и какое-то время терпеливо

оставался в холодном одиночестве, в котором его оставили, и его самообладание, однако, скрывалось лишь символически, хотя и со сдержанной уверенностью.

Наконец старый джентльмен, несколько грузный, подошёл поближе и также внёс свою лепту.

— Посмотрите, вы, — резко остановился и нахмурился на него. — Посмотрите, вы, — раздуваясь своей массой перед ним, как качающийся на привязи воздушный шар, — смотрите, вы, вы от имени других просите деньги; вы, человек с лицом настолько же длинным, как моя рука. Прислушайтесь теперь: есть такая вещь, как сила тяжести, и для осуждённого преступника она не может быть поддельной; но существует три вида вытянутых лиц: у ломовой лошади из-за горя, у человека со впалыми щеками и у самозванца. Вы лучше всего знаете, которое ваше.

— Да ниспошлют вам небеса побольше милосердия, сэр.

— И вам поменьше лицемерия, сэр.

С этими словами жестокий старый джентльмен ушёл прочь, в то время как другой, всё ещё стоящий несчастный молодой священнослужитель, прежде упомянутый, проходя тем же путём, заметив его, казалось, был внезапно поражён

неким воспоминанием и после паузы поспешно произнёс:

— Прошу прощения, но с какого-то времени я не отвожу взгляда от вас.

— От меня? — удивляясь, что его скромная личность могла привлечь внимание.

— Да, от вас; вы знаете что-либо о негре, очевидно калеке, здесь на борту? Является ли он таковым или только кажется?

— Ах, бедный Гвинея! Вы тоже не верите? Разве вы тот, кому природа доверила афишировать доказательства ваших утверждений?

— Тогда вы действительно знаете его и он вполне достойный человек? Это освобождает меня от обязанности слышать его, совсем освобождает. Ну, давайте пойдём, найдём его и увидим, что можно сделать.

— Другое дело, что вера может прийти слишком поздно. Мне тяжело говорить, что на последней остановке я сам — просто оказавшись и заметив его на трапе — помог калеке на берегу. Не было времени, чтобы поговорить, только помочь. Он мог не сказать этого вам, но у него есть брат в этой округе.

— Действительно, я снова сожалею о его передвижении без моего наблюдения; сожалея о нём,

возможно, больше, чем вы готовы думать. Вы видите, что вскоре после отъезда из Сент-Луиса он был на баке, и там со многими другими пассажирами я видел его и поверил ему; и, более того, чтобы убедить тех, кто ещё не убедился, я по его просьбе отправился на ваши поиски, поскольку вы были одним из тех людей, о которых он упомянул и чьё личное появление он более или менее описал, люди, о которых он сказал, будут охотно свидетельствовать в его пользу. Но, после старательного поиска, не найдя вас и не найдя даже проблеска других, которых он перечислил, опять пошли сомнения, но сомнения косвенные, как я полагаю, из-за опережающего недоверия, бесчувственно выказанного другими. Однако бесспорно то, что я начал подозревать.

— Ха-ха-ха!

Иной смех больше похож на стон, чем на собственно смех; и всё же, так или иначе, эти звуки, казалось, относились к смеху.

Оба обернулись, и молодой священнослужитель привстал при наблюдении за человеком с деревянными ногами, оказавшимся близко позади него, мрачным и серьёзным, словно судья по уголовным делам с банным листом на спине. В данном случае банный лист, возможно, был

памятью о неких недавних резких отказах и смертных приговорах.

— Вы не думали, что тем, над кем смеются, оказались вы?

— Но кто был тот, над кем вы смеялись? Или, скорее, попробовали посмеяться? — спросил молодой священнослужитель, подступая. — Надо мной?

— Ни над вами, ни над кем-либо другим в тысяче миль от вас. Но возможно, что вы не верите в это.

— Если бы он имел подозрительный характер, то он не смог бы, — спокойно вмешался человек в сером. — Это одна из блажей подозрительного человека, предположившего, что на каждого рассеянного незнакомца, видящего много улыбающихся или машущих ему людей в любой точке пути, готовится покушение. При определённом настроении движение всей улицы подозрительному человеку, спускающемуся с неё, будет казаться экспрессивным пантомимическим глумлением над ним. Короче говоря, подозрительный человек пинает сам себя своими собственными ногами.

— Кто бы ни сделал это, десять к одному, что он исключительно бережёт кожу других людей, —

сказал человек с деревянными ногами, с трудом пытаясь улыбнуться. Но с широкой усмешкой и беспокойством он обратился непосредственно к молодому священнослужителю: — Вы всё ещё думаете, что это были… вы… над кем я сейчас смеялся. Доказывая вашу ошибку, я скажу вам, над чем я… насмехался; история, как помните, оказалась именно такой.

После чего, своим путём дикобраза и с саркастическими деталями, неприятными для повторения, он обратился к истории, которая могла бы быть, возможно, представлена в добродушной версии, но была представлена именно так:

Некий француз из Нового Орлеана, старик с кошельком менее стройным, чем его конечности, однажды вечером оказавшись в театре, был так очарован персонажем верной жены, который был там представлен на сцене, что решил во что бы то ни стало жениться. Так он и сделал, женившись на красивой девушке из Теннесси, которая сначала привлекла его внимание своими формами и впоследствии была рекомендована ему её семьёй, частично из-за её гуманитарного образования, частично из-за её к нему расположения. Похвала, хоть и большая, приоткрыла не слишком многое, поскольку за-

долго до того слух, более чем подтверждающий это, донёс, что леди не отличалась верностью. Но, несмотря на различные обстоятельства, которые большинство бенедиктинцев сочли бы почти неопровержимыми, должным образом сообщённые старому французу его друзьями, его вера оставалась прежней и он не верил ни единому слогу, пока не вышло так, что однажды ночью он неожиданно вернулся из поездки домой и после того, как он вошёл в свою квартиру, раздался удивлённый вопль из алькова: «Бежар!» Таков был крик. «Теперь я… начинаю… подозревать».

Рассказав свою историю, человек с деревянными ногами отбросил назад голову и издал долгий, задыхающийся хрип, невыносимый, как у двигателя высокого давления, со свистом удаляющего пар, и, сделав так, с очевидным удовлетворением захромал дальше.

— Кто этот насмешник? — не без горячности сказал человек в сером. — Кто он такой, если даже с правдой на его языке, с его способом произносить её делает правду почти столь же оскорбительной, как и неправда? Кто он?

— Тот, про кого я упоминал вам как не верящего негру, — ответил молодой священнослужитель, оправляясь от волнения. — Одноногий человек,

которому я приписываю происхождение моего собственного неверия; он упорствует в том, что Гвинея был неким белым негодяем, изловчившимся и перекрашенным для приманки. Да, это были те самые его слова, я полагаю.

— Невозможно! Он не мог так заблуждаться. Умоляю, отзовите его назад и позвольте мне спросить его, действительно ли он был серьёзным.

Другой подчинился и наконец после немногих неприветливых возражений предложил одноногому ненадолго вернуться, после чего человек в сером так обратился к нему:

— Этот преподобный джентльмен говорит мне, сэр, что конкретного калеку, бедного негра, вы считаете изобретательным самозванцем. Теперь я вполне уверен, что есть некоторые люди в этом мире, кто неспособен предоставить лучшего доказательства, и им становится приятно получать странное удовлетворение, как они полагают, от показа того, что они способны правильно угадывать скверные намерения в людях. Я надеюсь, что вы не один из них. Короче говоря, не могли бы вы сказать мне теперь, не баловались ли вы просто тем термином, которым вы наградили негра? Не будете ли вы так добры?

— Нет, я не буду так добр, я буду так же жесток.

— Скажите об этом так, как вам хочется.

— Ну, он был тем, кем я его назвал.

— Белый, замаскированный под чёрного?

— Истинно так.

Человек в сером на одно мгновенье взглянул на молодого священнослужителя, затем спокойно зашептал ему:

— Я думал, что вы представляли своего приятеля здесь как очень подозрительного на вид человека, но он, кажется, наделён исключительным неверием. Скажите мне, сэр, вы действительно думаете, что белый мог запросто сойти за негра? Ради одного этого я должен сказать о довольно хорошей игре.

— Не намного лучшей, чем какие-либо другие действия человека.

— Как? Весь мир театр? Я… что… актёр? Мой преподобный друг здесь тоже исполнитель?

— Да, разве вы оба не совершаете действий? Чтобы сделать, должно действовать; таким образом, все деятели актёры.

— Вы несерьёзны. Я спрашиваю снова: если он белый, то как он мог сойти за негра?

— Я полагаю, вы никогда не видели негритянских менестрелей?

— Да, но люди склонны переоценивать чёрных;

иллюстрация старой поговорки, не более справедливой, чем милосердной, что «дьявол не столь чёрен, сколько окрашен». Но его конечности, — если он не калека, то как он мог их так выгнуть?

— А как другие лицемерные нищие сгибают их? Это довольно легко заметить, как только они оказываются поднятыми с мест.

— Тогда обман очевиден?

— Для проницательного глаза, — ужасающе буравя его своим глазом.

— Ну, где Гвинея? — сказал человек в сером. — Где он? Позвольте нам хоть раз найти его и опровергнуть без придирок эту вредную гипотезу.

— Сделайте так, — вскричал одноногий человек. — Мне одному будет смешно оттого, что его найдут и оставят полосы от этих пальцев на его краске, как лев оставляет полосы от своих когтей на кафре. Они не позволили мне тронуть его прежде. Да, найдите его, я заставлю шерсть взлететь и затем его самого.

— Вы забываете, — сказал тут молодой священнослужитель человеку в сером, — что сам бедный Гвинея, которому помогали, уже находится на берегу.

— Поэтому я и сказал то, что я сказал; это бесполезно. Но посмотрите теперь, — к другому, — я

думаю, что без личного доказательства смогу убедить вас в вашей ошибке. Вы полагаете вполне разумным предположить, что человек с мозгами вполне способен играть такую роль, о которой вы говорите, и он может предпринять все усилия и пройти через все опасности ради простой выгоды от тех немногих смешных медяков, которые, как я слышал, были всем, что он получил из-за своих болей, если бы таковые имелись?

— Это неопровержимо, — сказал молодой священнослужитель, оспаривая мнение одноногого человека.

— Вы — два юнца! Вы думаете, что деньги являются единственным поводом для болей и опасностей, обмана и колдовства в этом мире. Сколько денег заработал дьявол, обманывая Иова?

После чего он захромал прочь снова, воспроизводя свой невыносимый смех.

Человек в сером тихо стоял, некоторое время наблюдая его отступление, и затем, повернувшись к своему компаньону, сказал:

— Плохой человек, опасный человек; человек, который будет подавлен в любом христианском обществе. И это был тот, кто явился источником порождения вашего неверия? Ах, мы должны

закрыть уши, чтобы не доверять, и держать их так, открывая только ради противоположного.

— Вы декларируете принцип, — используй я его этим утром, — который должен был уберечь меня от того, что я теперь чувствую… Этот человек с одной ногой не единственный, кто источает такую злую силу; одно его злобное слово превращается в настоящую кислоту (что, как я знаю, и произошло), разлитую среди довольно добродушной многочисленной компании. Но, как я намекнул, со мной в то время, когда его злые слова пропали впустую, случилось то же самое, что и теперь; только впоследствии они возымели эффект, и я признаюсь, что озадачили меня.

— Этого не должно произойти. На добрые умы дух неверия воздействует как некоторые микстуры; это — дух, который может войти в такие умы и всё же какое-то время, долгое или нет, лежать в них неподвижно; но от него финал станет более прискорбным.

— Безрадостная перспектива; и с тех пор, как этот скандалист появился и во мне снова возникла его отрава, как могу я быть уверенным, что моё настоящее освобождение от его воздействия продолжится?

— Вы не можете быть уверены, но вы можете

воспротивиться ему.

— Как именно?

— Задушив мельчайший признак недоверия любого вида, который от любой провокации может возникнуть в вас.

— Я так и сделаю. — Затем добавил, как в монологе: — Воистину, воистину я оказался в пассивном состоянии под влиянием этого одноногого человека. Моя совесть бранит меня. Бедный негр! Вы, возможно, иногда видите его?

— Нет, не часто; хотя через несколько дней после того, как это произошло, мои обязанности приведут меня в места его настоящего пребывания; и, без сомнения, честный Гвинея, как благодарная душа, придёт, чтобы увидеть меня там.

— Тогда вы его благодетель?

— Его благодетель? Я не говорил этого. Я знаю его.

— Возьмите эту мелочь. Вручите её Гвинее, когда увидите его; скажите, что она пришла от того, кто полностью верит в его честность и искренне сожалеет хоть и о скоротечном, но всё же потворстве противоположным мыслям.

— Я принимаю ваше доверие. И, между прочим, так как вы обладаете столь благодетельной

натурой, вы не отклоните обращение о помощи вдовосиротскому приюту семинолов?

— Я не слышал об этой богадельне.

— Но она основана недавно.

После паузы священнослужитель нерешительно засунул руку в карман, затем, застигнутый выражением чего-то в лице его компаньона, он уже следил за ним с любопытством, почти тревожно.

— Ах, ну, в общем, — бледно улыбнулся другой, — если эта тонкая отрава, о которой мы говорили, так скоро начала действовать, то мы напрасно обратились к вам. До свидания.

— Нет, — чувствуя себя задетым, — вы несправедливы ко мне; вместо того чтобы требовать для себя снятия возникших подозрений, я хочу поскорее покрыть предыдущий причинённый ущерб. Вот кое-что для вашего убежища. Не очень много, но каждый взнос помогает. Конечно же, у вас имеется бумага?

— Конечно, — доставая записную книжку и карандаш. — Позвольте мне записать имя и количество. Мы публикуем эти имена. И теперь позвольте мне рассказать вам краткую историю нашего приюта и чудесный путь, с которого всё началось.

Глава VII
Джентльмен с золотыми пуговицами на манжетах

В этом интересном месте повествования, с той же минуты, из-за сильного любопытства и, воистину, безотлагательно, рассказчик прервал свой рассказ, оказавшись всецело отвлечённым от него и от своей истории потому, что увидел джентльмена, который пребывал в его поле зрения с самого начала, но до сих пор, как оказалось, замечен им не был.

— Простите меня, — сказал он, поднимаясь, — но вон там стоит тот, кого я знаю, кто мне поспособствует в главном деле. Не поймите превратно, если я оставлю вас.

— Идите: долг важнее всего, — прозвучал честный ответ. Незнакомец был человеком более чем привлекательным. Он выделялся своей обособленностью и спокойствием и всё же своим простым взглядом уводил человека в сером от его истории, почти грациозно, подобно некоему вязу с плотной кроной, стоящему одиноко на лугу и соблазняющему в полдень жнеца, дабы тот

бросил свои снопы и поддался зову милостивой тени.

Но мнение, что совершенство не такая уж и редкая вещь среди мужей, в мире широко распространено, и оно есть у любого народа — что любопытно, — и оно выделяло незнакомца и заставляло его быть похожим по виду на иностранца среди толпы (отчего для некоторых его появление стало более или менее нереальным в этой портретной живописи), выделяя его всего лишь выразительностью как распространённой характерной чертой. Полным совершенством казался он, соединённый с таким же богатством, и его имеющийся собственный личный опыт вряд ли познал болезнь, физическую или моральную; и если учитывать знания или возможности существования какой-либо серьёзной научной степени (предположив, что такая степень у него была) из-за наблюдательности или склонности к философии, то вероятно, что из-за такого характера его противники либо были недостаточно опытными, либо полностью отсутствовали. Для остальных он, возможно, выглядел пятидесяти пяти или, возможно, шестидесяти лет, но высоким, румяным, отчасти пухлым и отчасти полным, подтянутым, со свободным характе-

ром — и к времени, и к месту, без намёка на его лета, одетым со странной праздничной законченностью и элегантностью. Подкладка его пальто была из белого атласа, которая, возможно, выглядела особенно неуместной, если б не оказалась частицей более простого покроя, чем-то вроде эмблемы, каковой она и являлась; непреднамеренная эмблема, скажем прямо, выглядела весьма приятной, и даже более приятной, чем вся внешняя сторона; нет, у прекрасного одеяния была ещё более прекрасная подкладка. На одной руке он носил белую лайковую перчатку, но другая рука, та, что была без перчаток, выглядела едва ли менее белой. Теперь, когда «Фидель», как большинство пароходов, имел палубу, немного исполосованную сажей в разных местах, особенно на перилах, то благодаря чудесному обстоятельству эти руки сохранили свою безупречность. Но если бы вы понаблюдали за ними некоторое время, то заметили бы, что они избежали прикосновения к чему-либо; вы заметили бы, проще говоря, что тело любого чернокожего слуги, чьи руки природа окрасила в чёрное, возможно, сделала это с той же самой целью, при которой мельники становятся белыми; руки этого негритянского слуги много служат

своему владельцу, имеющему грязные мысли на их счёт, но не имеющему их в отношении своих предубеждений. Но если, не пятная себя последствиями, джентльмен продемонстрирует пороки, то каким же испытывающим ударом это окажется! Но это было бы недопустимо; и даже если бы и было, то никакой разумный моралист не стал бы провозглашать этого.

Поэтому этот джентльмен, как следует разумно утверждать, знал, как и иудейский губернатор, как содержать свои руки в чистоте, и никогда в своей жизни не избегал внезапно возникающего торопливого маляра или чистильщика; одним словом, весьма удачно здесь оказался этот очень приятный человек.

Не то чтобы он смотрелся своего рода Уилберфорсом во всём; этим превосходным качеством он, вероятно, не обладал; ничто в его поведении не означало его праведности, только благообразность, и хотя быть приятным гораздо ниже того, чтобы быть праведным, и поскольку есть различие между этими двумя, всё же не стоит надеяться, что это совсем несовместимо, праведный человек не может не быть приятным человеком; хотя с точки зрения проповедника было очень убедительно доказано, что просто приятный

человек, то есть из-за одной лишь красоты его природы, всё же далёк от праведности, и не что иное, как полное изменение и преобразование могут сделать его таким; и то, что он в чём-то нечестен, хорошо описано в истории праведности, чего не стоит отрицать; однако, начиная со времени самого святого Павла, в некотором смысле соглашаясь с различием точки зрения проповедника, хоть и частично отбросив эту точку зрения, а также довольно явно сообщая, которое из этих двух рассматриваемых качеств заслуживает его апостольского предпочтения, я передаю то, что многозначительно сказал святой Павел, а именно: «…едва ли ради праведного человека умрёт один, но возможно, что ради хорошего человека посмели бы умереть даже многие»; поэтому, когда мы ещё раз говорим про этого джентльмена, что он был только приятным человеком, то, какие бы серьёзные цензоры ни выступали против него, нужно всё ещё надеяться, что его совершенство не будут, по крайней мере, считать преступным. Во всяком случае, никакой человек, даже праведный, не решился бы совершенно законно сдать этого джентльмена в тюрьму за громкое преступление, если бы счёл его таким; и, более всего, пока всё не станет из-

вестно, будет некоторый шанс, что джентльмен может, в конце концов, оказаться вполне невиновным в этом, как и он сам.

Было приятно заметить хорошего человека, приветствующего человека праведного, то есть человека в сером, более низкого роста, очевидно, но более значительного по социальной шкале, чем по высоте. Словно гибкий вяз, приятный человек, казалось, раскачивался, нависая своей совершенной кроной над этим просителем, но не в тщеславной снисходительности, а с той самой прелестью истинной величественности, которая может относиться по-доброму к любому человеку, не преклоняясь перед ним.

На просьбу о помощи вдово-сиротскому приюту джентльмен, после того как должным образом ответил на пару вопросов, извлёк вполне просторный бумажник в старом добром роскошном стиле из прекрасного зелёного французского сафьяна и мастерски сшитый вместе с шёлком того же самого цвета, где ветхие купюры не смешивались с новыми, только что вышедшими из банка, с полным отсутствием какой-либо грязи на них. Эти купюры ещё могли принести пользу, но покуда оставались не запятнанными миром и незагрязнёнными. Вложив теперь три

из этих девственных купюр в руки просителя, он понадеялся, что малый размер вклада будет прощён; но, по правде говоря, все они и составляли его извинения, так как он был привязан лишь к короткому отрезку времени, плывя вниз по течению, дабы днём в праздничной роще насладиться свадьбой своей племянницы, — поэтому он и не носил с собой много денег.

Он горячо выразил свою благодарность, когда джентльмен в знак признательности записал его: благодарность была принята и с другой стороны. Для него, сказал он, милосердие было в каком-то смысле не усилием, а роскошью, противостоящей слишком большой снисходительности, о которой его стюард, весельчак, иногда предупреждал его.

В некоем последующем общении, которое касалось организации благотворительности, джентльмен выразил своё сожаление, что многие существующие благотворительные общества тут и там изолированы и разделены между собой, не действуют сообща, а единение в пути, происходящее в каждом сообществе, созданном людьми, его составлявшими, закончится, как он мыслил, преимуществом в более широком масштабе. Действительно, такая конфедерация могла бы, возможно, получить удачные результа-

ты с политической точки зрения, если бы этому уделяли внимание со стороны государства.

Его к настоящему времени сильно осаживал компаньон, говоря, что это предложение имело бы эффект, проиллюстрированный в соответствующем понятии Сократа, что душа гармонична; постольку, поскольку звук флейты, в любом особом ключе, будет, как говорится, внятно вызывать соответствующий хороший аккорд в любой арфе, оказавшейся у слушателей, именно так создавая некую последовательность, отвечающую ему, и оживляя его.

Это оживление, между прочим, смогло коснуться не только человека в сером, учитывая его не совсем бодрое поведение, когда, поначалу заведённый, он уже был не готов в целом после беседы принять трезвый, в определённой степени, факт, что для определённых натур в трезвой атмосфере иногда из-за утверждения пустоты материала, хорошее убеждение, его не растратить впустую, может быть использовано эффективнее, особенно когда представится такая возможность. То, что за этим последовало со стороны человека в сером, будет далее проиллюстрировано и, возможно, будет несколько поразительно, что описано такой ремаркой, как эта.

— Сэр, — сказал он нетерпеливо. — Я стою перед вами. Проект, но не сходный с вашим, был мною выставлен на Всемирной выставке в Лондоне.

— Всемирная выставка? Вы там были? Простите, как это случилось?

— Сначала позвольте мне…

— Нет, но сначала скажите мне, что привело вас на ярмарку?

— Я приехал, чтобы показать мягкое кресло для инвалидов, которое я изобрёл.

— Значит, вы не всегда занимались благотворительностью?

— Разве это не благотворительность — ослабить человеческое страдание? Я верю, всегда верил, да и всегда буду верить в благотворительный бизнес, как вы называете его; но милосердие не походит на иголку, втыкаемую то в одну, то в другую точку; милосердие — работа, в которой хороший работник может быть компетентней всего своего подразделения. Я изобрёл своё универсальное мягкое кресло в свободное от сна и еды время.

— Вы называете его универсальным мягким креслом; умоляю, опишите его.

— Моё универсальное мягкое кресло-стул — целиком соединённое, вращающееся и плавающее,

сплошь упругое, эластичное и послушное самому воздушному прикосновению, изменяемое положение спинки, сиденье, подножки и подлокотники, для самого беспокойного тела, наиболее измученного тела, ну, я почти добавлю, что и сильно измученная совесть, так или иначе, должна где-нибудь найти отдушину. Полагая, что я должен предложить такой стул страдающему человечеству повсюду, я собрал свои скромные средства и отправился с ним на Всемирную выставку.

— Вы сделали правильно. Но ваша схема — как вы пришли к ней?

— Я собирался сказать вам. После обнародования моего изобретения, должным образом описанного и размещённого, я поразмыслил о презентации самого себя. Поскольку я сосредоточился на ярком искусном театрализованном представлении на конкурсе наций и раздумывая о том, что здесь, в стеклянном павильоне, торжествует цвет мира, то недолговечность всемирного великолепия глубоко впечатлила меня. И я сказал себе, что смогу увидеть, сможет ли этот миг славы подать намёк на прибыль большую, чем была задумана. Позвольте некоему всемирному милосердию быть реализованным

во всём мире. Короче говоря, вдохновлённый этой сценой, на четвёртый день я обнародую на Всемирной выставке свою брошюру о Всемирном милосердии.

— Стоящая мысль. Но, умоляю, поясните её.

— Всемирное благотворительное общество должно быть обществом, включающим представителей от каждого благотворительного общества и существующих миссий, единственной целью которого будет привести в систему мировую благотворительность, при которой, наконец, с существующей системой добровольных и разнородных вкладов должно быть покончено; и где Общество уполномочит все правительства к ежегодному налогу, единому великому налогу на благотворительность на всё человечество; как во время Цезаря Августа весь мир пришёл к налогообложению, схема налога в котором была чем-то вроде подоходного налога в Англии, налога, как прежде отмечалось, консолидирующего все возможные налоги на благотворительность; как здесь, в Америке, есть государственный налог, и налог графства, и городской налог, и подушный налог, взымаемые одновременно. Этот налог, согласно моим заботливым вычислениям, привёл бы к ежегодному подъёму фонда почти

на восемьсот миллионов; этот фонд будет ежегодно применяться для таких целей, и такие учреждения, как различные благотворительные учреждения и миссии, в общем конгрессе представителей могли бы устанавливаться декретом, посредством чего через четырнадцать лет, как я рассчитываю, он был бы посвящён добрым делам на сумму одиннадцать тысяч двести миллионов, которая гарантировала бы роспуск Общества, потому что если этот фонд рассудительно расходовать, то ни одного нищего или язычника не останется во всём мире.

— Одиннадцать тысяч двести миллионов! И все, передавая по кругу… шляпу… это так.

— Да, я не Фурье, прожектёр невозможной схемы, но я филантроп и финансист, интегрирующий филантропию и финансы, которые реальны.

— Реальны?

— Да. Одиннадцать миллиардов двести миллионов, это не напугает никого, кроме отдельного филантропа. Что, если не восемьсот миллионов в течение четырнадцати лет? Сейчас восемьсот миллионов — что это, если не среднее число, но разве один малый доллар не важен для населения планеты? И кто откажется, если турок или

даже даяк свой собственный малый доллар отдаст ради сладкой доброты милосердия? Восемьсот миллионов! Больше, чем сумма, ежегодно расходуемая человечеством не только на тщеславие, но и на бедствия. Посмотрите на этого кровавого расточителя — войну. И разве человечество настолько глупо и настолько зло, что для демонстрации этих вещей оно не будет, выверяя свои пути, посвящать излишки своих средств облагодетельствованию мира вместо его проклятия? Восемьсот миллионов! Оно не должно собирать их, они уже ему принадлежат; нужно только направить их от плохого к хорошему. И для этого потребуется немного самоотречения. Фактически оно не было бы в массе своей более бедно из-за одного гроша, как, конечно, оно не было бы в целом лучше и счастливей. Разве вы не видите? Но признайте как должное, что человечество не безумно и мой проект реален. Разве существо, не будучи безумным, творило бы добро вместо зла, когда всё это, хорошее или плохое, должно будет вернуться к нему же самому?

— Ваш вид рассуждения, — сказал приятный джентльмен, поправляя свои золотые пуговицы на манжете, — всем кажется достаточно разумным, но у человечества есть привычка делать то,

что оно делает.

— Тогда человечество, по существу, не рассуждает, если сила привычки так обходится с ним.

— Это не приводит к цели. Между прочим, из ваших ссылок на перепись в мире получается, что, согласно вашей всемирной схеме, нищий не меньше, чем набоб, должен способствовать облегчению нищеты и язычник не меньше, чем христианин, обращению язычников. Это так?

— Почему же? Это, простите меня, придирка. Теперь ни одному филантропу не понравится противостоять двусмысленности.

— Хорошо, я не буду больше придираться. Но, в конце концов, если я понимаю ваш проект, то в нём мало принципиально нового; кроме того, вы хотите прирастить задействованные средства?

— Увеличением и проявлением энергии. С одной стороны, миссии я бы полностью реформировал. Миссиям я бы придал дух Уолл-стрит.

— Дух Уолл-стрит?

— Да. Поэтому, если откровенно, определённые духовные окончания будут иметь место, но затем, через вспомогательное агентство всемирных средств, — к большей прибыли, извлечённой из таких духовных приобретений; примерами

международной политики в мировых проектах эти духовные проекты не должны будут пренебрегать. Короче говоря, обращение язычника будет идти до тех пор, пока, по крайней мере, в зависимости от усилий человека, благотворительность в мире не будет остановлена по умолчанию. Поэтому много предложений по преобразованию Индии, также много и по Борнео, также много и по Африке. Компетенция позволяет, стимул будет дан. Только бы не случилось летаргии от монополии. У нас не должно быть миссионерских домов или путевых домов, из-за чего клеветники с любым правдоподобием могли бы сказать, что из-за бюрократии мы перерождаемся в подобие таможни. Но основной пункт — Архимедова денежная сила, которая будет пущена в ход.

— Вы имеете в виду восемьсот миллионов сил?

— Да. Вы видите, что мелкая благотворительность для мира, по сути, просто пустяк. Я за то, чтобы приносить добро миру с желанием. Я за то, чтобы было желание приносить благо миру раз и навсегда и сделать это заодно с ним. Потрудитесь подумать, мой уважаемый господин, о водоворотах и мальстримах язычников в Китае. Люди здесь совсем не имеют концепции добра.

Из-за морозного утра в Гонконге нищих язычников находят мёртвыми на улицах в таком же количестве, сколько находят раздавленных горошин в мусорном ведре. Бессмертное существо в Китае не более различимо, чем снежинка в снежном вихре. Что для таких людей один-два счёта от миссионеров? Нужно увеличение от понюшки до размеров кракена. Я стою за посылку лично десяти тысяч миссионеров и обращение массы китайцев в течение шести месяцев после высадки. Тогда дело будет сделано, и мы обратимся к чему-нибудь ещё.

— Я боюсь, что вы слишком восторженны.

— Филантроп — обязательно энтузиаст; ведь что и когда достигалось без энтузиазма, кроме банальности? Но опять же, посмотрите на бедняков в Лондоне. Для такой толпы страдающих что означает единение здесь и хлеб там? Я за то, чтобы отдать им двадцать тысяч волов и сто тысяч баррелей муки для начала. Тогда они успокоятся и не будут больше жаждать этого, как сейчас это происходит среди бедняков Лондона. И так повсюду вокруг.

— Разделяя характер вашего общего проекта, этих вещей, я принимаю его скорее как пример чудес, которых стоит пожелать, нежели как чу-

дес, которые произойдут.

— И возраст чудес известен? Действительно ли мир слишком стар? Действительно ли он бесплоден? Подумайте о Саре.

— Тогда я — Авраам, оскорбляющий ангела, — с улыбкой. — Но, тем не менее, если говорить о вашем проекте в целом, то он кажется определённо смелым.

— Но если к смелости проекта будет привнесена соразмерная осмотрительность выполнения, как тогда?

— Почему вы всерьёз полагаете, что ваше всемирное милосердие когда-нибудь придёт в действие?

— Я уверен, что так и будет.

— Но разве вы не можете быть самонадеянным?

— Для христианина вполне подходит говорить так!

— Но подумайте о препятствиях!

— Препятствия? Я уверен, что преодолею препятствия, даже горы. Да, верю в милосердие в мире до такой степени, что, пока нет лучшего человека для этого места, я назначу себя временным казначеем и буду счастлив получать подписки в качестве подарка, который будет

посвящён исключению ещё одного миллиона из моего перечня.

Разговор продолжался; человек в сером отстаивал идею благотворительности, которая, помня тысячелетнее обещание, пересекла границы всех стран земного шара, как душа весьма усердного землепашца, раздуваемая предчувствием ближайшего посевного сезона, поглощает его с мартовской мечтательностью у домашнего очага и на каждом кусочке земли его фермы. Была затронута основная струна человека в сером, и казалось, будто он никогда не прекратит вибрировать. Его весьма серебристая речь также для убедительности была дополнена жестами и цитатами из Пятикнижия, от которых гранитные сердца разлетелись бы на осколки.

Поэтому удивительно, что его слушатель, столь же добросердечный, каким он и выглядел, ждал доказательств такого красноречия, хотя и не остался равнодушным к таким мольбам. После дальнейших слов с чувством доброго скептицизма, когда корабль уже пришвартовался к месту предназначения, джентльмен со взглядом, наполовину состоящим из смеха, наполовину из жалости, вложил ещё одну банкноту в его руки, благоволя к последнему только лишь

из-за мысли о его энтузиазме.

Глава VIII
Благотворительница

Если алкоголик в трезвом состоянии является самым унылым из смертных, то энтузиаст в рассудительном состоянии покажется совсем уж неживым. И это, без предубеждения, наилучший момент для его восприятия; отсюда если его восторг — это высота его безумия, то его отчаяние — всего лишь противоположность его здравомыслию. Что-то подобное на всеобщем обозрении и произошло с человеком в сером. Общество было его стимулом, одиночество было его летаргией. Одинокий, как морской бриз, дующий за тысячи лиг, он из-за безучастности, как ветеран, не нашёл сокровища, во всяком случае, слишком ободряющего. Короче говоря, предоставленный самому себе, неспособный никого очаровывать дальше своей скрытой лимфатической системой, он спокойно продолжал пребывать в своей собственной атмосфере — неподвижной, смешанной с грустным смирением и скромностью.

Словно безрезультатно кого-то ища, он нехотя

подошёл к салону, где сидела одинокая леди, но после нескольких разочарованных взглядов на неё сам присел на диван, производя впечатление подавленного и истощённого скорбью человека.

На дальнем конце дивана сидела пухлая и приятная особа, чей вид, кажется, намекал, что если и есть у неё какое-либо слабое место, то им может быть всё что угодно, но только не её чудесное сердце. Её мрачное платье, абсолютно тёмное, свидетельствовало о том, что она вдова, просто-напросто сломленная своим трауром. В её руке находился маленький позолоченный Завет, который она только что читала. Наполовину закрыв его, она в мечтательности держала книгу, и палец её был зажат на восьмой главе из Первого послания к коринфянам, на той главе, к которой, возможно, недавно обратилось её внимание вскоре после того, как она стала свидетелем сцены с предостерегающим немым пассажиром и его мелком. Её взгляд больше не встречался со Священным Писанием, но вечером, когда западные холмы сияли на закате солнца, её вдумчивое лицо сохраняло свою нежность, пусть и позабыв об учении.

Тем временем, дабы привлечь её взгляд, вы-

ражение лица незнакомца стало таким же, как и прежде. Но на него не отзывались. Затем охват её несколько любопытствующего взгляда сузился. Она сосредоточилась. Кроме неприкрашенной доброты, никакого покушения на вежливость в её действиях не проявлялось. Глаза леди заискрились. Очевидно, она уже не оставалась беспристрастной. Вскоре, сделав поклон, низким, печальным, полным уважения тоном незнакомец заговорил:

— Сударыня, простите мою вольность, но что-то есть в этом лице, которое необычайно привлекает меня. Я могу спросить, действительно ли вы — божья сестра?

— Почему… действительно… вы…

Беспокоясь о её неловкости, он поспешил не беспокоить её, но не показал этого.

— Здесь есть хорошее уединение для собрата, — разглядывая яркую парчу леди на фоне салона. — Я обнаружил, что никто не общается по душам. Это, быть может, неправильно, — я… знаю… это так… но я не могу вынудить себя запросто сходиться с людьми в обществе. Я предпочитаю компанию, но тихую, братство или обитель в хорошем месте. Между прочим, сударыня, могу ли я вас спросить, веруете ли вы?

— Действительно, сэр… почему, сэр… действительно… я…

— Вы могли бы вдохнуть веру, например, в меня?

— Действительно, сэр… так много… я имею в виду, как бы поделикатней сказать, мы… э… не знакомы, абсолютно не знакомы, я почти сказала, — возразила леди, едва сохраняя непринуждённую любезность, отводя корпус немного в сторону в то же самое время, как её сердце, возможно, стремилось как раз в другом направлении. Шла естественная борьба между милосердием и благоразумием.

— Абсолютно не знакомы! — со вздохом. — Ах, кем вы можете быть, незнакомка? Напрасно я блуждаю: никто не хочет поверить мне.

— Вы заинтересовали меня, — сказала приятная леди со скромным удивлением. — Могу ли я чем-либо оказать вам поддержку?

— Мне не сможет оказать поддержку тот, у кого нет веры.

— Но я… я верю… по крайней мере, в той степени… я имею в виду, что…

— Нет, нет, в вас её нет… совсем нет. Прошу прощения, я вижу это. Никакой веры. Я — дурак, полный дурак, оттого что я ищу её!

— Вы несправедливы, сэр, — возразила приятная леди с усиленным интересом, — но, может быть, случилось так, что какие-то неблагоприятные события, произошедшие с вами, оказали влияние на вас. Не то чтобы я бросаюсь порицать. Верьте мне, мне, я… да, да… я могу сказать… что… что…

— То, что вы веруете? Докажите это. Позвольте мне принять от вас двадцать долларов.

— Двадцать долларов!

— Вот, я же сказал вам, мадам, что у вас нет веры.

Леди была весьма задета. Она сидела в своеобразном беспокойном мучении, не зная, куда повернуться. Она принималась произносить двадцать различных предложений и каждое заканчивала на первом слоге. В последний раз, в отчаянии, она сумела произнести:

— Скажите мне, сэр, зачем вам нужны двадцать долларов?

— Это не для меня… — глядя на её полутраур, — а для вдов и сирот. Я путешествую как агент вдово-сиротского приюта, недавно основанного среди семинолов.

— И почему же вы не сказали мне о своей цели прежде? — уже с немалым облегчением. — Бед-

ные души — индейцы, тем более безжалостно эксплуатируемые индейцы. Здесь, здесь; как я могла сомневаться? Я так сожалею, что у меня нет больших денег.

— Не горюйте из-за этого, мадам, — поднимаясь и складывая банкноты. — Это незначительная сумма, я признаю, но… — вынимая свой карандаш и книгу, — хотя я и нахожусь здесь и регистрирую только количество, но существует другой регистр, где записана причина взноса. До свидания, вы веруете. Да, вы можете сказать мне то же, что сказал апостол в Послании к коринфянам: «Я рад, что верую во всех вас».

Глава IX
Два бизнесмена проводят маленькую сделку

— ...Простите, сэр, не замечали ли вы поблизости джентльмена в шляпе с пером, скорее всего, чем-то опечаленного? Странно, куда же он мог пойти? Я говорил с ним не далее как двадцать минут назад.

Проворный румяный человек в дорожной кепке с кисточкой нёс под мышкой книгу, подобную бухгалтерской, а вышеупомянутые слова его были адресованы прежде всего студенту колледжа, который внезапно оторвался от перил, куда он вскоре после своего бегства, описанного в предыдущей главе, вернулся и где пока и оставался.

— Вы видели его, сэр?

Очнувшись от своей видимой застенчивости под воздействием дружеской бойкости незнакомца, молодой человек ответил с непривычной быстротой:

— Да, человек с пером был здесь не так давно.

— Грустный такой?

— Да, и несколько сломленный тоже, должен

признаться.

— Это был он. Неудача, боюсь, сокрушила его разум. Тогда скорее скажите: каким путём он ушёл?

— Как раз в том направлении, откуда вы пришли, вон тем коридором.

— Да? Тогда человек в сером пальто, которого я только что встретил, сказал правду: он, должно быть, сошёл на берег. Какая неудача!

Он стоял, раздосадованно дёргая кисточку своей кепки, с которой упала её крупица, и продолжал:

— Ну, я очень сожалею. Фактически у меня здесь было для него кое-что. — Затем приблизился: — Вы видите, он обратился ко мне за утешением, но я поступил с ним несправедливо из-за того, что он начал сообщать, ну, вы понимаете. Ну, будучи именно тогда очень занятым, я отстранился; боюсь, что вполне грубым, а также холодным, угрюмым, бесчувственным способом. Во всяком случае, но три минуты спустя я почувствовал угрызение совести и своего рода побуждение, весьма безапелляционное, вручить этому несчастному человеку десятидолларовую банкноту. Вы улыбаетесь. Да, это, возможно, суеверие, но я не могу не помочь ему; у меня

своя слабость, слава Богу. С другой стороны, — он быстро двинулся далее, — мы стали так богаты в последнее время в нашем деле (мы — я имею в виду угольную компанию «Рапидс»), что, воистину, из-за моих прибылей, совместной и индивидуальной, было бы слишком справедливо сделать пару инвестиций в благотворительность, вы так не считаете?

— Сэр, — сказал этот студент колледжа без какого-либо замешательства, — я понял, что вы официально связаны с угольной компанией «Рапидс»?

— Да, я как раз президент и трансфер-агент.

— Вы?

— Да, но зачем это вам? Вы хотите вложить капитал?

— Почему нет, ведь вы продаёте запас?

— Кое-что можно купить, пожалуй; но почему вы спрашиваете? Вы хотите вложить капитал?

— Но я предполагаю, что, — с прохладной сдержанностью, — вы могли бы кое-что сделать для меня здесь.

— Благословите мою душу, — пристально глядя на него и поражаясь, — действительно, вы вполне деловой человек. Пожалуй, я чувствую, что боюсь вас.

— О, совершенно напрасно. Вы могли бы сейчас продать мне часть этого запаса?

— Я не знаю, я не знаю. Безусловно, есть несколько акций, при специфических обстоятельствах купленных компанией, но это едва ли станет идеей превратить этот корабль в офис компании. Я думаю, что вы должны отсрочить вложение. Итак, — с безразличным видом, — вы видели неудачника, о котором я говорил?

— Позвольте неудачнику идти своим путём. Что это за такая большая книга у вас?

— Это моя трансфертная книга. Я вызван с ней в суд.

— «Угольная компания „Рапидс“», — искоса читая позолоченную надпись на корешке. — Я много слышал о ней. Умоляю, нет ли у вас случайно какого-либо отчёта о состоянии вашей компании?

— Отчёт был опубликован только что.

— Простите меня, но я, что вполне естественно, любопытен. У вас есть при себе копия?

— Я опять вам говорю: я не думаю, что приемлемо превращать этот корабль в офис компании. А этот неудачник не предлагал вам освободиться от него вообще?

— Позвольте неудачнику утешать самого себя.

Дайте мне отчёт.

— Ну, вы такой бизнесмен, что я едва ли смогу отказать вам. Здесь, — вручая маленькую печатную брошюру.

— Молодой человек внимательно развернул её.

— Я ненавижу подозрительных людей, — сказал другой, наблюдая за ним, — но я должен сказать, что мне нравится видеть осторожных.

— Я могу этим доставить вам удовольствие, — неохотно возвращая брошюру, — поскольку, как было сказано прежде, я по природе любознателен, но я также и осмотрителен. Но внешний вид может обмануть меня. Ваша брошюра, — добавил он, — рассказывает о весьма прекрасной истории, но, умоляю, разве ваш запас не был немного более тяжёл некоторое время назад? Тенденция к падению? Пример падения доверия среди держателей на предмет этого пая?

— Да, была депрессия. Но как она пришла? Кто создал её? «Медведи», сэр. Удешевление нашего запаса произошло исключительно вследствие рычания, лицемерного рычания медведей[3].

— Как это — лицемерного?

---

3 Примечания: 3
Биржевые игроки на понижение — Прим. пер.

— Да ведь самые чудовищные из всех лицемеров — это медведи, лицемерные извратители, лицемерные симуляторы тьмы взамен света, души которых преуспевают и не менее депрессивны, чем самая ложная депрессия; профессора злого искусства создания депрессий; поддельные Иеремии, лживые Гераклиты, те, кто, устроив чёрный день, возвращаются, как ложные Лазари среди нищих, чтобы с ещё большим азартом загребать прибыль, полученную их притворными воспалёнными умами, — подлые медведи!

— Вы воспылали против этих медведей?

— Если это и так, то это, скорее, из-за воспоминаний об их интригах относительно нашей доли, чем от убеждения, что они сами и есть разрушители веры и мрачные философы фондовой биржи; впрочем, будучи фальшивыми сами по себе, они всё же являются истинными примерами большинства разрушителей веры и самыми мрачными философами во всём мире. Эти парни таковы, что средствами политики, запасами зерна, моралью, метафизикой, религией — чем только могут — создают свою чёрную панику, естественно, по-тихому, исключительно в целях своего рода тайного преимущества. Тот несчастный труп, выставляемый напоказ

мрачным философом, является всего лишь его довольно неплохим Морганом.

— Мне, скорее, это нравится, — сознательно растягивал слова молодой человек. — Я представляю себе их мрачные души так же мало, как последующие. Восседаю на своём диване после обеденного шампанского, курю свою сигару с плантации, и если грустный приятель приезжает ко мне — то это скука!

— Вы говорите ему, что это всё, что есть, не так ли?

— Я говорю ему, что это неестественно. Я говорю ему: «Ты достаточно счастлив, и ты знаешь это; и все другие так же счастливы, как ты, и ты тоже знаешь это; и все мы будем счастливы после того, как нас больше не будет, и ты тоже знаешь это; но нет, тем не менее у тебя самого всё ещё остаётся плохое настроение».

— И вы знаете, откуда у этого приятеля берётся плохое настроение? Не от жизни; поскольку он подолгу, слишком подолгу живёт отшельником или же он слишком молод, чтобы замечать что-либо постороннее. Нет, он получает его от неких старых представлений, которые он видит на сцене, или от неких старых книг, что он находит в каморках. Десять к одному, что он

притащил домой с аукциона заплесневелого старого Сенеку и приступил к наполнению самого себя тем же несвежим старым сеном — и вслед за этим думает, что выглядит мудрым и античным, и каркает о том, что выбрал путь, лежащий выше его породы.

— Именно так, — согласился молодой человек. — Я в жизни видел очень много таких ворон, сборщиков барахла из вторых рук. Между прочим, кажется странным, что этот человек с пером, о котором вы спрашивали, выбрал меня для неких мягких сантиментов только потому, что я сохранил спокойствие, и подумал, увидев у меня копию Тацита, что я читаю его из-за его мрачности, хотя я делал это ради его сплетен. Но я позволил ему поговорить. И действительно своими манерами высмеял его.

— Вы не должны были делать этого в тот момент. Он — несчастный человек, которого вы, должно быть, сделали настоящим дураком.

— Это его собственная ошибка, если я так сделал. Но мне нравятся преуспевающие приятели, богатые приятели; приятели, которые говорят о богатстве и успехах, как вы. Такие приятели вообще честны. И теперь я скажу, что у меня, оказывается, есть излишек в моём кармане и я

просто…

— …сыграю роль брата этого несчастного человека?

— Позвольте несчастному человеку оставаться братом самому себе. Что вы вспоминаете его всё это время? Можно подумать, что вы не хотите регистрировать любую передачу или избавиться от какого-либо запаса, — вам разумней избежать чего-то ещё. Я говорю, что я вложу капитал.

— Стойте, стойте, сюда пришли некие шумные господа, — вон туда, вон туда.

— И с бесцеремонной вежливостью человек с книгой препроводил своего компаньона в небольшой укромный уголок, удалённый от бурной ссоры.

Сделка свершилась, эти двое пошли дальше и прогулялись по палубе.

— Теперь скажите мне, сэр, — сказал человек с книгой, — как получилось, что такой молодой джентльмен, как вы, уравновешенный студент при первом же появлении балуется активами и им подобными вещами?

— В мире есть определённые ошибки самоуверенных невежд, — растягивал слова второкурсник, сознательно поправляя воротник своей рубашки, — немалое количество которых являет-

ся популярным мнением, касающимся природы современного учёного и природы современной схоластической уравновешенности.

— Кажется, так; кажется, так. Воистину, это совсем новая страница в моём опыте.

— Опыт, сэр, — заново огляделся второкурсник, — является единственным учителем.

— Следовательно, я ваш ученик — из-за того только, что опыт говорит, что я могу многое стерпеть, чтобы выслушать предположение.

— Мои предположения, сэр, — сухо обрисовывая самого себя, — были в основном определены принципом лорда Бэкона; я размышляю о тех основных положениях, которые приходятся по душе моему делу, и от души… умоляю, не знаете ли вы о каких-либо других хороших активах?

— Вы бы не хотели заинтересоваться Новым Иерусалимом, не так ли?

— Новый Иерусалим?

— Да, новый и процветающий город, так названный, в северной Миннесоте. Он был первоначально основан отделившимися беглыми мормонами. Отсюда и имя. Он стоит на Миссисипи. Вот здесь карта, — извлекая рулон. — Там — тут, вы видите, общественные здания — здесь пристань, там парк, вон там ботанические сады, и эта, эта

небольшая точка здесь — бесконечный фонтан, вы понимаете. Вы замечаете, что здесь двадцать звёздочек. Это для лицеев. У них есть трибуны из гваякового дерева.

— И все эти здания теперь стоят?

— Все постройки — добротные.

— Эти квадраты по краям здесь, действительно ли они — водные участки?

— Водные участки в городе Новый Иерусалим? Всё — суша, или вы всё-таки не кажетесь заботящимся о вложении?

— Только и думаю о том, как бы чётче прочитать своё звание, как говорят студенты юридического факультета, — зевнул студент колледжа.

— Благоразумие — вы благоразумны. Но знайте, что вы сейчас тоже полностью отсутствуете. Во всяком случае, лучше бы у меня была одна из ваших угольных акций, чем две других. Однако полагаю, что первый расчёт произошёл из-за двух беглецов, которые приплыли нагими с противоположного берега, — это удивительные места. Это… основательно… Но, боже мой, я должен идти. О, если вам представится возможность столкнуться с тем несчастным человеком…

— В таком случае, — изображая нетерпение, — я пошлю стюарда уладить эту проблему, и тот

отправит его за борт со всеми его бедами.

— Ха-ха! Был бы здесь сейчас некий сумрачный философ, некий теологический медведь, вечно случающийся, чтобы подавлять суть человеческой натуры (скрытым взглядом рассматривающий толстых присутствующих прихожан холодного Арамиуса), он объявил бы, что это происшествие укрепляет сердце и смягчает разум. Да, это стало бы его зловещим построением. Но это — не что иное, как смешная причуда, приветливая, но сухая. Признайтесь в этом. До свидания.

Глава X
В каюте

Табуреты, скамьи, софы, диваны, оттоманки, занятые группами людей, старыми и молодыми, мудрыми и простодушными; в их руках краплёные карты с алмазами, пиками, палицами, сердцами; любимые игры — вист, криббедж и хвастун. Бездельничающие в креслах или прогуливающиеся среди столов с мраморной столешницей удивлены этой сценой, и сравнительно немного тех, кто, вместо того чтобы занять руки игрой, по большей части держат их в своих карманах. Возможно, что они — философы. Но здесь и там с любопытствующим выражением каждый читает маленькую на вид листовку с анонимными стихами или, скорее, многословными названиями:

ОДА, СОСТОЯЩАЯ
ИЗ НАМЁКОВ
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЕЗВЕРИЕ,
СОЧИНЁННАЯ В БЕСКОРЫСТНЫХ УСИЛИЯХ
РАДИ ПОВТОРНОЙ ПОПЫТКИ
ОБЕСПЕЧИТЬ

ПОЯВЛЕНИЕ ВЕРЫ

На полу лежало множество книжных копий, выглядящих так, как будто они были сброшены с пролетавшего воздушного шара. Путь, благодаря которому они здесь оказались, был таков: некий пожилой человек в квакерской одежде спокойно прошёл через каюту и, подражая железнодорожным книжным коробейникам, которые перед предложением продаваемого товара напрямую или косвенно расхваливают его, следовал с пачками брошюр с одой и без разговора вручал их. Они же, по большей части, после поверхностного взгляда были непочтительно отброшены в сторону, как, без сомнения, лунатическое творение некоего блуждающего рапсодиста.

В назначенное время с книгой под мышкой прошёл румяный человек в походной кепке, который, легко перемещаясь из стороны в сторону, с оживлением оглядывал окружающих с тоскующим и сочувствующим видом, происходящим из его собственной душевной общности, словно говоря: «О, юноши, хорошо было бы, если б я лично познакомился с матерями таких сынов, как каждый из вас, начав с того сладкого мира, в котором заводят сладостное знакомство, братья мои; да, и самое важное здесь то, что все мы здесь

счастливые сукины дети!»

И так же, будто наяву продолжая свою трель, он вёл себя по-братски то с одним бездельничающим незнакомцем, то с другим, обменявшись с ними несколькими приятными замечаниями.

— Умоляю, каково ваше мнение? — спросил он человека, к которому недавно обращался, маленького и худого, который выглядел так, будто никогда не обедал.

— Небольшая ода, и притом довольно странная, — прозвучал ответ, — того же самого типа, что вы видите здесь рассыпанной по полу.

— Я не видел её. Позвольте мне взглянуть, — поднимая одну и рассматривая её. — Уже хорошо, симпатично; жалобно, особенно вступление:

Жаль человека, в котором слишком мало

И радости, и веры.

— …Если это так, то действительно жаль его. Читается очень гладко, сэр. Красивый пафос. Но вы полагаете, что это просто сантименты?

— Касательно этого, — сказал маленький сухой человек, — я думаю, что это в целом своеобразная, странная вещь, и всё же я почти стесняюсь добавить, что она действительно подходит

к моим взглядам, да и к чувствам. Сейчас, так или иначе, я чувствую, что я был доверчивым и приветливым. Я не знаю, что именно я когда-то чувствовал прежде. Я, естественно, был поражён своими чувствами, но эта ода по-своему поработала над моим бесчувствием, мало чем отличаясь от проповеди, которая, оплакивая мою ложную смерть в прегрешениях и грехах, таким способом понуждает меня быть в целом живым и в добром здравии.

— Рад слышать это и надеюсь, что вы преуспеете, как говорят доктора. Но кто, как снег, рассыпал здесь оды?

— Не могу сказать: я здесь недавно.

— Может, здесь был ангел? Ну, если вы говорите, что чувствуете себя человеком душевным, то позвольте нам вести себя, как остальные, и сесть за карты.

— Спасибо, я совсем не играю в карты.

— Бутылку вина?

— Спасибо, я совсем не пью вина.

— Сигару?

— Спасибо, я совсем не курю сигар.

— Расскажите историю.

— Если серьёзно, то я едва ли знаю одну, которую стоит рассказать.

— Тогда, мне кажется, этой сердечностью вы заявляете, что чувствуете себя возбуждённым, как потоки воды на земле в отсутствие мельниц. Ну, вам лучше взять в добродушные руки карты. Чтобы начать, мы будем играть на такую малую сумму, какую вы пожелаете, и как раз сделаем игру интересной.

— Воистину, вы должны извинить меня. Так или иначе, я не доверяю картам.

— Что, не доверяете картам? Добрым картам? Тогда на сей раз я присоединяюсь к нашему печальному здешнему соловью — Филомелу:

Жаль человека, в котором слишком мало

И радости, и веры.

— До свидания!

Снова прогуливаясь тут и там и болтая, он со своей книгой, со временем утомившись, поискал глазами место и, высмотрев частично свободный диван, придвинутый напротив, присел там; вскоре там же появился его случайный сосед, который оказался тем самым добрым торговцем, весьма заинтересовавшимся перспективой, внезапно открывшейся перед ним; по ту сторону находились два играющих в вист легкомыслен-

ных молодых человека с кремовыми лицами, один из которых был в красном шейном платке, другой — в зелёном, против двух вежливых, серьёзных, солидных, хладнокровных мужчин среднего возраста, одетых в приличествующие их профессии чёрные галстуки и, очевидно, обладающих степенями докторов в гражданском законодательстве.

Вскоре последовал предварительный осмотр нового посетителя, а затем славный торговец, наклонившись в его сторону, прошептал, прикрывшись раздавленной копией оды:

— Сэр, мне не нравятся взгляды тех двоих, а вам?

— Едва ли, — шёпотом прозвучал ответ. — Эти цветные шейные платки не лучшего вида, по крайней мере, для меня; но мой вкус не закон для всех.

— Вы не поняли, я имею в виду других двоих, и я сужу не о платье, а о выражении лица. Я признаюсь, что я не знаком с такими господами дальше чтения о них в газетах, но те двое — шулеры, разве нет?

— Да пребудет от нас подальше каверзный и придирчивый дух, мой уважаемый господин.

— Действительно, сэр, я не ругал бы их; я редко

занимаю такую стезю, но, конечно же, по меньшей мере, эти два молодых человека едва ли могут быть знатоками, в то время как пара их противников может быть гораздо опасней.

— Вы намекнули, что цветные шейные платки будут столь же неуклюжими, чтобы проиграть, тогда как тёмные шейные платки — столь же ловкими, чтобы быть способны на обман? Кислое воображение, мой уважаемый господин. Прогоните его. Небольшую пользу вам принесёт чтение оды, которая у вас в руках. Годы и опыт, я верю, не испортили вас. А новое либеральное мировоззрение научило бы нас рассматривать этих четырёх игроков — воистину, вся эта каюта полна игроков — как играющих в игры, в которых каждый игрок играет в тщеславие, а неиграющий не станет победителем.

— Сейчас вы вряд ли думаете так, потому что игры, в которых все могут победить, в этом мире, как мне кажется, пока ещё не изобретены.

— Ну-ка, — роскошно откидываясь назад и бросая свободный взгляд на игроков, — плата внесена, слышны звуки пищеварения, забота, тяжёлый труд, бедность, горе, неизвестность; если бездельничать на этом диване, ослабив пояс, то почему бы с радостью не покориться судьбе,

нежели ворчливо искать выход из создавшегося в этом мире положения?

На эти слова добрый торговец ответил долгим и тяжёлым взглядом и затем, потирая свой лоб, углубился в размышление, поначалу нелёгкое, но, наконец всё продумав, опять обратился к своему компаньону:

— Ну, я смотрю, что хорошо забывать про отдельные мысли время от времени. Так или иначе, я не знаю, почему определённая туманная подозрительность кажется неотделимой от большинства частных понятий о некоторых людях и некоторых вещах; но рано или поздно эти туманные понятия от простых контактов с другими людьми рассеиваются или, по крайней мере, меняются.

— Тогда вы полагаете, что я принёс вам благо? Может быть, и так. Но не стоит благодарности, не благодарите меня. Если сказать словами, небрежно брошенными в час общения, то я приношу пользу тем, что исправляю или останавливаю, и это совсем не преднамеренное влияние — рожковому дереву, подслащивающему траву под самим собой, не воздают никакой заслуги в целом, простая полезная случайность, добродетельное естество, — разве не видно?

Последовал ещё один пристальный взгляд славного торговца, и оба снова замолчали.

Заметив свою книгу, до настоящего времени лежащую на его коленях, довольно сильно надоевшую своим пребыванием, её владелец положил её краем вперёд на диван между собой и соседом, таким образом выставив надпись на корешке: «Угольная компания „Рапидс“», которую добрый торговец из-за безупречного благородства и из-за суматохи не смог прочитать, пока она невольно не предстала перед его глазами, не имеющими сознательной возможности не заметить её. Но внезапно, как будто просто вспомнив о чём-то, незнакомец поднялся и пошёл, из-за поспешности оставив свою книгу, которую торговец заметил, без задержки поднял и, поспешив за ним, вежливо возвратил её; совершая свои действия, он не смог избежать непреднамеренного прочтения части надписи.

— Спасибо, спасибо, мой хороший сэр, — сказал другой, получая том и возобновляя своё движение, и тогда заговорил торговец:

— Простите меня, но вы в некотором роде не связаны ли с… угольной компанией; не о ней ли я слышал?

— В мире есть более чем одна угольная компа-

ния, о которой можно услышать, мой хороший сэр, — улыбнулся другой, делая паузу с выражением болезненного нетерпения и демонстрируя бескорыстие.

— Но вы, в частности, связаны с одной. Угольная компания «Рапидс», разве нет?

— Как вы узнали об этом?

— Ну, сэр, я услышал довольно заманчивую информацию о вашей компании.

— Кто ваш осведомитель? Умоляю, — несколько холодно.

— Человек по имени Рингман.

— Не знаю такого. Но, несомненно, многие люди знают нашу компанию, но их не знает наша компания; таким же образом один человек может знать другого, который неизвестен ему. Вы этого Рингмана давно знаете? Старый друг, я полагаю. Но прошу прощения, я должен оставить вас.

— Останьтесь, сэр, это… этот пакет…

— Доля?

— Да, он немного не в порядке, возможно, но…

— Дорогой мой, вы думаете о выполнении какой-либо сделки со мной, не так ли? Учитывая мою должностную компетенцию, я не могу доверять вам. Это трансфертная книга, вот она, — держа её так, чтобы надпись была на виду. — Вы

откуда знаете, что это не подделка? И если я лично не знаком вам, то как вы можете доверять мне?

— Потому, — знающе улыбнулся добрый торговец, — что если бы вы не отличались от меня, то будьте уверены, что вы едва ли бы выказали мне недоверие.

— Но вы не проверили мою книгу.

— Зачем это делать, если я уже готов поверить, что она — то, что нужно?

— Но вы-то хорошо это знаете. Это предполагает сомнения.

— Сомнения, может быть, их можно предположить, но не знание; поскольку, исследуя книгу, я должен буду думать, что знаю уже больше, чем прежде; и если это подлинная книга, то я уже готов так думать; а если это не так, то я никогда не видел истинную и не знаю, на что она должна быть похожа.

— Вашу логику я не буду критиковать, но вашей уверенностью восхищаюсь, и искренностью тоже; шутливый метод я использовал, чтобы вытянуть истину. Достаточно того, что мы подойдём к вон тому столу, и если имеется дело, в котором при моём частном или должностном положении я могу помочь вам, то прошу командовать мною.

Глава XI
Всего лишь страница или около того

Сделка завершилась, оба всё ещё оставались сидеть, погрузившись в известный разговор в той степени доверия, что находится на грани полного сочувствующего молчания и утончённых изящества и роскоши, не затрагивающих добрые чувства. Своего рода общепринятый стереотип предполагает, что во время истинного дружелюбия стоит всё время побольше произносить дружеские слова, нежели всё это время делать дружеские дела. Истинное дружелюбие, как и истинная вера, пребывает в виде, не зависящем от дел.

Далее добрый торговец, взгляды которого задумчиво упирались в оживлённые столы, стоящие вдали, рассеял чары, сказав, что от зрелища перед ним вряд ли можно будет определить, что являют собой другие части корабля. Он сослался на прецедент, с которым случайно столкнулся час или два назад, где сморщенный старый скупец, одетый в старый севший молескин, улёгся,

как инвалид, на голой доске в эмигрантском отсеке, нетерпеливо цепляясь за жизнь и прибыль, хотя и задыхаясь от удушья, а иначе он мучился бы от мысли, что смерть или некий другой беспринципный вор-карманник стали бы средствами его потерь; во время этого недолгого времени, спасая лёгкие и кошелёк, он не желал знать и желать ничего, кроме них; его рассудок, никогда не поднимавшийся выше формы, был теперь почти полностью расстроен. До такой степени, воистину, он не имел веры во что-либо, что даже свои пергаментные бонды для лучшей сохранности от зубов времени он уплотнил и запечатал, как бренди, в оловянном хранилище для алкоголя. Достойный человек довольно долго пересказывал удручающие его подробности. И при этом его радостный компаньон полностью не отрицал, что тут может присутствовать точка зрения, при которой такая крайность ищет уединения, и представленная человеческим разумом особенность в целом не приветствуется, как вино и маслины после обеда. Однако он не остался без вознаграждающего соображения, что в целом привлёк своего компаньона к показу того, как добродушным, окольным способом можно намекнуть на несколько желчную сентиментальность.

Природа, он добавил, по словам Шекспира, имеет еду и отруби, и грамотно отобранные отруби, по-своему, не стоит осуждать.

Другой не был расположен судить о мыслях Шекспира, но едва ли допустил бы уместность применения в этом случае намного меньшего комментария. Потому после некоторого дальнейшего сдержанного обсуждения жалкого скупца оба сошлись на том, что книги Шекспира не совсем гармоничны, и торговец сослался на другой прецедент, который случился из-за негра-калеки. Но его компаньон предположил, что, так или иначе, предполагаемые трудности этого предполагаемого неудачника могли бы существовать скорее в жалостливых глазах наблюдателя, чем в реальности наблюдаемого. Он ничего не знал о калеке, не видел его, но рискнул предположить, что, если бы он мог постичь реальное состояние его сердца, он нашёл бы его почти столь же счастливым, как и большинство людей, пусть даже не наполненным таким же счастьем, как, фактически, сам рассказчик. Он добавил, что негры по своей природе особенно весёлая раса; никто никогда не слышал о доморощенных африканских Циммермане или Торквемаде; и ещё то, что даже из религии они удалили всю мрач-

ность; в своих весёлых ритуалах они танцевали и, как говорится, на самом деле подрезали крылья голубям. Это было невероятно, но именно поэтому этот негр, низведённый до своего состояния, когда-то мог быть подвергнут усечению ног согласно законам забавной местной философии.

Поставленный снова в тупик, добрый торговец мог бы и воздержаться, но решился всё же упомянуть третий случай, того же человека с пером, чья история, как упоминалось отдельно, подтверждалась и дополнялась свидетельством известного человека в сером пальто, которого впоследствии встретил торговец; и сделал он это теперь, не пряча подробностей, раскрытых вторым осведомителем, чья деликатность уберегла самого неудачника от касательств его личности.

Но именно так добрый торговец, возможно, смог воздать большую благодарность человеку с пером, чем та история, которую мы рискнём пересказать другими словами, не преследуя этим какой-либо иной цели.

Глава XII
История Неудачника, в которой, возможно, собраны все обстоятельства того, справедливо или нет он был наделён своими правами

Оказалось, что у Неудачника была жена, и такой аномально порочной природы, что ею почти овладел метафизический любитель породы нашей, дабы усомниться, является ли человеческий облик во всех случаях неопровержимым отражением человеческого характера, или что иногда этот облик не оказывается разновидностью не связанного обещанием равнодушного сосуда, или же, раз и навсегда опровергая высказывание Тразия (необъяснимо полагая, что он сам был столь же хорошим человеком), что «она из тех, кто, ненавидя недостатки, ненавидит человечество», которое не должно при самозащите использовать ради разумного принципа, что ничего, кроме добродетели, не является исключительно человеческим свойством.

Гонерилья была молодой, гибкой и стройной,

слишком стройной, воистину, для женщины с естественным розовым цветом лица, которое было очаровательно, но лишь из-за особой твёрдости и белизны, как у застывших цветов на керамических изделиях. Её волосы имели тёмно-каштановый цвет, но она открывала лишь короткие завитки повсюду вокруг своей головы. Её индейская фигура не оказывала расслабляющего эффекта на её бюст, в то время как её рот можно было бы считать симпатичным, не имей он следа усиков. В целом, при помощи ресурсов туалета, её появление ещё издали было таким, что некоторые, возможно, считали её, во всяком случае, довольно красивой, хотя красота была весьма специфической и подобной кактусу.

Счастье Гонерильи состояло в том, что её весьма поразительные особенности были ограничены личностью, а именно характером и вкусом. Мало кто едва мог обнаружить, что, имея естественную антипатию к таким вещам, как грудка цыплёнка, или заварной крем, или персик, или виноград, Гонерилья всё же могла тайно приготовить сносный обед из твёрдых крекеров и ломтиков ветчины. Ей нравились лимоны, и единственным видом леденцов, которые она любила, были небольшие высушенные палочки

из голубой глины, которые она тайно носила в своём кармане. Кроме того, у неё был крепкий, стойкий организм, как у скво, и такой же стойкий дух и решительность. Некоторые другие её черты были аналогичны тем, что принадлежат женщинам в дикой жизни. Хотя она и была гибкой, она всё же любила полежать, но случаи немощи смогла вынести, как стоик.

Она также была молчалива. С раннего утра приблизительно до трёх часов дня она редко разговаривала — это время смягчало её, по общему мнению, низводя до разговора с человечеством. Во время пауз она мало двигалась, но смотрела и удерживала взгляд своими большими стальными глазами, которые её враги назвали холодными, как у каракатицы, но некоторыми описывались как глаза газели; Гонерилья была не без тщеславия. Те, кто думал, что они лучше всего знали её, часто задавались вопросом, какое же счастье могло взять от жизни это существо, если оно не уделяло внимания иному наслаждению, кроме как очень лёгкому причинению боли тем, кто её окружает. Те, кто пострадал от странного характера Гонерильи, мог бы использовать одну из тех же гипербол, согласно которой обиженный решался назвать её некой жабой; но её злейшие

клеветники никогда бы не посмели ни при каком демонстративном осуждении обвинить её в том, что она была подхалимом. По большому счёту, она обладала достоинством, состоявшим в независимом мышлении. Гонерилья считала лестью намёки на похвалу даже отсутствующим, и даже если они того заслуживали, но честностью — дать оценку ошибкам людей прямо им в лицо. Это мышление было преступным, но оно, конечно, не было страстью. Страстью человеческой. Как ледяной кинжал, Гонерилья резко наносила удар и застывала, — так, по крайней мере, говорили; и когда она видела человека откровенного и невинного, которого доводила до слёзного волнения под воздействием своих чар, то, согласно той же самой силе, внутри себя она жевала свою голубую глину, и вы могли бы заметить, что она хихикала. Эти особенности были странными и неприятными, но другие предполагали, что она действительно была непостижима. В компании у неё появлялась странная манера тронуть, как бы случайно, руку миловидного молодого человека, и казалось, что она приходила в тайный восторг от этого человеческого удовлетворения, поскольку, как говорится, передавала ему свою злость; или же что-то ещё было в ней не столь

примечательное, но столь же скверное и оставшееся загадкой.

Само собой разумеется, каким же бедствием было для Неудачника, когда, занятый беседой в компании, он внезапно видел свою Гонерилью, дарующую свои таинственные прикосновения, особенно в таких случаях, где их странность воздействовала на задеваемого человека и из-за приличия запрещала ему подразумевать интригу, как пятно, способное стать предметом обсуждения в обществе. Также в этих случаях Неудачник впоследствии никогда не мог долго выносить вида задетого молодого джентльмена, боясь потери самообладания при встрече от более или менее многозначительного взгляда. Он до дрожи избегал молодого джентльмена. Поэтому для мужа прикосновения Гонерильи возымели действие страшного языческого табу. Вместе с тем Гонерилья не терпела никакого упрёка. Так, в благие времена он в осторожной манере и весьма деликатно рискнул затеять мягкий задушевный разговор с целью прозрачно намекнуть на эту сомнительную привычку. Она предугадала его мысль, но своим холодным, равнодушным голосом сказала, что было бы глупо говорить о фантазиях, тем более глупых, но если

Неудачнику нравится по-супружески радовать свою душу такими химерами, то они могут подарить ему много супружеских радостей. Хотя всё это было печально, — коснись этого — всё мог бы, возможно, перенести Неудачник, добросовестно помнящий свою клятву: лучше или хуже — лишь бы только любить и лелеять свою дорогую Гонерилью, пока добрые небеса могут хранить её для него, — но затем в конце концов случилось так, что дьявол ревности вошёл в неё, спокойный, липкий, как пирожное, дьявол, поскольку никто другой не мог завладеть ею и объектом этой безумной ревности, её собственным ребёнком, маленькой девочкой семи лет, утешением и любимицей её отца; когда он увидел Гонерилью, искусно мучающую невинную малышку и затем лицемерно по-матерински играющую с ней, многострадальный Неудачник уступил дорогу пациенту. Зная, что она не призналась бы, не исправилась бы и могла бы, возможно, стать ещё хуже, чем она была, он решил, исполняя отцовский долг, удалить от неё ребёнка; но, любя его так, как он хотел, он не мог сделать этого, не отправив себя самого во внутреннее изгнание, что, хотя это было трудно, он и сделал, после чего все женщины в округе, кто до настоящего време-

ни совсем мало восхищался дамой Гонерильей, с негодованием обрушились на мужа, который, не обозначив причину, смог сознательно удалить жену из семейного лона и одновременно обострить ей жало, лишая её утешительных объятий её отпрыска. Ко всему этому чувство собственного достоинства, совмещённое с христианским милосердием к Гонерилье, долго сохранялось у безмолвного Неудачника. И хорошо, что так продолжалось до того момента, пока он, доведённый до крайности, не намекнул ей о каком-то случае, в душе не веря в него; в это время Гонерилья объявила всё, что он сказал, злонамеренной выдумкой. Задолго до этого по предложению некоторых женщин, отстаивающих свои права, уязвлённая жена возбудила иск и благодаря способному советнику и любезному свидетельству настолько преуспела в этом деле, что не только вернула себе опеку над ребёнком, но и получила такую компенсацию при разводе, что разорила Неудачника (так он утверждал); кроме того, благодаря юридической помощи, которой она воспользовалась, произвела судебное уничтожение его частной репутации, что сделало его ещё более печальным, отчего неудачник придумал перед судом свой самый мудрый план,

такой же прекрасный, как самое христианство, который бы, кроме того, не противоречил, как он считал, сути вопроса и должен будет продвинуть дальше заявление об умственном расстройстве Гонерильи и который мог бы с минимальным самоунижением и ненавистью к ней показать при своей защите те обстоятельства, которые привели к его удалению от радостей брака и в конечном итоге появлению желания отвергнуть это обвинение, происходящее из-за психического расстройства от фатального отвращения к нему самому, особенно когда среди прочего он ссылался на её таинственные доктрины. Напрасно старался его адвокат, стремясь устранить психическое расстройство ради того, чтобы в нужный момент убедить его держаться иначе, считая, что такая, как Гонерилья, является нормальной, что иное было бы возведением клеветы на женщину. А это и была клевета. И всё случившееся с Неудачником впоследствии не помешало намерениям Гонерильи поставить на нём несмываемое клеймо сумасшедшего, отчего он сбежал и был теперь невинным изгоем, несчастно блуждающим в Большой долине Миссисипи с пером на своей шляпе из-за утраты его Гонерильи; но поскольку он недавно увидел бумаги, утверждавшие, что

она была мертва, то решил, что надлежит надеть предписанный в таких случаях знак траура. За несколько прошедших дней он попытался заставить деньги полностью вернуться к его ребёнку и совсем не сейчас начал заниматься недостающими фондами.

И вот сейчас всё это, с самого начала, добрый торговец не мог не считать довольно тяжким бременем для Неудачника.

Глава XIII
Человек в дорожной кепке проявляет щедрое человеколюбие и попутно, как оказывается, доказывает, что он является одним из самых логичных оптимистов

Несколько лет назад серьёзный американский учёный, будучи в Лондоне, заметил на тамошней вечеринке одного самодовольного щёголя с абсурдной, как ему показалось, лентой в отвороте его костюма, исполненного умных шуток, настолько восхитительных, насколько присутствующие были расположены ими восхищаться. И весьма велик был саван его презрения; но так вышло, что скоро он оказался в углу с этим нахалом, вступил с ним в беседу и, оказавшись весьма плохо подготовленным против остроумия нахала, оказался полностью побеждённым и, впоследствии пошептавшись с другом, выяснил, что нахал оказался почти столь же известной личностью, как и он сам, будучи не менее важным персонажем, чем сам сэр Хамфри Дэви.

Вышеупомянутый анекдот приведён здесь

как простое средство, предвосхищающее напоминание читателям о том, что вид весёлого легкомыслия или того, что может сойти за него, до настоящего времени в большей части проявлявшийся у человека в дорожной кепке, возможно, оказался привлекательным из-за более или менее поспешной его оценки; и потому такие читатели при обнаружении того же самого человека теперь будут способны к философским и гуманитарным дискурсам — ни одной простой пары случайных предложений до этого времени не прошло без единогласной поддержки в течение почти всего заседания, — а потому они не смогут, как американский гость, вслед за этим прийти к какому-либо удивительному открытию, несовместимому с их собственным хорошим мнением об их предыдущей проницательности.

Когда повествование торговца закончилось, его слушатель не отрицал ничего в той степени, в какой это затрагивало его самого. Он надеялся, что в рассказике Неудачник надлежащим образом не изучен. Но он попросил рассказать, в каком настроении тот встречал свои предполагаемые бедствия. Он пребывал в унынии или в вере?

Торговец, возможно, не принимал в расчёт последнего вопроса, но ответил, что, если и был

Неудачник должным образом подготовлен к своим несчастьям или нет, но был момент, когда он мог сказать за самого себя, что он был повержен, но держался образцово — из-за того только, что, насколько известно, он воздерживался от любых односторонних размышлений о человеческом совершенстве и человеческом правосудии, но в нём была заметна чёткая дисциплина, и временами он бывал в меру жизнерадостным.

Другой на это заметил, что с тех пор, как Неудачник показал пример, абсолютно не согласующийся с точкой зрения человека, его природа оказалась лучше, чем человеческая натура, и она в основном соответствовала его благоразумию (так же как и благочестие, которое при предполагаемом разубеждении тоже становилось весьма заметно), отчего он от филантропии при кратковременном волнении опускался до уровня мизантропов. Собеседник не сомневался также, что на такого человека с его опытом, в конце концов, полностью и благотворно подействовала бы смена обстановки, ведь до сих пор случавшиеся потрясения его веры подтверждали это и сковывали его. Что, конечно, имело бы место, если б Неудачник, наконец, остался удовлетворённым (поскольку рано или поздно так, вероятно, и слу-

чилось бы) и если б отвлечение его внимания от его Гонерильи, при всём к нему уважении, не превратилось бы в игру тщеславия. Во всяком случае, описание леди нельзя было по справедливости не расценить как более или менее преувеличенное и до сих пор несправедливое. Правда, вероятно, состояла в том, что она была женой с некими изъянами, смешанными с некими красотами. Но когда изъяны открылись, её муж, совсем не знаток женской природы, попытался использовать произошедший с нею казус вместо чего-то намного более убедительного. Последовал его отказ от заверений и обручения. Акт удаления от неё казался при данных обстоятельствах весьма резким. Короче говоря, имелись, вероятно, маленькие недостатки с обеих сторон, более чем уравновешенные большими достоинствами, и тут нельзя было спешить с суждением.

Когда торговец, странно сказать, выступил против таких спокойных и беспристрастных взглядов и снова с некоторой теплотой выразил сожаление о случившемся с Неудачником, его компаньон не без серьёзности остановил его, сказав, что он никогда не сделал бы так, разве что в наиболее исключительном случае, при признании существования незаслуженного страдания,

более долгого, чем предполагалось, вызванного безраздельными стараниями грешника, и такой допуск был по меньшей мере неблагоразумен, отчего для некоторых это могло бы оказать неблагоприятное воздействие на их самые важные убеждения. Не то чтобы эти убеждения вполне закономерно находились под таким влиянием. Ведь обычные явления жизни в природе вещей никогда не могли твёрдо проходить одним путём и пересказывать одну и ту же историю про флаги при пассате; следовательно, если бы признание Провидения, скажем, в любом случае зависело от таких перемен, как каждодневные события, то степень этого признания в рассудительных головах подверглась бы колебаниям — сродни колебаниям фондовой биржи во время долгой и сомнительной войны. Тут он поглядел в сторону своей трансфертной книги и после краткой паузы продолжал. Это было сутью правильного признания божественной природы, как правильного убеждения человека, как того, что основывалось совсем не на опыте, а на интуиции и что возвышалось над погодными зонами.

Когда затем торговец всем своим сердцем согласился с этим (ведь, будучи как разумным, так и религиозным человеком, он не мог этого не сде-

лать), его компаньон выразил удовлетворение, что в период некоего недоверия к таким вещам он всё же смог встретиться с тем, кто разделил бы с ним — почти полностью — столь здоровую и возвышенную веру.

Однако он был далёк от ограниченности, отрицающей, что философию недопустимо сдерживать. Только он считал её, по крайней мере, желательной, когда такой случай, как с предполагаемым Неудачником, стал предметом философского обсуждения, что должно рассматриваться как неподача руки со светом истины неким несчастным людям. Поскольку недопустимо, чтобы всё, что было столь таинственным в этом случае, могло бы теми же самыми людьми быть использовано ради молчаливого отказа от ответа на задаваемый вопрос. И что из-за очевидного давления, временно допускаемого иногда, плохого на хорошее (как косвенные предположения относительно Гонерильи и Неудачника), она оказалась неразумной потому, что возложила слишком много полемического напряжения на доктрину будущего возмездия, как на защиту существующей безнаказанности. Хотя, действительно, порассуждать, то эта доктрина была верна и довольно утешительна,

и всё же извращённое полемическое упоминание о ней могло бы вызвать мелкое, хотя и вредное, тщеславие потому, что такая доктрина была эквивалентна той, которая утверждала, что хотя провидения нет сейчас, но оно было раньше. Короче говоря, со всеми недостатками она была лучшей и для них, и для всех, в ком и был свет истины и кто должен был идти за ней, признавая Малахов курган символом веры, не соблазняясь в дальнейшем случайной опасной перестрелкой на открытом пространстве. Поэтому он считал неблагоразумным для хорошего человека, даже в области своего собственного сознания или в общении с близкими себе по духу людьми, баловаться слишком большой широтой философии или, воистину, содействовать этому, из-за чего могла бы зародиться нескромная привычка размышлять и чувствовать, которая могла бы неожиданно подвести его в неподходящий момент. Действительно, тайно или публично, но не было ничего такого, из-за чего хороший человек более всего обязан был беречь самого себя, в частности, от некоторых тем, а также уводить своё простодушное сердце от эмоциональной несдержанности, от которой открытые сердца в определённые моменты, каковы бы они ни

были, предостерегают знающие люди.

Но он решил, что сможет сохранить самообладание. Торговец в своём добродушии мыслил иначе и сказал, что он был бы рад освежать себя такими фруктами весь день. Он сидел под кафедрой зрелого проповедника, где было лучше, чем под зрелым персиковым деревом.

Другой был рад найти то, чего у него не было, поскольку боялся предстать прозаичным; но, не желая быть рассмотренным в свете формул проповедника, он предпочёл всё же быть принятым за равного и приветливого компаньона, в продолжение чего, добавляя ещё больше общительности в своё поведение, он снова обратился к истории Неудачника. Если избрать самый плохой вариант в этом случае и признать, что его Гонерилья действительно была Гонерильей, то как удачно, наконец, быть избавленным от этой Гонерильи и по своему желанию, и по закону? Если бы он познакомился с Неудачником, то вместо выражения сочувствия поздравил бы его. Он был очень счастлив, этот Неудачник. Счастливый сукин сын, посмел бы он сказать, в конце концов.

На что торговец ответил, что он искренне надеялся, что, возможно, так оно и есть, и, во всяком случае, он старался изо всех сил успокоить себя

убеждением, что если Неудачник не был счастлив в этом мире, то он будет в столь же малой степени счастлив в ином.

Его компаньон не задавал вопроса о счастье Неудачника в обоих мирах и вскоре, заказав небольшую бутылку шампанского, пригласил торговца принять участие в её распитии, шутя заявив, что, безотносительно к иным понятиям, кроме понятия удачи, он мог бы стать партнёром Неудачника, а маленькая бутылка шампанского без труда пузырилась бы и дальше.

Они медленно осушали бокал за бокалом в тишине и задумчивости. Наконец выразительное лицо торговца покраснело, его глаза стали источать влагу, его губы задрожали с невообразимой женской чувствительностью. Не создав ни облачка в его голове, вино, казалось, выстрелило ему в сердце и начало вещать там.

— Ах, — вскричал он, отодвигая от себя свой стакан. — Ах, вино хорошо, и воистину хорошо; но могут ли вино или вера просочиться вниз через все каменные страты тяжёлых размышлений и опуститься тёплыми и красными в холодную пещеру правды? Правда… не… успокоится. С милосердием, соблазняемым сладкой надеждой, это проявление великого замысла описано слишком

фантастично; но напрасно; простые мечты и идеалы, они взрываются в вашей руке, не оставляя в ней ничего, кроме пламени позади!

— Да почему же, почему! — с удивлением, взрываясь. — Благословите меня, если in vino veritas[4] окажется правдивой фразой. Тогда, при всей прекрасной вере, которую вы показали мне, тяжкое неверие, глубокое неверие лежит в её основе, и десять тысяч огней, как Ирландское восстание, вспыхивает в вас сейчас. Это вино, хорошее вино должно зажечь его! За мою душу, — наполовину всерьёз, наполовину шутя, сжимая бутылку. — Вам не стоит пить больше половины бутылки. Вино предназначено для сердечной радости, а не для горечи, и для того, чтобы укрепить веру, а не ослабить её. Отрезвлённый, пристыженный, почти запутанный этой шуткой, в данных обстоятельствах по большей части содержащей упрёк, торговец взглянул на него и затем с изменившимся выражением лица чеканным голосом признался, что он был почти удивлён, поняв, что, как и его компаньон, он избегал такого откровения. Другой не понял его, оставаясь в недоумении от такой непрошеной трескучей рапсодии. Тут

---

4 Примечания: 4
«Истина в вине» (лат) — Прим. пер.

едва ли могло сказаться действие шампанского; он почувствовал, что его сознание не затронуто; фактически, в целом, вино подействовало на него как яичный белок, брошенный в кофе, растворяя его и делая светлее.

— Делая светлее? Возможно, светлее, но менее, чем яичный белок в кофе, это как блеск огня в печи на фоне её черноты, и, весьма прояснившись, я раскаиваюсь в призыве к шампанскому. Такой личности, как ваша, не стоит рекомендовать шампанское. Простите, мой уважаемый господин, вы снова чувствуете себя самого вполне самостоятельным? Доверие восстановлено?

— Я надеюсь, что это так; я думаю, что могу сказать, что это так. Но у нас был долгий разговор, и полагаю, что теперь я должен удалиться.

Произнеся эти слова, торговец встал и, сказав своё adieus, вышел из-за стола в настроении, уничтожающем его самого тем, что он соблазнился своим собственным божественным совершенством, случайно приведшим к зарождению безумных дискуссий — как для него самого, так и для другого — из-за странных, необъяснимых капризов своей открытой натуры.

Глава XIV,
которая стоит внимания тех, для кого она достойна внимания

Поскольку последняя глава была начата с напоминания о взгляде вперёд, то данная глава должна состоять из одного взгляда назад.

Кое-кого она сможет весьма удивить тем, что столь исполненный веры человек, как торговец, всесторонне раскрывший себя к моменту произошедшей с ним внезапной импульсивности, оказался предан столь глубокому недовольству. Его можно считать непоследовательным, и даже в этом случае он такой, какой он есть. Но можно ли за это обвинять автора? Воистину, можно быть убеждённым, что нет ничего более важного, на что автор должен наиболее тщательно обращать внимание, поскольку нет ничего иного, на что разумному читателю также не стоит весьма внимательно смотреть, а поэтому в описании любого характера последовательность повествования должна быть сохранена. Но она, хоть и на первый взгляд представляющаяся достаточно разумной, при более близком рассмотрении

может оказаться совсем не такой, поскольку она в паре с другим требованием одинаково настаивает на том, что, возможно, что в то время, как во всей беллетристике позволительна некоторая игра воображения, то беллетристика, основанная на фактах, никогда не должна им противоречить; и разве это не факт, что в действительности последовательный характер является редкостью? И она такова, что отвращение читателя к его противоположности в книге едва ли может являться результатом некоего постулата о невозможности существования антипода. Это скорее происходит от невозможности его понимания. Но если самый остроумный мудрец часто оказывается на вершине своего остроумия, чтобы понять реальный характер, то будут ли те, кого мудрецы не чают избежать и чьи характеры прочитываются в тех простых фантомах, мелькать вдоль страниц, как тени вдоль стены? В беллетристике, где каждый характер из-за его последовательности можно постичь с одного взгляда, любые показанные, неделимые характеры становятся вызывающими для всех, что, иначе говоря, весьма противоречит действительности; в то время как, с другой стороны, автор, который открывает характер, даже с учётом того, что тот, по общему мнению, не со-

ответствует своим составным частям, — подобно белке-летяге, в различные периоды предстающей в разных формах, или бабочке с гусеницей, первая из которых превращается во вторую, — может всё же, таким образом, представлять не ложные, но истинные факты.

Если порассуждать, то ни один писатель не сотворил такое множество непоследовательных характеров, как сама природа. Она должна призывать к немалой проницательности в читателе ради безошибочного определения в романе разногласий между концепциями, как в той же жизни, так и вообще везде. Опыт — единственный провожатый здесь; но поскольку ни один человек не может быть одинаково притянутым ко времени и пространству, то не благоразумней ли будет при каждой слабости опираться на него. Когда бобёр с утиным клювом из Австралии впервые был привезён в Англию, натуралисты, обратившись к своим классификациям, остались при мнении, что такого существа не существует в действительности, сочтя представленный экземпляр составленным неким искусственным путём.

Но позвольте природе, к недоумению натуралистов, производить её бобра с утиным клювом таким, каков он есть, у мелких же авторов может

не иметься другого дела, кроме как озадачить читателей персонажами с таким же клювом. Они всегда должны представлять человеческую натуру не во мраке, но в прозрачности, которая, действительно, практикуется большинством романистов и существует, возможно, в определённых случаях, которая, как чувствуют некоторые, является своего рода положительным свойством, прилагаемым ими к её облику. Но, привлекая честность или что-то иное к этому обсуждению, мы получаем, что по этой причине — если эти воды человеческой натуры могут быть столь различимы — они или очень чисты, или очень мелки. Более того, скорее стоит полагать, что тот, кто из-за противоречий говорит о человеческой природе то же самое, что из-за контрастов рассказывается о природе божественной, — чего в прошлом не происходило, — то он таким образом даёт ей лучшую оценку, чем тот, кто всегда представляет всё в ясном свете и заставляет делать вывод, что он имеет ясное представление обо всём.

Но, хотя и есть предубеждение против непоследовательных персонажей в книге, всё же предубеждение приобретает другое направление, когда то, что казалось сначала нелепым,

впоследствии, благодаря мастерству писателя, оказывается наилучшей частью содержания. Великие мастера ничем весьма особенным не выделяются. Они бросают вызов неким удивительно путаным персонажем и затем вызывают ещё большее восхищение удовлетворяющим всех его распутыванием; таким образом, путём открытия, а иногда и понимания даже школьных промахов последующие составные части этой души, как подтверждает её Создатель, оказываются пугающе и чудесно воссозданными.

По крайней мере, что-то подобное наверняка требуется психологическим романистам, и это требование не будет здесь оспариваться. Всё же этот пункт кажется наводящим на размышление, поскольку из-за всех этих вспышек изобретательности, закончившихся открытием постоянных принципов человеческой натуры, высокими судьями с презрением были исключены из ряда наук хиромантия, физиогномика, френология, психология. Аналогичен этому тот факт, что во всех эпохах такие противоречивые взгляды имеются у большинства выдающихся умов, выбранных человечеством, как и в других темах, казалось бы, предполагающих весьма общее и весьма полное невежество. И которое может

оказаться более вероятным, если считать, что после детального изучения лучших романов, изображающих человеческую натуру, прилежный молодой человек всё ещё рискует слишком часто ошибаться при попадании в реальный мир, тогда как, будучи снабжённым верным планом, он должен, казалось бы, жить по нему, как это случается с незнакомцем, вошедшим с картой в руке в город Бостон; улицы могут быть очень изогнутыми, он может часто останавливаться, но благодаря своей выверенной карте он не сможет безнадёжно заблудиться. Но на это сравнение можно привести соответствующее возражение, что изгибы города — это всегда то же самое, что и те же изгибы человеческой природы, подверженной изменению. Главные признаки человеческой натуры сегодня те же самые, какими они были тысячу лет назад. Единственное изменение в них находится в способе их выражения, но не в особенностях. Но если, несмотря на кажущееся уныние, некоторые математики всё же надеются натолкнуться на точный метод определения долготы, то и более серьёзные психологи всё ещё могут перед лицом предыдущих неудач лелеять ожидание появления некоего способа обнаружения сердца непогрешимого

человека.

Но достаточно было сказано в качестве извинения за то, что, возможно, казалось неправильным или неясным в характере торговца; таким образом, ничего не остаётся, кроме как вернуться к нашей комедии или, скорее, перейти от комедии мысли к действию.

Глава XV
Старый скупец при должном подходе пускается в рискованные инвестиции

Торговец ушёл, а его собеседник некоторое время сидел в одиночестве с видом человека, который при разговоре с некоторым превосходством тщательно обдумывал все исходящие слова, отчего тот, кто интеллектуально был более низок, полагал, что ничего при этом не теряет, и чувствовал себя счастливым, будто из некоего услышанного разумного слова он смог извлечь нечто полезное, основанное на его теории добродетели, что могло бы, по аналогии, служить указателем к добрым делам.

Со временем его взгляд прояснился, как будто бы только что он уловил некий намёк. Он встал и, оставив каюту, с книгой в руке пошёл по корабельному коридору, узкому, тускло освещённому и тихому проходу, менее декорированному и менее яркому, чем прежний; короче говоря, по эмигрантской части корабля, которая, вследствие существующего маршрута, идущего

вниз по реке, оказалась, несомненно, сравнительно свободной. Вследствие наличия ставней на окнах всё это место было тусклым и тёмным, причём по большей своей части, и всё же ближе к потолку еле-еле освещалось тут и там узким, капризным верхним светом с карнизов. Но тут, как оказалось, не было никакой особой потребности в свете, место было предназначено скорее для того, чтобы провести там ночь, нежели день; короче говоря, это была спальня из сосновых нар, грубых сосновых коек без постельных принадлежностей. Подобно гнёздам в геометрических поселениях колоний пингвинов и пеликанов, эти койки были расположены в филадельфийском порядке, но, подобно колыбели иволги, они были подвесными и, кроме того, были, если можно так выразиться, трёхэтажными; полное описание одной из них будет представлено далее.

Четыре верёвки, ведущие к потолку, проходили вниз через высверленные отверстия в углах трёх грубых досок, которые на равных расстояниях связывались узлами с упомянутыми вертикально висящими верёвками, где нижняя доска отходила от пола всего лишь на дюйм или два, в целом имея сходство со сделанными в большом масштабе верёвочными книжными полками;

только вместо того, чтобы висеть неподвижно напротив стены, они раскачивались из стороны в сторону с небольшой амплитудой; но особенно активно они провоцировали свежего эмигранта растянуться в одиночестве и попытаться улечься на них в тот момент, когда качка колыбели оказывалась вдруг такой сильной, что оказывалась почти способной отбросить его назад, туда, откуда он и приехал, вследствие чего, когда кто-то более опытный отдыхал на верхней полке, неопытный, серьёзно волнуясь, должен был выбирать полку пониже. Иногда толпа бедных эмигрантов, прибегавшая ночью в час внезапного дождя, чтобы занять эти иволгины гнёзда, из-за незнания их особенностей поднимала столь сильную борьбу за качающиеся плотницкие произведения, соединённую с таким же шумом восклицаний, что казалось, будто некое судно со всей его командой разбивалось на части среди скал. Это были кровати, созданные неким сардоническим врагом бедных путешественников, лишившим их покоя, который должен был их встречать и сопровождать во время дрёмы. Прокрустово ложе, на тверди которого униженные достоинство и честь корчились, всё ещё призывало к отдыху, в то время как на деле дарило мучения. Ах,

если бы такую койку сделал кто-нибудь для себя самого, вместо того чтобы делать её для другого, тогда это было бы справедливо, но как жестоко было предлагать вам лечь на неё!

Но чистилище как географическое место могло и посылать призывы со странными обещаниями из своих глубин, и потому Орфей во время своего сиятельного спуска в Тартар сам для себя с лёгкостью напевал фрагменты из опер.

Внезапно раздался шорох, затем скрип, и из тёмного укромного уголка одной из качающихся колыбелей показалось некое подобие умоляющего истощённого пингвиньего плавника, и одновременно как будто из глубины раздался вопль:

— Воды, воды!

Это был скупец, о котором говорил торговец.

Быстро, словно сестра милосердия, незнакомец навис над ним:

— Мой бедный, бедный сэр, что я могу сделать для вас?

— Ух, ух! Воды!

Тот отбежал, разыскал стакан, вернулся и, поднеся его к губам страдальца, поддержал его голову, пока бедняга пил.

— И они позволяют вам лежать здесь, мой бед-

ный сэр, мучаясь от этой иссушающей жажды?

Скупец был худым стариком, плоть которого казалась солёной треской, сухой, как хворост; с головой, похожей на обструганную безумцем шишку; твёрдым, костлявым ртом, зажатым между орлиным носом и подбородком; с выражением лица то ли скряги, то ли сумасшедшего, — то ли одного, то ли другого, — он не откликался. Его глаза были закрыты, его щека лежала на старом белом пальто из молескина, свёрнутом под его головой, как высохшее яблоко на грязном сугробе.

Восстановив наконец силы, он почувствовал симпатию к своему министранту и голосом, перемежающимся с кашлем, сказал:

— Я стар и несчастен, я бедняк, не стоящий шнурка, — но как я могу отблагодарить вас?

— Вселите в меня вашу веру.

— Вера! — пропищал старик уже с иной интонацией, в то время как поддон закачался. — Это немногое из того, что осталось мне в моём возрасте, но берите несвежее, то, что осталось, милости прошу.

— Такую, какова она есть, и, тем не менее, вы даёте её.

— Очень хорошо. Теперь дайте мне сто долларов.

От этих слов скупец запаниковал. Руками он ощупал свою талию, затем руки внезапно оказались под его подушкой из молескина, куда он с глаз долой положил нечто сжатое в кулаке. Тем временем про себя он бессвязно забормотал:

— Вера? Лицемерие, болтовня! Вера? Гул, пузырь! Вера? Пожертвование, давление! Сотня долларов? Сотня дьяволов!

Наполовину истощённый, он оставался немым некоторое время; затем, слабо приподнявшись, голосом, в момент приобрётшим сильный сарказм, сказал:

— Сто долларов? Довольно высокая цена, чтобы обмануть веру. Но разве вы не видите, что я здесь — бедная, старая крыса, умирающая в панельной обшивке? Вы послужили мне, но плохо то, что я не могу прокашлять вам свою благодарность. Ух, ух, ух!

На сей раз кашель был так силён, что его конвульсии передались доске, которая раскачала старика подобно камню в праще перед тем, как его собирались швырнуть.

— Ух, ух, ух!

— Какой отвратительный кашель! Я пожелал бы, мой друг, чтобы здесь сейчас оказался травяной доктор; его коробка с Омнибальзами-

ческим Силовосстановителем принесла бы вам пользу.

— Ух, ух, ух!

— Думаю, стоит пойти, найти его. Он где-то на борту. Я видел его длинный сюртук табачного цвета. Поверьте мне, его лекарства являются лучшими в мире.

— Ух, ух, ух!

— О, как мне жаль!

— Не сомневаюсь в этом, — пропищал другой снова, — но идите, получите на палубе пожертвования для себя. Выставьте там напоказ тучных павлинов; они не кашляют здесь в одиночестве и темноте, как я, бедный старик. Я выгляжу как чешуйчатый нищий, раскалываемый этим кладбищенским кашлем. Ух, ух, ух!

— Мне снова горько не только слышать ваш кашель, но и лицезреть вашу бедность. Такой редкий шанс становится недоступным. Имей вы всего лишь названную сумму, я бы мог её для вас инвестировать. Тройная прибыль. Но поверьте — я боюсь того, что, даже если вы оставите у себя свои драгоценные наличные деньги, у вас не будет более ценного предложения, о котором я говорю.

— Ух, ух, ух! — неритмично дёргаясь. — Что

это? Как, как?

— Значит, вы не хотите денег для себя?

— Мой дорогой, дорогой сэр, как можете вы приписывать мне такое нелепое своекорыстие? Выпрашивать из рук прекрасного незнакомца сто долларов ради моей частной выгоды? Я не безумен, мой уважаемый господин.

— Как так? — ещё более изумлённо. — Тогда вы обходите людей, стремясь бесплатно инвестировать взятые деньги ради самих кредиторов?

— Это моя скромная профессия, сэр. Я живу не для себя; но если мир будет верить в меня, то эта вера принесёт мне большую выгоду.

— Но, но, — с неким головокружением, — что делаете, вы делаете, делаете со взятыми у людей деньгами? Ух, ух! Из чего получается прибыль?

— Сказать об этом — это всё равно что погубить самого себя. Понятно, что тогда бы все пошли в этот бизнес, и это не было бы преувеличением. Всё — тайна, секрет, а всё, что я должен, — так это заполучить ваш кредит; а всё, что вы должны, — так это в назначенное время получить его назад, трижды возросший из-за прибыли.

— Что, что? — глупо повторяя ещё раз. — Но гарантия, гарантия, — снова внезапно напрягаясь.

— Лучшая гарантия честности — честное лицо.

— Тем не менее, я не вижу вашего, — вглядываясь во мрак. Скупец погасил последнюю вспышку рассудка, бормоча свою предыдущую тарабарщину, но теперь она приняла арифметическое направление. Глаза закрылись, он принялся бормотать про себя:

— Сто, сто — двести, двести — триста, триста.

Он открыл глаза, вяло поглядел и ещё более вяло произнёс:

— Немного темновато здесь, не так ли? Ух, ух! Но если верить моим старым бедным глазам, вы выглядите честным.

— Я рад услышать это.

— Если… если сейчас я бы вложил, — пытаясь приподняться, но безуспешно: волнение почти истощило его. — Если, если сейчас я бы вложил, вложил…

— Никаких «если». Полное доверие или ничего. Поэтому, да помогут мне небеса, мне не нужно никакой половинчатой веры.

Он сказал это спокойно и уверенно и, казалось, собирался уйти.

— Не делайте этого, не оставляйте меня, дружище; потерпите меня; возраст не в состоянии преодолеть некоторое недоверие; он не может, дружище, он не может. Ух, ух, ух! О, я так стар

и несчастен! У меня должен быть опекун. Скажите мне, если…

— Если? Ничего больше!

— Останьтесь! Как скоро — ух, ух! — мои деньги будут утроены? Как скоро, друг?

— Вы мне не верите. До свидания!

— Останьтесь, останьтесь, — отступая теперь, как младенец, — я верю, я верю; помогите, дружище, одолеть моё недоверие!

Из старого мешочка из оленьей кожи он с дрожью вытащил наружу десять накопленных «орлов», запятнанных до облика десяти старых роговых пуговиц, и протянул их наполовину с нетерпением, наполовину с неохотой.

— Я не знаю, должен ли я принять этот скромный символ веры, — холодно сказал другой, получая золото, — но верю в то, что сейчас одиннадцать часов, верю в постель больного, в болезнь, верю в смертное ложе, в конце концов. Вселите в меня здоровую веру здоровых людей с их здоровым духом. Но позвольте на этом закончить. Хорошо. До свидания!

— Нет, назад, назад! Расписка, где ваша расписка? Ух, ух, ух! Кто вы? Что я наделал? Куда же вы? Моё золото, моё золото! Ух, ух, ух!

Но, к несчастью для этой заключительной

вспышки рассудка, незнакомец оказался уже вне предела слышимости. Но, впрочем, и любой другой человек не расслышал бы столь слабого голоса.

Глава XVI
Нетерпеливый больной вынужден стать пациентом

Мимо проплывает небо своей синевой, растворяясь в цветах; стремительная Миссисипи раздаётся вширь; бегут булькающие и сверкающие водовороты по всему течению, увеличиваясь до размеров следа семидесятичетырёхпушечного корабля. Солнце выходит золотым хазаром из своей палатки, сверкая, как всемирное рулевое колесо. Всё подпрыгивает в горячем пейзаже. Удивительный корабль ускоряет ход, подобно мечте.

Но, забившись в углу и завернувшись в платок, сидит безучастный человек, которого осеняет, но не согревает поднявшееся солнце и который уже целый час, как всем кажется, всё ещё продолжает сморкаться, встав с постели. На табурете слева от него сидит незнакомец в сюртуке табачного цвета, воротник его отвёрнут назад; он убеждающе жестикулирует, его глаза светятся надеждой. Но не так легко пробудить находящегося в долгом трансе и в безнадёжной хронической

жалобе.

На какое-то замечание больной словом или взглядом, казалось, только что дал нетерпеливый ворчливый ответ, но примирительным тоном другой продолжал:

— Нет, вы не подумайте, что я стремлюсь прокричать своё обращение, принижая все остальные. И всё же когда каждый уверен, что правда на его стороне и её нет на другой, то становится очень нелегко творить добро; здесь препятствие — не характер, а сознание; поскольку милосердие порождает терпимость, то вы знаете, что тут решение в своём роде уже предопределено, и даётся своего рода одобрение; и тому, что одобрено, до сих пор оказывается содействие. Но разве неправде стоит содействовать? Однако поскольку ради доброго мира я отказываюсь содействовать этим минеральным докторам, то не считаю их невольными правонарушителями, а считаю допускающими ошибки добрыми самаритянами. И тут я предлагаю вам решить, сэр: является такое мнение высокомерным по отношению к конкурентам и претендентам?

Из-за истощения и ухода своих физических сил больной не отвечал ни голосом, ни жестом, но слабой мимикой своего лица, казалось, про-

изнёс:

— Умоляю, оставьте меня: кто-нибудь и когда-нибудь вылечивался от разговора?

Но другой, как будто не чувствуя потребности сделать скидку на такое отчаяние, любезно и всё так же настойчиво продолжал:

— Вы сказали мне, что по совету выдающегося физиолога в Луисвилле вы принимали настойку из железа. Для чего? Восстановить вашу потерянную силу. И как? Да ведь у здоровых людей железо по самой их природе находится в крови, и его вполне достаточно; следовательно, железо — источник животной живучести. Но, судя по вашей энергии, следует вывод, что причина — дефицит железа. Железо тогда должно быть внутри вас, и поэтому нужна ваша настойка. Поэтому, учитывая эту теорию, я — нем. Но, скромно принимая эту правду, а также как простой человек, рассматривающий эту теорию на практике, я с уважением спросил бы вашего выдающегося физиолога: «Сэр, — сказал бы я, — разве при естественных процессах неживая природа, используемая как пища, не становится живой, в то время как неживая природа при любых обстоятельствах, допускающих живое движение, со всеми её качествами так и остаётся

неживой природой? Если, сэр, ничего не может быть включено живым организмом, кроме как ассимиляцией, и если это подразумевает преобразование одной вещи в различные иные (как в лампе масло преобразуется в пламя), тогда, согласно этому представлению, вероятно, что, принимая участие в обильном пире, человек будет полнеть, как Кэлвин Эдсон? Каким образом тогда жир на столе оказывается жиром на костях? Если это так, сэр, тогда то, что является железом в пузырьке, доказывает присутствие железа в вене». Не кажется ли это заключение тоже весьма верным?

Но больной снова бросил свой выразительный взгляд, словно говоря своей мимикой: «Умоляю, оставьте меня. Зачем язвительными словами вы намекаете на известные мучения в этом теле, которые и так доказаны»

Но другой, как будто не обращая внимания на этот ворчливый взгляд, продолжал:

— Но такое понятие, что наука может играть роль фермера по отношению к почве, делая там то, что нравится живой плоти, кажется не столь странным, как ещё одно тщеславие — что наука в наше время настолько опытна, что в случае туберкулёза, как у вас, может через предпи-

санные ингаляции определёнными парами достичь возвышенного могущества во всех живых существах, кроме безжизненной пыли, ими вдыхаемой. Не вы ли говорили мне, мой бедный сэр, что по приказу великого химика в Балтиморе в течение трёх недель вы никогда не ходили без респиратора и в течение данного времени каждый день сидели, опираясь на валик, в своего рода газометре, насыщенном парами, произведёнными горением наркотиков? Как будто эта выдуманная атмосфера для человека была противоядием для яда естественного божественного воздуха. О, кого может удивить тот старый упрёк против науки в том, что она атеистична? И в этом состоит главная причина моего выступления против этих химических практиков и тех, кто создал столько изобретений. Для того чтобы их изобретения стали значительными, они должны иметь облик и славу человеческого умения, которое оказывается недостаточно совместимым с почтительной зависимостью от высшей власти? Попытайтесь избавить мой ум от этого, если только сможете, и все их химические практики с их тенями и парами, и жаровнями, и оккультными заклинаниями покажутся мне тщетами волшебников фараона, пытающихся добиться

благоволения небес. День и ночь со всем милосердием я прошу за них, ведь небеса не смогут, по их собственным словам, прийти в движение от их изобретений; и невозможно получить эффект от их изобретений. А тысячи людей жалеют, что они не смогут когда-нибудь побывать в руках этих египтян.

Но ему снова ответил лишь выразительный взгляд, словно говорящий: «Умоляю, оставьте меня; шарлатаны и негодование против шарлатанов одинаково тщетны».

Но другой снова продолжал:

Зато как отличаемся мы, травяные доктора! Кто ничего не требует, тот ничего и не изобретает; но с посохом в руке на поляны и на склоны идём мы к природе, кротко ища у неё исцеления. Как истинные индийские доктора, хоть и с научными званиями, мы весьма знакомы с сутью, мы — преемники мудрого Соломона, кто познал всю флору от ливанского кедра до иссопа на стене. Да, Соломон был первым травяным доктором. И при этом достоинствами трав не пренебрегали и в более древние века. Не тогда ли было написано, что ночью при луне

Медея собрала магические травы,

Что древнего Ясона оживили?

Ах, вы не верите, но я уверен, что вы должны быть новым Ясоном, а я — вашей Медеей. Несколько пузырьков моего Омнибальзамического Силовосстановителя, бесспорно, придадут вам некую силу.

Но обещание бальзама, как оказалось, произвело избыточный эффект в виде негодования и отвращения. Пробудившись от долгой бессильной апатии, умирающий встал и голосом, подобным тяжёлому гулу, с бульканьем проходящему по лабиринту сломанных сот, прокричал:

— Прочь! Все вы одинаковы. Именем доктора, с мечтой о помощи я осуждаю вас. В течение многих лет я был для вас всего лишь лабораторной аптечной банкой для проведения ваших экспериментов, и теперь в этой мертвенно бледной коже вы вкушаете содержание моей природы. Прочь! Я ненавижу вас.

— Я был бы бесчеловечен, если бы встал в оппозицию к убеждённости, порождённой слишком горькими опытами предателей. Всё же разрешите тому, кто, не чувствуя…

— Прочь! Точно таким же голосом говорил со мной не далее как шесть месяцев назад немецкий доктор в водолечебнице, из которой я теперь

возвращаюсь; шесть месяцев и шестьдесят мук, воздвигнутых над моей могилой.

— Водолечение? О, фатальное заблуждение действующего из лучших побуждений Прейсница! Сэр, поверьте мне…

— Прочь!

— Нет, у инвалида никогда не должно быть своего собственного пути. Ах, сэр, подумайте, как несвоевременно это неверие в таком, как вы. Ведь вы слабы; и разве слабость не время для веры? Да, когда из-за слабости наступает отчаяние, тогда нужно время, чтобы получить силу веры.

Смягчившись в душе, больной бросил на него долгий умоляющий взгляд, как бы говоря: «С верой должна прийти надежда, и в чём она будет состоять?»

Травяной доктор достал запечатанную бумажную коробку из кармана своего сюртука и, обратив её к больному, торжественно сказал:

— Не отворачивайтесь. Вопросы о здоровье остались в прошлом. Поработайте над собой; призовите веру, хотя бы из пепла; пробудите её; ради вашей жизни пробудите её и призовите её, говорю я.

Другой дрожал в наступившей тишине и затем, немного овладев собой, спросил о компонентах

медикамента.

— Травы.

— Какие травы? И какова их природа? И зачем их давать?

— Этого нельзя сообщать.

— Тогда мне от вас ничего не надо.

Спокойно наблюдая за иссушенным, печальным телом перед собой, травяной доктор на мгновенье умолк, затем сказал:

— Я сдаюсь.

— Как так?

— Вы больны, и вы — философ.

— Нет, нет… не до конца.

— Но требовать компонент при получении — черта философа, как и последствие — расплата для дурака. А больной философ неизлечим.

— Почему?

— Потому что у него нет веры.

— Как это делает его неизлечимым?

— Потому что он или отвергает свой порошок, или если он берёт его, то доказывает его никчёмность, хотя то же самое средство, данное простаку в подобной ситуации, его очаровало бы. Я не материалист, но ум так воздействует на тело, что если у человека нет веры, то у него нет и ничего другого.

Снова больной выглядел неподвижным. Он, казалось, размышлял, как искренне можно ответить на всё это. Медленно:

— Вы говорите о вере. Как получается, что, когда она тихо приходит сама собой, травяной доктор, тот, которому самому предписано верить в разных обстоятельствах, менее всего обнаруживает предписанную ему самому веру? Не мало ли веры в самого себя у него самого?

— Но он уверен в собрате, которого он призывает. И то, что он поступает так, это не упрёк ему, так как он знает, что, когда тело подавлено, разум неустойчив. Да, в этот час травяной доктор действительно не верит самому себе, но не своему искусству.

Знание больного не гарантировало его от того, чтобы не услышать противоречащие слова. Но тот, казалось, не огорчился от этих слов, будучи счастлив при помощи опровержения склониться к появившемуся предложению.

— Тогда вы даёте мне надежду? — Его запавший глаз поднялся.

— Надежда приводит к вере. Сколько веры вы вселяете в меня, столько же надежды я отдаю вам. Поэтому, — снимая коробку, — если всё зависит от этого, то я должен отдыхать. Это — сама

природа.

— Природа!

— Почему вы повторяете?

— Я не знаю, — с некоторой дрожью, — но я слышал о книге под названием «Природа при болезни».

— Название я не могу одобрить, оно подозрительно научное. «Природа в болезни»? Как будто природа, божественная природа была чем-то иным, а не здоровьем; как будто через природу болезнь устанавливается декретом! Но разве я как-то намекал о тенденции в науке, которая загнала вас в безвыходное положение? Сэр, если вы находитесь в отчаянии от вашего вспоминания, которое несёт это название, то освободитесь от него. Поверьте мне, природа — здоровье; для здоровья она хороша, и природа не может сделать плохого. Также маловероятно, что она может допустить ошибку. Примите природу, и вы выздоровеете. Сейчас я повторяю, что медицина и есть природа.

Больной снова не смог, согласно своему мышлению, добросовестно опровергнуть то, что было сказано. Никогда прежде не казался он таким встревоженным; при его чувствительности ему по меньшей мере казалось, что едва ли можно

поверить в возможность обойтись без заведомого недоверия, но в своём сердце он был недоволен тем, что дух противоречия уже давно проник во все обнадёживающие слова травяного доктора, а поэтому для оптимизма у него, больного, не имелось никакой медицинской гарантии, за исключением доктрины.

— Тогда вы действительно полагаете, — с беспокойством, — что если я приму это лекарство, — механически приближаясь к нему, — то верну своё здоровье?

— Я не буду поощрять ложные надежды, — оставляя ему коробку, — я буду откровенен с вами. Хотя откровенность — это не всегда свойство минеральных практиков, всё же травяной доктор должен быть откровенным, и никак иначе. Поэтому, сэр, в вашем случае радикальное лечение — это та кое лечение, которое, как вы понимаете, должно сделать вас здоровым, — таким лечением, сэр, я не занимаюсь и не могу его обещать.

— О, вам этого не нужно! Только восстановите мои силы так, чтобы не обременять других людей и самому себе не быть гудящим горем. Только излечите меня от страданий и слабости; только сделайте так, чтобы я мог выйти на солнце

и не привлекать к себе мух, как соблазнительная пища из-за разложения. Сделайте только это — но сделайте.

— Вы просите немного. Вы мудры, ваши страдания не напрасны. То малое, что вы испрашиваете, я полагаю, будет вам предоставлено. Но помните, что не через день, не через неделю, не, возможно, через месяц, но рано или поздно; я не говорю точно когда, поскольку я не пророк, не шарлатан. Однако, если согласно предписанию, находящемуся в вашей коробке, вы будете принимать моё лекарство постоянно, без заведомой установки определённого дня, близкого или далёкого, чтобы прекратить приём, тогда вы, возможно, сможете спокойно обнаружить некий положительный результат. Но я снова повторю, что вы должны верить.

Он лихорадочно ответил, что теперь верит в то, что у него есть, и ежечасно должен будет молиться за его увеличение. Внезапно впав вновь в один из странных капризов, свойственных некоторым инвалидам, он добавил:

— Но такому, как я, это так трудно, так трудно. Самые многообещающие надежды часто подводили меня, и потому я часто клялся самому себе никогда, нет, никогда не доверять им снова.

О, — слабо воздевая свои руки, — вы не знаете, вы не знаете.

— Я знаю, что никогда истинная вера не ведёт к нулю. Но время коротко; вы держите своё лекарство для того, чтобы оставить его или отказаться?

— Я оставляю, — сжимая, — и сколько платить?

— Столько, сколько вы можете оторвать от сердца и небес.

— Сколько? Какова цена этого лекарства?

— Я думал, что она равна вере, которую вы имели в виду; столько, сколько веры у вас есть. Цена медикамента — пол-доллара за пузырёк. В вашей коробке их шесть.

Деньги были уплачены.

— Теперь, сэр, — сказал травяной доктор, — мои деловые встречи зовут меня идти дальше, и может случиться так, что я никогда не увижу вас снова; если только…

Он сделал паузу, поскольку самообладание больного исчезло.

— Простите меня, — закричал он, — простите за неразумную фразу «никогда не увидите снова». Хоть я и адресовал её исключительно себе, но забыл, насколько вы чувствительны. Я повто-

ряю теперь, что может случиться так, что у нас не скоро будет повторная беседа, поэтому если после всего курса ещё одна моя коробка будет необходима, то вы не будете в состоянии заменить её, кроме как купить в магазине; и, таким образом, вы можете управлять большим или меньшим риском принятия некоторых негодных смесей. Из-за такой популярности Омнибальзамического Силовосстановителя — развившейся не из-за доверчивости простодушных, но из-за веры мудрых — не будет, бесспорно, праздным торопливо подтвердить многое из того, что известно о печальных последствиях для общества. Убийцы и бандиты, часть которых называет себя изобретателями; но я не об этом; убийства (если такое преступление будет возможно) идут от сердца, а эти людские побуждения исходят от кошелька. Не были бы они в бедности, мне думается, они едва ли поступили бы так, как они поступают. Однако, хотя общественные интересы и запрещают это, я вынужден позволить их злому умыслу преуспевать ради выживания. Короче говоря, я принял меры предосторожности. Возьмите обёртку от любого из моих пузырьков и поднесите её к свету, и вы увидите водяные знаки в заглавных буквах на слове «…вера…»,

которая является скрепой медицины, поскольку я желаю, чтобы её обрёл весь мир. Обёртки, на которых нарисованы медведи или иные медикаменты, — подделка. Но если всё же тайное сомнение остаётся, умоляю, приложите к этому адресу обёртку, — вручая карточку, — и обратной почтой я отвечу.

Сначала больной слушал с видимым интересом, но постепенно, в то время как другой продолжал говорить, новый странный каприз овладел им, и он предстал в самом пагубном унынии.

— Что теперь? — сказал травяной доктор.

— Вы призвали меня верить, сказали, что вера здесь обязательна, а здесь вы проповедуете неверие. Ах, тайное становится явным!

— Я сказал вам, что вы должны верить, верить, не сомневаясь; я имел в виду веру в истинную медицину и в мою истинность.

— Но в ваше отсутствие покупать пузырьки, якобы ваши, — это, как кажется, не задаваться вопросами…

— Проверяйте все пузырьки; доверяйте тем, которые подлинны.

— Но сомневаться, подозревать, доказывать — продолжать всё это утомительно — это как

настрой против веры. Это зло!

— Из-за зла появляется добро. Неверие — шаг к вере. Разве это не доказано в нашей беседе? Но ваш голос охрип: я позволил вам говорить слишком много. Вы держите своё лекарство, я оставлю вас. Но — внимание! — когда я услышу, каково ваше здоровье, я не буду, как некоторые из тех, кого я знаю, тщеславно похваляться, но воздам славу, которая целиком должна принадлежать набожному травяному доктору Жапю из Верджила, когда при невидимом, но эффективном присутствии Венеры он запросто излечил рану Энея:

Тут нет труда врачей, тут нет леченья, —

Лишь результат искусства, созданный богами.

Глава XVII,
к концу которой травяной доктор прощает нанесённую ему обиду

В одной из кают корабля находится множество почтенных людей, мужчин и женщин, пассажиров, недавно попавших на борт, вяло сидящих в тишине, вызванной взаимной застенчивостью.

Держа маленькую квадратную бутылку, маркированную овальной гравюрой, с самообладанием, исполненным мягкой жалости, как на картине с католической Мадонной, травяной доктор медленно проходит среди них, с мягкой учтивостью поворачиваясь на своём пути, и говорит следующее:

— Дамы и господа, я держу здесь в своей руке Самаритянский Болеутолитель — трижды благословенное открытие бескорыстного друга человечества, портрет которого вы видите. Чистый овощной экстракт. Гарантированно снимает острую боль менее чем за десять минут. Пятьсот долларов будут возвращены в случае неудачного применения. Особенно эффективен при сердечной болезни и невралгии тройничного

нерва. Оцените появление дара друга человечества. Цена — всего лишь пятьдесят центов.

Но напрасно. После первого пристального взгляда его аудитория — пребывавшая в весьма добром здравии, как оказалось, — вместо того чтобы поощрить его вежливость, проявила если не что-то иное, но раздражение; и, возможно, только застенчивость или некоторое снисхождение к его чувствам препятствовали тому, чтобы они сказали ему об этом. Но, будучи нечувствительным к их неприятию или милосердно пропуская его, он с большей любезностью, чем ранее, продолжал:

— Я могу решиться на небольшую гипотезу? У меня есть ваше любезное разрешение, дамы и господа?

Ни у кого не нашлось добрых слов в ответ на это скромное обращение.

— Хорошо, — сказал он покорно, — тишина, по крайней мере, не опровержение и может являться согласием. Вот моё предположение: возможно, у некой леди, здесь присутствующей, есть дома дорогой друг, страдалец, из-за болезни спины прикованный к постели. Если так, то найдётся ли более подходящий этому страдальцу подарок, чем эта со вкусом сделанная маленькая

бутылочка Болеутолителя?

Он снова поглядел вокруг, но встретил почти такой же приём, как и прежде. Эти лица, чуждые даже подобию сочувствия или удивления, казалось, терпеливо говорили: «Мы путешественники и потому должны быть готовы к встречам и спокойно примем множество старых дураков и ещё более старых шарлатанов.

— Дамы и господа, — почтительно уставившись глазами на их самодовольные лица, — дамы и господа, могу ли я с вашего разрешения решиться на другое небольшое предположение? Вот оно: то, что есть некий страдалец, в этот полдень корчащийся на своей кровати, но в свой час он сидел весьма здоровый и счастливый; то, что Самаритянский Болеутолитель — единственный бальзам для этого продолжающего жить существа — кто знает? — может быть, спасение жертвы, реально существующей или возможной. Короче: о счастливцы справа от меня и спасённые слева от меня, можете ли вы разумом преклониться перед провидением и не думать о том, что оно мудро предусмотрело? Предусмотрело! — приподнимая бутылку.

Непосредственный эффект от этого обращения если и был, то оказался сомнителен, поскольку

именно в этот момент корабль зашёл в безлюдное место, словно оползнем пробитое во мрачном лесу; единственным выходом из него была дорога, которая из-за её узости и оттого, что она была окружена смесью из сумрака и спутанной листвы, казалась просекой среди неких пещероподобных старых нагромождений в городе, как часто посещаемый Кок-Лейн со своими привидениями в Лондоне. Вошедший с пристани у этой дороги человек склонил свою косматую фигуру перед дверным проёмом и вошёл в каюту шагом настолько тяжёлым, что, казалось, в его карманах лежала дробь; своего рода сломленный Титан в домотканом одеянии; его борода выделялась чернотой, как мох Каролины, и была сырой, как росистый кипарис; цвет его лица был желтовато-коричневым и тёмным, как страна железной руды в пасмурный день. Одной рукой он нёс тяжёлую трость из морёного дуба, а другой вёл маленькую девочку, шедшую в мокасинах, весьма вероятно, что своего ребёнка, но очевидно, что от иноплеменной матери, возможно креолки или даже команчи. Её глаза были больше женских и были черны, как впадины среди горных сосен. Индейское одеяло оранжевого цвета, окаймлённое висящими кисточками, тем

утром, казалось, ограждало ребёнка от тяжких зрелищ. Её конечности дрожали, она выглядела как нервная маленькая Кассандра.

Едва эту пару заметил травяной доктор, как он с радостью, как хозяин, простёр обе руки и, взяв неохотно поданную руку ребёнка, довольно развязно сказал:

— Я ведь на вашем пути, ах, моя маленькая майская королева! Рад видеть вас. Какие красивые мокасины! Как раз для танца.

Затем с середины куплета запел:

Эй, дурачьтесь, дурачьтесь, скрипка и кошка;

Корова перепрыгнула луну.

Продолжай щебетать, моя малиновка-крошка!

Это игривое приветствие не вызвало отзывчивой игривости у ребёнка, не порадовало и не смирило отца, а, скорее всего, разбавило тяжесть печали на его лице улыбкой ипохондрического презрения.

Уже отрезвлённый, травяной доктор обратился к незнакомцу со смелым, деловым видом — переход, который хоть и казался немногим резким, но не вынужденным, и, действительно, показал,

что его недавняя лёгкость была менее свойственна фривольной натуре, нежели шаловливая снисходительность для доброго сердца.

— Извините меня, — сказал он, — но если я не ошибаюсь, то разговаривал с вами в другие дни — на корабле в Кентукки, не так ли?

— Никогда со мной такого не было, — прозвучал ответ; голос был глубокий и вызывающий тоску, словно вышедший со дна заброшенной угольной шахты.

— Ах! Но или я снова ошибся, — его взгляд упал на палку из болотного дуба, — или разве вы не были немного хромым, сэр?

— Никогда не хромал в своей жизни.

— Действительно? Мне казалось, что я чувствовал не хромоту, а помеху, небольшую помеху; при небольшом опыте в этих вещах я отгадал некую скрытую причину помехи: засевшая пуля, может быть, — от неких драгун во время Мексиканской войны, разрядивших заряд, знаете ли. Тяжёлая судьба! — Он вздохнул. — Мало сочувствующих этому, разве это кто-то видит? Вы уронили что-нибудь?

Почему-то, ничего не сказав, незнакомец склонился, казалось, с целью подобрать что-то, как в тот же момент, застыв в неудобном положении,

он так и остался, отклонившись от вертикали, как грот-мачта, уступающая буре, или как Адам — грому.

Маленький ребёнок потянул его. Почти рывком тот выпрямился, на мгновение глянул на травяного доктора, но, либо от эмоции или отвращения, либо от того и другого вместе, спрятал взгляд, ничего не сказав. Затем, всё ещё наклоняясь, он сел, прижав ребёнка между своих колен массивными дрожащими руками и всё ещё пряча своё лицо, в то время как ребёнок, повернувшись, посмотрел на сострадательного травяного доктора неподвижным, печальным взглядом.

Травяной доктор стоял, выбирая момент, затем сказал:

— Конечно, вы страдаете от боли, сильной боли где-то внутри себя; у сильных созданий боль самая сильная. Попробуйте теперь моё специальное средство, — удерживая его. — Но посмотрите на выражение лица этого друга человечества. Доверьтесь мне, нашедшему лечение любой боли в мире. Разве вы не будете смотреть?

— Нет, — выдохнул тот.

— Очень хорошо. Весёлого вам времяпрепровождения, маленькая майская королева.

И так, как будто бы он опробовал своё лечение

на ком-то, любезно ушедшем прочь, снова прокричал о своём средстве, но теперь уже совсем без результата. А вновь прибывший — но не с берега, а с другой части корабля — болезненный молодой человек после некоторых вопросов купил бутылку. От этого другие из компании начали понемногу просыпаться; оковы безразличия или предубеждения спадали с их глаз; теперь, наконец, у них, казалось, появилось подозрение, что здесь было что-то желательное в качестве приобретения.

Но в то время, пока с более чем десятикратно ожившей вежливостью травяной доктор вёл свою благожелательную торговлю, сопровождая каждую продажу дополнительными похвалами, сумрачный гигант, усевшийся на некотором расстоянии от доктора, внезапно возвысил свой голос:

— Чем было то, о чём вы в последний раз говорили? Вопрос был задан отчётливо, даже с неким эхом, как будто громкий звон часов ошеломляюще тревожно ударил в тишине; и удар, хоть и единственный, стал прологом для боя с колокольни.

Весь процесс замер. Руки, протянутые к препарату, были убраны, в то время как глаза

каждого присутствующего повернулись в том направлении, откуда раздался вопрос. Но, совсем не смутившись, травяной доктор, возвысив свой голос ещё громче, чем в момент обычного самообладания, ответил:

— Я говорил об этом, но если вы желаете, то смело повторю, что Самаритянский Болеутолитель, который я держу здесь в руке, или вылечит, или ослабит любую боль, какую хотите, в течение десяти минут после его применения.

— Благодаря созданию нечувствительности?

— Ни в коем случае. Но наименьшее из его достоинств состоит в том, что это не опиат. Он облегчает боль, не устраняя чувствительности.

— Вы лжёте! Некоторые боли нельзя ослабить, не создав нечувствительность, и они могут быть излечены не иначе как смертью.

После этого сумрачный гигант ничего не сказал; для того чтобы подорвать рынок другого, воистину, большего нельзя было сделать. После грубой оценки говорящего с выражением смеси восхищения и испуга, компания тихо обменялась взглядами взаимного сочувствия под воздействием отвращающих слов. Те, кто успел купить препарат, выглядели робкими или стыдящимися; и цинично выглядывал маленький человек

с тонкой, похожей на тростник бородкой, с выражением лица, носящим остатки усмешки, одиноко сидя в углу с хорошим видом на сцену, закрывая рыжей шляпой своё лицо.

Но снова травяной доктор, не замечая возражения, изо всех сил возобновил свои панегирики и более уверенным, чем прежде, тоном пошёл ещё дальше, сказав, что его средство иногда бывало почти столь же эффективно при случаях умственного страдания, как и в случаях физического; или, скорее, чтобы быть более точным, в случаях, когда при страдании два вида боли объединялись в кульминационный момент воедино, — в таких случаях, он сказал, средство давало очень хороший результат. Он привёл пример: только три бутылки, применённые с верой, вылечили вдову из Луизианы (в течение трёх недель, бессонных и проведённых в тёмной палате) от невралгического горя из-за утраты мужа и ребёнка, жизни которых были сметены в одну ночь во время последней эпидемии, для подтверждения чего был произведён этот печатный ваучер, должным образом подписанный.

В то время пока он громко всё это произносил, внезапный удар сбоку почти свалил его.

Это был гигант, который с мертвенно-бледным

лицом эпилептика, страдающего ипохондрией, воскликнул:

— Нечестивый осквернитель глубочайших чувств! Змея!

Он бы добавил ещё кое-что, но, забившись в конвульсиях, не смог этого сделать; поэтому, ничего не сказав, приподнял ребёнка, который последовал за ним, и враскачку пошёл прочь из каюты.

— Свободный от приличий и потеря для человечества! — воскликнул травяной доктор, опомнившись от большой суматохи.

Затем после паузы он исследовал свой ушиб, не упуская возможности воззвать немного к своему средству, и с некоторым успехом, поскольку ему самому это показалось красивым:

— Нет, нет, я не буду требовать сатисфакции; моя невиновность — моё удовлетворение. Но, — оборачиваясь ко всем, — если гневный удар этого человека не вызывает во мне никакого гнева, то должна ли его злоба порождать в вас неверие? Я действительно искренне надеюсь, — гордо возвысив голос и воздев руки, — ради чести человечества надеюсь, что, несмотря на эту трусливую атаку, вера в Самаритянский Болеутолитель останется непоколебимой у всех, кто

меня слышит!

Будучи обиженным, а также терпеливо снёсшим обиду, он, так или иначе, вызвал некоторое сострадание, а потому его красноречие сразу же породило энтузиазм. Однако, вызывая жалость до последнего, он продолжал свои обращения, несмотря на прохладное отношение компании, пока, как будто бы в ответ на быстрый вызов извне, внезапно не прервал самого себя, торопливо сказав:

— Я ухожу, я ухожу.

И, изображая поспешность, травяной доктор вышел из каюты.

Глава XVIII
Исследование истинной сути травяного доктора

— Снова пропал из виду этот вечно спешащий приятель, — заметил джентльмен с тёмно-рыжими волосами, обращаясь к своему соседу с ястребиным носом. — Никогда не видел мошенника полностью разоблачённым.

— Но вы думаете, это справедливо, что он разоблачил мошенника на его пути?

— Справедливо? Пожалуй.

Если при сильном волнении на Парижской фондовой бирже Асмодей должен высказаться и, раздав листовки, открыть истинные мысли и проекты всех присутствующих мошенников, — будет ли это нормальным для Асмодея? Или, как сказал Гамлет, «рассматривать вещь тоже любопытно»?

— Мы не будем углубляться в эту тему. Но так как вы допускаете, что этот приятель мошенник…

— Я не допускаю этого. Или если и допускал, то беру слова обратно. Стоит ли удивляться, если

скажем, в конце концов, что он вообще не мошенник или совсем чуть-чуть. Что вы можете сказать против него?

— Я могу сказать, что он облапошивает людей.

— Многие посчитали бы за честь делать то же самое; и многие, совсем не мошенники, поступают так же.

— Как только что?

— Он в глубине души не полностью мошенник, и полагаю, что среди этих простофиль он сам по себе. Вы разве не видите, что наш друг шарлатан обращает против себя самого своё собственное шарлатанство? Фанатичный шарлатан; по существу, дурак, хоть и эффективный мошенник.

Наклонившись и посмотрев вниз между своими коленями на полу, джентльмен с тёмно-рыжими волосами задумчиво слегка поскрёб там пол своей тростью, а затем, посмотрев, сказал:

— Я не могу думать, как вы, так или иначе, считая его дураком. Но как он говорил — до чего же бойко, грамотно, красиво!

— Остроумный дурак всегда говорит красиво, для хорошего выступления возьмите остроумного дурака.

В почти таком же напряжении обсуждение

и продолжалось — джентльмен с ястребиным носом говорил пространно и ярко, с целью демонстрации того, что умный дурак всегда говорит именно так. Прежде всего он говорит так долго с целью почти убедить.

Вскоре, вернувшись в разговоре назад, джентльмен с тёмно-рыжими волосами предсказал, что травяной доктор вернётся. Будучи замеченным в дверном проёме, доктор задержался там, сказав внятным голосом:

— Есть ли здесь агент вдово-сиротского приюта семинолов?

Никто не ответил.

— Есть ли здесь какой-либо агент или какой-либо член какого-либо благотворительного учреждения вообще?

Никто, казалось, не знал, как ответить, или никакой мысли не приходило в голову.

— Если здесь есть такой человек, то для него в моей руке есть два доллара.

Некий интерес всё же проявился.

— Я был отозван так поспешно, что забыл эту часть своей обязанности. У владельца Самаритянского Болеутолителя существует правило: отчислять от товара для некой благотворительной цели половину доходов от продажи. Восемь

бутылок разошлось среди этой компании. Следовательно, четыре полудоллара остаются для благотворительности. Кто как распорядитель сможет взять деньги?

Одна или две пары ног зудяще зашаркали по полу, но никто не поднялся.

— Застенчивость превалирует над обязанностью? Если, как я сказал, есть какой-либо джентльмен или какая-либо леди, также здесь присутствующая, кто находится в какой-либо связи с каким-либо благотворительным учреждением вообще, то позвольте ему или ей сделать шаг вперёд. Если у него или неё не окажется под рукой никакого свидетельства о такой связи, не важно. У меня не подозрительный характер, слава Богу, и я поверю любому, кто бы ни предложил забрать эти деньги.

Скромная на вид женщина в довольно безвкусном и помятом платье тут же потянула вниз свою вуаль и привстала, но, заметив взгляды всех присутствующих, устремлённые на неё, решила, что в целом желательно сесть снова.

— О, что-то не верится, что в этой христианской компании нет ни одного благотворителя. Я имею в виду, что никто не связан с благотворительностью. Ну, тогда нет ли здесь какого-либо объекта

для благотворительности?

При этих словах несчастного вида женщина, в своего рода траурном платье, опрятном, но прискорбно изношенном, спрятала своё лицо за скудным узелком, и все услышали её рыдания. Тем временем, как будто не видя или не слыша её, травяной доктор снова заговорил, и на сей раз весьма трогательно:

— Есть ли здесь хоть кто-то, кто чувствует себя нуждающимся в помощи и кто, приняв такую помощь, почувствовал бы, что он в своё время дал бы или сделал бы больше, чем смогли когда-то дать или сделать для него? Мужчина или женщина, есть ли здесь хоть кто-нибудь?

Рыдания женщины были уже более слышимыми, хотя она стремилась подавить их. В то время как внимание почти всех присутствующих было обращено к ней, появился подёнщик с белой повязкой через всё лицо, скрывавшей одну сторону носа, и кто ради прохлады был одет в свою фланелевую рубашку с красными рукавами с переброшенным через плечо пальто, заштопанные манжеты которого свисали сзади, — этот человек перемещался, шаркая ногами, и шагами, отдалённо похожими на шаги осуждённого преступника, вполне мог сойти за годного претендента.

— Бедный раненый хазар! — вздохнул травяной доктор и опустил деньги в превратившуюся в раковину ладонь и отошёл.

Получатель милостыни отошёл в сторону, когда джентльмен с тёмно-рыжими волосами остановил его:

— Вы не пугайтесь, но я хочу увидеть эти монеты. Да, да, хорошее серебро, славное серебро. Теперь возьмите их снова и в то время, пока вы думаете о них, носите повязку с лёгкостью. Вы слышали? Уделите внимание шраму на носу и отключитесь от себя самого.

Будучи просителем по природе или же из-за эмоций, не позволяющих доверять его голосу, человек тихо, но не без некоторой стремительности ушёл.

— Странно, — сказал джентльмен с тёмно-рыжими волосами, возвращаясь к своему другу, — деньги были хорошие.

— Да, и где же теперь ваше прекрасное мошенничество? Мошенничество, отдающее половину прибыли на милосердие? Он — дурак, о чём я и твержу.

— Другие могли бы назвать его оригинальным гением.

— Да, оригинальным в своём безумии. Гений?

Его гений — ненормальный ум, и, когда его время пройдёт, в нём окажется немного новизны.

— Разве он не может быть мошенником, дураком и гением одновременно?

— Я прошу прощения, — сказал тут третий господин с выражением лица слушающего сплетника, — но вы несколько озадачены этим человеком, и вам это может быть полезно.

— Вы знаете что-нибудь о нём? — спросил джентльмен с крючковатым носом.

— Нет, но я его кое в чём подозреваю.

— Подозреваете? Мы хотим знать, в чём.

— Ну, начните подозревать сначала, и дальше узнаете. Истинное знание приходит, но как подозрение или открытие. Это — мой принцип.

— И всё же, — сказал джентльмен с тёмно-рыжими волосами, — поскольку мудрец будет держать при себе даже некоторые несомненные факты о себе самом, останется, по крайней мере, намного больше других подозрений до того момента, пока они не дозреют до знаний.

— Вы что-нибудь слышали о мудреце? — сказал джентльмен с ястребиным носом, обращаясь к новому собеседнику. — Тогда в чём вы подозреваете этого приятеля?

— Я сильно подозреваю, — прозвучал нетер-

пеливый ответ, — что он один из иезуитских эмиссаров, бродящих по всей территории нашей страны. Лучше постичь их секретные проекты, которые они предпринимают время от времени; я бы сказал, что это совершенный театр масок, иногда внешне абсурдных. Сказанное действительно по некоторым причинам породило забавную улыбку на лице джентльмена с ястребиным носом, добавив третью сторону обсуждения, которое теперь стало своего рода тройным поединком, но закончившееся в конце концов с тройным результатом.

Глава XIX
Солдат удачи

— Мексика? Молино-дель-Рей? Ресака-де-ла-Пальма?

— Ресака-де-ла-Томба!

Защищая свою репутацию, заботясь в первую очередь о себе, как нередко случается, и ничего не зная о том, что происходило в описанных выше дебатах, травяной доктор, дойдя до передней части корабля, заметил там одинокого человека в старой грязной полковой шинели с лицом одновременно и мрачным, и сухим, на заплетающихся парализованных ногах, твёрдых, как сосульки, стоящих между грубыми костылями, в то время как всё остальное тело, словно длинный судовой барометр на карданном подвесе, раскачиваемое туда и сюда, механически вторило движению корабля. Взгляд его был опущен, и во время качки калека, казалось, пребывал в глубоком раздумье.

Как только тот попал в поле зрения травяного доктора, тот, решив, что здесь стоит некий раненый герой с мексиканских полей брани,

с сочувствием обратился к нему, как упоминалось выше, и получил вышеупомянутый весьма невнятный ответ. Угрюмо и неприветливо произнеся его, калека от произвольного нервного толчка закачался сильнее (признак того, что его охватили эмоции), и можно было подумать, будто некий шквал внезапно сдвинул корабль, а вместе с ним и этот своеобразный барометр.

— Могилы? Мой друг! — воскликнул травяной доктор, слегка удивившись. — Вы же не пали мёртвым, не так ли? Я решил, что вы раненый участник кампании, один из благородных детей войны, великий страдалец за вашу дорогую страну. Но вы — Лазарь, не так ли?

— Да, тот, у кого были раны.

— Ах, это другой Лазарь. Но я никогда не знал, что кто-то из них был в армии, — глядя на поношенное обмундирование.

— Теперь будет. Это лишь шутка.

— Дружище, — сказал другой укоризненно. — Вы рассуждаете неправильно. В принципе, я встречаю неудачников приветливо, чтобы скорей отогнать их мысли от их проблем. Врач, который бывает одновременно мудрым и гуманным, редко всецело сочувствует своему пациенту. Но придите ко мне, я — травяной доктор, а также

природный костоправ. Я могу быть оптимистом и думаю, что могу сделать что-нибудь для вас. Приподнимите взгляд. Поведайте мне свою историю. Прежде чем я предпринимаю лечение, я требую полного описания случившегося.

— Вы не сможете мне помочь, — грубо возразил калека. — Уйдите.

— Вы выглядите сильно нуждающимся…

— Нет, я не нуждаюсь; сегодня, по крайней мере, я могу оплатить свой проезд.

— Природный костоправ воистину счастлив услышать такое. Но вы поспешили. Я сожалею о вашей нищете, не о наличных деньгах, а о вере. Вы думаете, что природный костоправ не может помочь вам. Ну, предположите, что он не может, сможете ли вы тогда кому-то другому рассказать вашу историю? Вы, мой друг, подаёте сигнал, что находитесь в беде. Скажите мне, ради моей личной выгоды, как без помощи благородного калеки Эпиктета вы достигли своего героического хладнокровия в неудачное время.

При этих словах калека уставился на говорящего твёрдым ироническим взглядом, состоящим из ожесточения и открытой дерзости из-за переносимых страданий, и в конце концов усмехнулся своим небритым лицом, словно каннибал.

— Ну-ну, быть общительным означает быть человеком, друг мой. Не делайте такое лицо, оно беспокоит меня.

— Я предполагаю, — с усмешкой, — что вы — человек, о котором я много слышал, — Счастливый Человек.

— Счастливый? Друг мой. Да, по крайней мере, я должен быть им. Моя совесть чиста. Я верю в каждого. Я уверен, что своей скромной профессией я приношу миру некую небольшую пользу. Да, я думаю, что без предубеждения смогу рискнуть согласиться с суждением, что я — Счастливый Человек — Счастливый Костоправ.

— Тогда вы должны услышать мою историю. Много месяцев я стремился схватить Счастливого Человека, пробуравить его, засыпать порох и оставить его так, чтобы взорвать его на досуге.

— Какой бесноватый неудачник! — воскликнул травяной доктор, отступая. — Настоящая адская машина!

— Вы посмотрите, — закричал другой, ступая за ним и своей цепкой рукой ловя за роговую пуговицу, — моё имя — Томас Фрай. До моего…

— Вы имеете отношение к госпоже Фрай? — прервал другой. — Я всё ещё переписываюсь с этой превосходной леди на предмет тюрем.

Скажите мне, вы так или иначе связаны с моей госпожой Фрай?

— Надутая госпожа Фрай! Что эти сентиментальные души знают о тюрьмах или любых других тёмных вещах? Я расскажу вам историю о тюрьмах. Ха-ха!

Травяной доктор сжался из-за смеха, странным образом сотрясающего его.

— Положительно, мой друг, — сказал он, — вы должны остановиться; я не могу так стоять; больше ничего не надо. Я надеюсь, что у меня ещё осталось молоко доброты, но ваш грохочущий смех скоро прогонит его.

— Держитесь, я ещё не дошёл до уничтожения молока. Меня зовут Томас Фрай. К своим двадцати трём годам я носил прозвище Счастливый Том. Счастливый, ха-ха! Они прозвали меня Счастливый Том, вы видите? Потому что я был таким же добродушным и весёлым всё время, как и сейчас. Ха-ха!

От этого травяной доктор, возможно, убежал бы, но гиена опять схватила его. Затем, успокоившись, он продолжал:

— Ну, хорошо, я родился в Нью-Йорке, где и жил постоянно, был трудолюбивым человеком, работал бондарем. Однажды вечером я пошёл

на политический митинг в Парк — вы должны знать, что я был в те дни великим патриотом. К моему несчастью, возник конфликт между рядом стоящим джентльменом, который был пьян от вина, и мостильщиком дорог, который был трезв. Мостильщик жевал табак, и джентльмен сказал, что тот выглядит по-скотски, и оттолкнул его, желая занять его место. Мостильщик закончил жевать и отпихнул джентльмена обратно. Ну, джентльмен извлёк из трости шпагу, и затем мостильщик упал — будучи пронзённым.

— Почему это произошло?

Потому что, как вы видите, мостильщик применил избыточную силу.

— Другой, должно быть, был тогда Самсоном. «Сильный, как мостильщик», — гласит пословица.

— Итак, поскольку джентльмен был слаб телом, то поэтому я повторяю, что мостильщик применил избыточную силу.

— О чём вы говорите? Он попытался отстоять свои права, не так ли?

— Да, но при этом, я повторяю, он применил избыточную силу.

— Я не понимаю вас. Но продолжайте.

— Джентльмена, меня и других свидетелей

увели в тюрьму «Томб». Прошла экспертиза, и при проведении следственного эксперимента джентльмен и все свидетели нашли поручителя — я имею в виду все, кроме меня.

— И почему не вы?

— Не смог заполучить его.

— Крепкий, трудолюбивый бондарь, как вы; что было причиной, почему вы не смогли получить залог?

— У крепкого, трудолюбивого бондаря не было друзей. Ну хорошо, меня быстро отправили в сырую клетку, как речную лодку, что плещется в затоне, запертая в солёной воде, вы видели? На время следствия.

— Ну, и что вы сделали?

— Да ведь я не заполучил друзей, говорю же вам. Худшего преступления, чем убийство, вы ещё долго не увидите.

— Убийство? Раненый умер?

— Умер на третью ночь.

— Тогда залог джентльменов не помог убийце. Тогда он был заключён в тюрьму, не так ли?

— Он имел слишком много друзей. Нет, то был я, кого заключили в тюрьму. Но я продолжу. Они позволили мне ходить по коридору днём, но ночью я должен был быть под замком. Там было

сыро, и сырость поразила мои кости. Они лечили меня, но без толку. Когда следствие проходило, меня вывели и велели мне рассказать.

— И что вы рассказали?

— Я рассказал о том, что я видел, что сталь вошла, и видел, что он ударил.

— И этого джентльмена повесили?

— Повесили ему золотую цепь! Его друзья устроили собрание в Парке и подарили ему золотые часы и цепь по случаю его оправдания.

— Оправдания?

— Разве я не говорил, что у него были друзья?

Возникла пауза, нарушенная наконец словами травяного доктора:

— Ну, есть светлая сторона у всего этого. Когда кто-то прозаически говорит о правосудии, тот романтично говорит о дружбе! Но продолжайте, мой пострадавший друг.

— Когда я всё рассказал, они заявили мне, что я могу идти. Я сказал, что не могу идти без посторонней помощи. Поэтому констебли помогли мне, спросив, куда я пойду. Я сказал, что назад в «Томб». Я не знал никакого другого места. «Но где же твои друзья?» — спросили они. «У меня нет ни одного». Тогда они усадили меня в инвалидное кресло с навесом и повезли меня

вниз, в док на борт корабля, и далее на остров Блэквелла — в тюремную больницу. Там мне стало хуже — я дошёл до тяжёлой степени, в какой вы видите меня теперь. Меня не смогли вылечить. За три года я стал больным от лежания в истёртой железной кровати рядом со стонущими ворами и разлагающимися грабителями. Они дали мне пять серебряных долларов и эти костыли, и я захромал прочь. У меня был единственный брат, который уехал в Индиану несколько лет назад. Я попросил собрать сумму для поездки к нему, добрался наконец до Индианы, и мне показали его могилу. Она находилась на большой равнине, во дворе евангелистской церкви, за забором из пней, старые седые корни которых цеплялись за всех идущих мимо, как рога американского лося. Надгробие, установленное над последней вырытой могилой, было из зелёного ореха, с корой и зелёными ветвями, произрастающими из него. Кто-то высадил кустик фиалок на насыпь, но здесь была бедная почва (ведь для кладбища всегда выбирают самые бедные почвы), и все фиалки высохли до состояния трута. Я собирался присесть и облокотился на надгробие и подумал о моём брате на небесах, но надгробие сломалось, как только я успел расправить ноги.

Поэтому, после удаления со двора нескольких сорняков, что укоренились там, я ушёл и после недолгой истории нахожусь здесь и дрейфую вниз по течению, как какой-то обломок корабля-крушения.

Травяной доктор молчал какое-то время, погрузившись в размышления. Наконец, подняв свою голову, он сказал:

— Я увидел всю вашу историю, мой друг, и стремился рассмотреть её в свете комментариев с точки зрения той системы понятий, которой я доверяю; но она так не согласуется с нею со всей, так несовместима с нею, что вы должны простить мне, если я честно скажу вам, что не могу в неё поверить.

— Это меня не удивляет.

— Почему?

— Едва ли кто верит моей истории, и поэтому большинству я говорю другое.

— Как, снова?

— Подождите здесь немного, и я покажу вам.

— С этими словами, сняв свою тряпичную кепку и поправив своё изодранное обмундирование, насколько это у него вышло, он пошёл прочь, тяжело ступая среди пассажиров в смежной части палубы, говоря весёлым голосом:

— Сэр, шиллинг для Счастливого Тома, который сражался в Буэна-Висте. Леди, что-нибудь для солдата генерала Скотта, который был дважды ранен в славной битве при Контрерасе.

Тут случилось так, что незнакомый калеке чопорный незнакомец подслушал часть его истории. Разглядев сначала его самого, затем его нищенские просьбы, этот человек, повернувшись к травяному доктору, с негодованием сказал:

— Не слишком ли он плох, сэр, для того, чтобы вот так по-мошеннически лгать?

— Милосердие никогда не бывает напрасным, мой добрый господин, — прозвучал ответ. — Порок этого неудачника простителен. Глядите, он лжёт не из шалости.

— Не из шалости. Я никогда не слышал более экстравагантной лжи. На едином духу скажу вам, что если бы она оказалась правдой, то в дальнейшем он сфальсифицировал бы и её.

— При этом я повторяю, что он лжёт не из шалости. Словно почтенный философ, выпущенный из великой Сорбонны в тяжёлые времена, он думает, что горе, о котором он рассказывает незнакомцам за деньги, должно быть наилучшим образом обсахарено. Хотя бесславный столбняк его колен из-за сырой темницы — это

намного большее несчастье, чем быть раненным в славной битве при Контрерасе, он всё же придерживается того мнения, что эта более лёгкая и скверная ложь должна привлечь, в то время как более тяжёлая реальность могла бы отпугнуть.

— Ерунда, он принадлежит к полку дьявола, и я хотел бы проверить его.

— Позор вам. Не смейте проверять этого бедного неудачника, и клянусь небом — вы не сделаете этого, сэр.

Заметив что-то в поведении доктора, он, казалось, счёл более благоразумным удалиться, нежели возражать. Вскоре калека вернулся, и с ликованием, пожиная довольно хороший урожай.

— Вот, — он рассмеялся, — теперь вы знаете, какой я солдат.

— Да, тот, кто сражается не с глупым мексиканцем, но с противником, достойным вашей тактики, — Фортуной!

— Хи-хи! — зашумел калека, как простофиля в партере шестипенсового театра, затем сказал: — Я не понял всего, что вы имели в виду, но всё прошло хорошо.

Под конец выражение его лица причудливо напоминало облик угрюмого чудовища. На доб-

родушные вопросы он не давал добродушных ответов. Нелицеприятные слова были брошены в адрес «свободной Америк», как саркастически он называл свою страну. Они, казалось, встревожили травяного доктора и причинили ему боль, отчего после задумчивости он серьёзно обратился к нему с такими словами:

— Вы, мой достойный друг, к моему беспокойству, размышляли о правительстве, при котором вы живёте и страдаете. Где ваш патриотизм? Где ваша благодарность? Разве благодарность может найтись в ваших выражениях, чтобы в какой-то степени служить объяснением для ваших же измышлений? Даже при существующих фактах ваши измышления ни в коей мере не допустимы. Допустим в настоящий момент, что ваши испытания таковы, какими вы их преподносите; тогда я признал бы, что правительство может помыслить сделать что-то, что кажется более или менее нежелательным для него самого. Но никогда нельзя забывать, что человеческому правлению, будучи зависимым от божественного, нужно в меру своих сил разделять особенности правления божественного. Поэтому, в то время как в основе своей действующий ради счастья всемирный закон может, в некоторых случаях,

представлять для разумного взгляда непонятное действие, так и в том же самом несовершенном представлении некоторые несоответствия могут проявиться в действиях закона небесного; однако для того, у кого есть истинная вера, окончательная милость в каждом случае столь же соответствует как одному закону, так и другому. Я объясняю точку зрения на некоем отрезке, поэтому эти соображения, мой бедный друг, если взвесить то, чего они заслуживают, позволят вам выдержать ваши весьма очевидные бедствия с неослабной верой.

— Для чего вы говорите со мной на своей поросячьей латыни? — закричал калека, который всем своим существом предался самому закоснелому невежеству и с разгневанным взглядом завертелся снова.

Идя иным путём, пока судорога у калеки не прошла, другой продолжал:

— Благо чудес не в том, что вы должны быть абсолютно твёрдо убеждены, друг мой, а в том, чтобы, не сомневаясь, верить в самого себя, едва начав дело; но не забудьте, что те, кто любит, уже наказаны.

— Не стоит наказывать их слишком сурово и слишком долго тоже, потому что их кожа

и сердце становятся твёрдыми и не чувствуют ни боли, ни щекотки.

— Из-за простоты ваш случай смотрится каким-то жалким, само собой разумеется. Но никогда не унывайте; много вещей — выбор широк — для вас всё же остаются. Вы вдыхаете этот напоённый воздух, согретый этим добрым солнцем, и хотя вы и бедны, и одиноки, и, воистину, не столь проворны, как в дни вашей молодости, всё же как сладко бродить день за днём через рощи, трогая яркие мхи и цветы, пока сама безнадёжность не станет радостью, и с вашей простодушной независимостью вы пробьётесь к счастью.

— Прекрасный прыжок на пока ещё лошади — ха-ха!

— Прошу прощения, я забыл про костыли. Мой ум отобразил ваш облик после получения результата от моего искусства, разглядевшего вас таким, каким стоите передо мной.

— Ваше искусство? Вы называете себя костоправом — природным костоправом, не так ли? Пойдите, посконником исправьте мир и затем придите и посконником исправьте меня.

— Действительно, мой честный друг, я благодарю вас за новое обращение к моей оригинальной персоне. Позвольте мне обследовать вас, — скло-

няясь. — Ах, я вижу, вижу; во многом случай схож с тем, что у негра. Вы видели его? О нет, вы взошли на борт позже. Ну, его случай был чем-то немного схож с вашим. Я выписал ему рецепт, и я не должен удивляться вообще, если за очень короткое время он будет способен ходить почти так же, как и я. И теперь у вас нет никакой веры в моё искусство?

— Ха-ха!

Травяной доктор сдержал себя, но дикий смех, замерев, возобновился.

— Я не буду вселять в вас веру. Однако я охотно оказал бы вам дружескую услугу. Вот, возьмите эту коробку; просто втирайте эту жидкую мазь в суставы ночью и утром. Возьмите её. Не надо платить. Да благословит вас Господь. До свидания.

— Останьтесь, — перестав качаться, не оставшись равнодушным от столь неожиданного подарка, — останьтесь, благодарю, но это действительно принесёт мне пользу? Честное слово, теперь так и будет? Не обманывайте беднягу, — изменив выражение лица и сверкая глазами.

— Попробуйте его. До свидания.

— Останьтесь, останьтесь! Оно точно поможет мне?

— Возможно, возможно; никакого вреда от попытки.

— До свидания.

— Останьтесь, останьтесь; дайте мне ещё три коробки, и вот деньги.

— Друг мой, — возвращаясь к нему с печальным видом, — я рад зарождению вашей веры и оптимизма. Верьте мне, что, как и ваши костыли, вера и оптимизм будут долго поддерживать человека, когда его собственные ноги этого уже не смогут делать. Придерживайтесь веры и оптимизма, чтобы после того, как вы стали безумным из-за увечья, выбросить ваши костыли. Вы просите ещё три коробки моей жидкой мази. К счастью, у меня осталось как раз такое количество, оно здесь. Я продаю их по полдоллара за штуку. Но я ничего не возьму с вас. Итак, да благословит вас Господь снова, до свидания.

— Останьтесь, — потрясённым голосом и раскачиваясь, — останьтесь, останьтесь! Вы сделали меня лучше. Вы терпели меня, как добрый христианин, и всего того, что вы сказали, мне достаточно и без этих подаренных коробок. Вот деньги. Я не возьму их. Вот, вот, и пусть Всемогущее Благо пребудет с вами.

Как только травяной доктор ушёл, томитель-

ное раскачивание калеки постепенно переросло в плавное колебание. Возможно, в нём выражалось мечтательное состояние его души.

Глава XX
Новое появление того, о ком уже упоминалось

Травяной доктор не столь далеко ушёл, когда перед его взором возникло следующее зрелище. Сухой старик, ростом с двенадцатилетнего мальчика, ковылял нетвёрдой походкой, находясь как будто бы не в своём уме, одетый в кое-как застёгнутый старый молескин со следами недавнего его использования в качестве постельной принадлежности, с хорьковыми глазами, мигающими в солнечном свете белоснежного корабля, чего-то безумно жаждущими; временами кашляя, он всматривался повсюду, как будто с тревогой искал свою кормилицу. Он являл того, кто, ослабев из-за волнения, охватившего верхнюю часть его тела, весь свой жар устремил к своим ногам.

— Вы ищете кого-то? — сказал травяной доктор, обращаясь к нему. — Могу ли я помочь вам?

— Да, да, я стар и несчастен, — закашлял старик. — Где он? Я так долго пытался встать и найти его. Но у меня совсем нет друзей, и я не мог вставать до настоящего времени. Где он?

— Кого вы имеете в виду? — приближаясь, чтобы остановить дальнейшее блуждание столь болезненного человека.

— Да почему же, почему, — уже рассмотрев платье доктора, — почему вы, да, вы, вы, вы… ух, ух, ух!

— Я?

— Ух, ух, ух!.. Вы — человек, о котором он говорил. Кто он?

— Вера — единственное, что меня интересует.

— Спасибо, спасибо! — закашлял старик, изумляясь. — Как только я увидел его, моя голова пошла кругом. У меня должен быть попе… чи… тель. Этот сюртук табачного цвета ваш или нет? Так или иначе, я не могу больше доверять своему чутью с тех пор, как доверился ему… ух, ух, ух!

— О, вы доверились кому-то? Рад это слышать. Рад слышать о любом подобном случае. Размышления хороши для всех людей. Но вы спрашиваете, табачного ли цвета этот сюртук. Я отвечаю, что это так, и добавлю, что его носит травяной доктор.

На это старик в своей сбивчивой манере ответил, что тогда он, травяной доктор, и есть человек, которого он искал, — человек, про которого говорил другой человек, пока ещё неизвестный.

Затем он, исполненный нетерпения, потребовал сказать, кем был этот последний человек и где он находится и можно ли было бы доверить ему деньги, чтобы тот утроил их.

— Да, теперь я начинаю понимать; десять к одному за то, что вы имеете в виду моего достойного друга, который исключительно по сердечной доброте наживает для людей состояния — их вечные состояния, как говорится, — только вознаграждая себя маленькой комиссией за доверие. Да, да, прежде чем вверить средства моему другу, вы хотите знать о нём. Очень правильно — и я рад заверить вас, что у вас не должно быть никаких сомнений; ни единого, ни единого, просто ни единого во всём свете; честно, ни единого. И мигом появятся три сотни долларов с множеством орлов.

— Он? Он? Но где он? Проведите меня к нему!

— Прошу, возьмите мою руку! Корабль большой! Мы можем устроить что-то вроде охоты! Идёмте! Ах, вот, это он?

— Где? Где?

— О, нет, я принял вон то женское платье за него. Но нет, мой честный друг никогда бы не бросился наутёк. Ах!..

— Где? Где?

— Другая ошибка. Удивительное сходство. Я вон там за него принял священнослужителя. Идёмте!

Без успеха обыскав эту часть корабля, они пошли в другую часть, и, пока они обследовали её, судно пристало к берегу, когда, как только они оба вышли на открытую палубу, травяной доктор внезапно быстро отправился к выходящей толпе, выкрикивая:

— Господин Трумэн, господин Трумэн! Вон там он идёт, это он. Господин Трумэн, господин Трумэн! Чёрт бы побрал эту паровую трубу! Господин Трумэн! Ради Бога, господин Трумэн! Нет, нет. Там доска в… слишком поздно… идём прочь. При этих словах огромное судно, словно мощный барахтающийся морж, отошло от берега, возобновив свой курс.

— Какая досада! — воскликнул травяной доктор, возвращаясь. — У нас был всего лишь один-единственный краткий миг. Вон там он идёт, теперь вон к тому отелю, его чемодан несут следом. Вы видите его, не так ли?

— Где? Где?

— Его больше не видно. Выступ рулевой рубки между нами. Я очень сожалею. Мне очень приятно, что вы позволили ему взять приблизительно сотню из ваших денег. Вы будете довольны инве-

стициями, поверьте мне.

— О, я… позволил ему завладеть частью моих денег, — застонал старик.

— Ваших денег? Мой уважаемый господин, — схватив обе руки скупца обеими своими и сердечно потрясая их. — Мой уважаемый господин, как я рад поздравить вас! Вы просто не понимаете.

— Ух, ух! Я боюсь, что это не так, — снова застонав. — Его зовут Трумэн, так?

— Джон Трумэн.

— Где он живёт?

— В Сент-Луисе.

— Где его офис?

— Позвольте, вспомню. Джонс-стрит, номер сто и… нет, нет — так или иначе, это где-то или рядом наверху на Джонс-стрит.

— Разве вы не можете вспомнить номер? Попробуйте теперь.

— Сто, двести, триста…

— О, моя сотня долларов! Интересно, будут ли эти сто, двести, триста у него! Ух, ух! Не можете вспомнить номер?

— Положительно, хотя я и знал когда-то, но я забыл, совсем забыл его. Странно. Но не имеет значения. Вам будет легко найти его в Сент-Луисе. Он хорошо известен там.

— Но у меня нет квитанции… ух, ух! Ничего, чтобы показать… не знаю, где встать… должен быть попе… чи… тель… ух, ух! Ничего не знаю. Ух, ух!

— Да ведь вы знаете, что оказали ему доверие, не так ли?

— О да!

— Хорошо, и что дальше?

— Ну что, что… как, как… ух, ух!

— Да разве он не говорил вам?

— Нет.

— Что! Разве он не говорил вам, что это был секрет, тайна?

— О… да.

— Хорошо, и что дальше?

— Но у меня нет договора.

— Вам не нужно ничего от господина Трумэна. Слово господина Трумэна — его договор.

— Но как я получу мою прибыль… ух, ух!.. и мои деньги назад? Не знаю ничего. Ух, ух!

— О, вы должны верить.

— Не повторяйте этого слова. Оно заставляет мою голову кружиться. О, я так стар и несчастен, никто не заботится обо мне, все обирают меня, и моя голова так кружится… ух, ух!.. и этот кашель меня так мучит. Я повторяю, я должен

иметь попе… чи… теля.

— Так он у вас есть, и господин Трумэн — ваш опекун в той степени, которой вы его наделили. Жаль, мы сейчас тоскуем по нему. Но вы получите известие от него. Хорошо. По крайней мере, это неблагоразумно — подвергать себя такому путешествию. Позвольте мне отвести вас к вашему месту.

— Совсем несчастный старый скупец медленно двинулся с ним дальше. Но когда они спускались по лестнице, его охватил такой кашель, что пришлось остановиться.

— Это очень тяжёлый кашель.

— Кладбищенский… ух, ух!.. кладбищенский кашель. Ух!

— Вы попробовали что-нибудь от него?

— Устал пробовать. Ничего не приносит мне пользы… ух! ух! Даже Мамонтова пещера. Ух, ух! Прозимовал там шесть месяцев, но кашляю так же плохо, как и до лечения. Ух, ух! Мне выпал чёрный шар. Ух, ух! Ничего не принесёт мне пользы.

— А вы пробовали Омнибальзамический Силовосстановитель, сэр?

— Это то, про что Трумэн… ух, ух!.. говорил, что я должен взять. Народный целитель, вы тот

самый народный целитель, не так ли?

— Тот самый. Предположим, что вы попробуете одну из моих коробок теперь. Поверьте мне: насколько я знаю господина Трумэна, он не тот джентльмен, чтобы рекомендовать, даже от имени друга, что-либо, чьё достоинство не вполне приемлемо.

— Ух!.. Сколько?

— Всего лишь два доллара за коробку.

— Два доллара? Почему вы не говорите два миллиона? Ух, ух! Два доллара, что составляет двести центов, что составляет восемьсот фартингов; а это две тысячи тысячных частей доллара, и всё за одну небольшую коробку народного средства. Моя голова, моя голова! О, у меня должен быть попе… чи… тель, моя голова. Ух, ух, ух, ух!

— Ну, если по два доллара за коробку вам кажется слишком много, то возьмите дюжину коробок за двадцать долларов, и тогда вы получите четыре коробки задаром, и если вы ни одну не используете, кроме этих четырёх, то остальные вы сможете продать в розницу с большой выгодой и таким образом вылечите свой кашель и приобретёте деньги. Ну, вам лучше сделать это. Давайте наличные. Можете оформить заказ через день или два. Здесь и сейчас, — достав ко-

робку, — чистые травы.

В этот момент, охваченный новой судорогой, скупец на какое-то время уставился своим наполовину подозрительным, наполовину обнадёженным взглядом на медикамент, как зачарованный:

— Поверить… ух! Поверить, что это — всё натуральное? Ничего, кроме природы? Если только подумать, что это чистое природное средство теперь… всё натуральное… ух, ух! О, этот кашель, этот кашель… ух, ух!.. разбито всё моё тело. Ух, ух, ух!

— Ради Бога, попробуйте мой медикамент, хотя бы одну коробку. В том, что это чистая природа, вы можете быть уверены, отсылаю вас к господину Трумэну.

— Не зная его номер… ух, ух, ух, ух! О, этот кашель. Он действительно говорил хорошо об этом средстве, торжественно пообещав, что это меня вылечило бы… ух, ух, ух, ух!.. скиньте доллар, и у меня будет коробка.

— Не могу, сэр, не могу.

— Скажите: полтора доллара. Ух!

— Невозможно. Обещал продавать по одной ценовой системе, только из уважения.

— Сбросьте шиллинг. Ух, ух!

— Не могу.

— Ух, ух, ух, я возьму её. Вот.

Он неохотно вручил было восемь серебряных монет, но, пока держал их в своей руке, кашель сотряс его, и они высыпались на палубу.

Один за другим травяной доктор поднял их и, исследовав, сказал:

— Это не фартинги, это пистарины, к тому же подрезанные и потные.

— О, не будьте таким скупым… ух, ух!.. лучше зверь, чем скупец… ух, ух!

Ну, позвольте уйти. Ничего нет предпочтительней, чем ваша идея вылечиться от такого кашля. И я надеюсь, что, во имя человечества, вам не будет хуже, чем сейчас, когда из-за воздействия на слабую точку моего сострадания вы попытались получить мои медикаменты гораздо дешевле. Теперь моё мнение таково, что не стоит использовать препарат до наступления ночи. Непосредственно перед тем, как уйти спать. Вот, теперь вы можете жить, не так ли? Я сопроводил бы вас далее, но я сейчас высаживаюсь и потому должен пойти отыскать мой багаж.

Глава XXI
Непробиваемый

— Народное, народное; натуральное, натуральное; вы глупый старый скряга! Он надул вас этим фокусом, не так ли? Народное и натуральное, вы полагаете, излечат ваш неизлечимый кашель?

Сказавший эти слова оказался довольно эксцентричным человеком несколько медвежьего облика из-за своего охотничьего косматого жакета, напоминавшего шкуру медведя; высокая кепка из шкуры енота с длинным густым хвостом, размахивающимся сзади; узкие брюки из сыромятной кожи, мрачный щетинистый подбородок и под конец двустволка в руке — холостяк из Миссури, благородный верзила со спартанской свободой и судьбой и таких же спартанских манер и чувств; и, как дальше будет сказано, не менее знакомый в своей собственной спартанской жизни с философией и книгами, чем со знанием леса и винтовки.

Он, должно быть, услышал часть разговора между скупцом и травяным доктором, для чего, сразу после сказанного, он перешёл на новое

место — теперь уже у опоры лестницы, прислонившись к стоящей там балюстраде и отвесив поклон.

— Думаете, что это не вылечит меня? — кашлянул скупец, отзываясь эхом. — Почему нет? Медикамент — народное средство, чистейшая природа; природное должно излечить меня.

— Если вещь натуральная, как вы её называете, то вы думаете, что она хорошая. Но кто подарил вам этот кашель? Разве не природа?

— Несомненно, но вы не думаете, что природа, мать Природа, повредит телу, не так ли?

— Природа — славная королева Бесс, но кто ответит за холеру?

— Но естественное, естественное; естественное хорошо?

— Что такое смертельно ядовитый паслён? Природа, не так ли?

— О, зачем христианин должен снова говорить о природном и народном… ух, ух, ух!.. ведь больные отосланы не в глубь страны, а отосланы к природе и травам?

— Да, и поэты отсылают больную душу в зелёные пастбища, как хромых раскованных лошадей — к торфу, чтобы те обновили свои копыта. Как у так называемых народных лекарей

на их тропах, у поэтов всегда есть что-то для воспалённых сердец; что же касается воспалённых лёгких, то природа — великое лечение. Но кто заморозил до смерти моего погонщика в прерии? И кто сделал идиота Питера Диким Мальчиком?

— Тогда вы не верите ни в кого из них, вплоть до народного целителя?

— Народного целителя? Я помню долговязого народного целителя, которого видел однажды на раскладушке больницы в Мобайле. Один из медиков, проходя мимо и увидев, кто лежит там, сказал с профессиональным триумфом: «Ах, доктор Грин[5], ваше народное средство не помогает теперь вам, самому доктору Грину. Решили теперь прийти к нам и ртутному препарату, доктор Грин». Природное! Народное!

— Я слышал что-то о травах и травяных докторах? — сказал тут, приближаясь, подобный флейте голос.

Это был сам травяной доктор. С саквояжем в руке он, как оказалось, шёл обратно этим же путём.

— Простите меня, — обращаясь к миссурийцу, — но если я уловил ваши слова правильно,

---

5 Примечания: 5
Зеленый (англ.). — Прим. пер.

у вас, кажется, мало веры в природу, что, действительно, при моём образе мыслей похоже на довольно широкое распространение духа неверия.

— И к какой из моих возвышенных натур вы относитесь? — резко обернувшись к нему, щёлкая затвором своей винтовки, с интонацией, которая показалась бы наполовину циничной, наполовину необузданной, если бы не гротескная экспрессия, которая заставляла его искренность выглядеть несколько сомнительной.

— К той, которая верит в природу и верит в человека, с небольшой скромной верой в себя.

— Это ваше Признание в Вере, не так ли? В вере в человека, да? Умоляю, скажите, кого, как вы думаете, больше всего на свете — мошенников или дураков?

— Встретившись с немногими или не с одним из таковых, я едва ли полагаю, что буду компетентен дать ответ.

— Я дам вам ответ. Дураков больше.

— Почему вы так думаете?

— По той же самой причине, по которой я полагаю, что зёрен овса в математической форме больше, чем лошадей. Разве мошенники не пережёвывают дураков так же, как лошади

пережёвывают овёс?

— Забавно, сэр; вы — забавны. Я могу оценить юмор — ха-ха-ха!

— Но я всерьёз.

— Это — шутка, представить забавную экстравагантность с серьёзным видом… мошенники, пережёвывающие дураков, как лошади овёс… Верю, очень забавно, воистину, ха-ха-ха! Да, я думаю, что понимаю вас теперь, сэр. Как глупец, я должен был бы отнестись серьёзно к вашему забавному тщеславию, а также к отсутствию веры в природу. В действительности у вас этой веры столько же, сколько и у меня.

— Я верю в природу?.. Я?.. Я повторяю, что нет ничего, к чему я относился бы более подозрительно. Я когда-то потерял десять тысяч долларов из-за окружающей меня природы. Природа присвоила то, что принадлежало мне, захватив мою собственность ценностью в десять тысяч долларов; плантация по этому течению, находящаяся на отмели, внезапно была смыта дочиста и унесена вдаль при одном из паводков; десять тысяч долларов вода унесла прочь.

— Но есть ли у вас вера в обратную перемену, при которой эта почва будет возвращена вам через много дней? Ах, вот мой почтенный

друг, — заметив старого скупца, — ещё не на своём месте? Умоляю, держитесь, пока мы будем двигаться, не прислоняясь к этой балюстраде; возьмите мою руку.

Так и было сделано, и они оба встали рядом; старый скупец прислонился к травяному доктору с каким-то духом доверительного братства, при котором менее сильный из стоящих сиамских близнецов обычно прислоняется к другому.

Миссуриец следил за ними в тишине, которую нарушил травяной доктор.

— Вы выглядите удивлённым, сэр. Это потому, что я публично беру под свою защиту такого человека, как этот? Но я никогда не стыжусь своей честности безотносительно к его одежде.

— Я гляжу, — сказал миссуриец после внимательного изучения, — вы странный парень. Не знаю точно, как к вам относиться. Хотя в целом вы несколько напоминаете мне боя[6], что в прошлом был на моём месте.

— Хороший, заслуживающий доверия мальчик, я надеюсь?

— О, очень! Я теперь начал создавать некую машину, чтобы та делала работу, которая, пред-

---

6 Примечания: 6

Здесь: мальчик-слуга, далее — мальчик — boy (англ.). — Прим. пер.

положительно, подходит для мальчиков.

— Тогда вы наложили запрет для мальчиков?

— И на мужчин тоже.

— Но, мой уважаемый господин, не подразумевает ли это снова большую или меньшую нехватку веры? (Привстаньте немного, совсем чуть-чуть, мой почтенный друг; вы склонились довольно тяжело.) Никакой веры в мальчиков, никакой веры в людей, никакой веры в природу. Умоляю, сэр, в кого или во что у вас есть вера?

— Я верю в неверие, особенно в вас и ваши травы.

— Хорошо, — со сдержанной улыбкой, — это откровенно. Но, простите, не забываете ли вы, что, когда вы подозреваете мои травы, вы подозрительно относитесь к природе?

— Разве я не говорил этого прежде?

— Очень хорошо. Для пользы аргумента я предположу, что вы серьёзны. Тогда можете ли вы, кто не доверяет природе, отрицать, что она по аналогии не только любезно создала вас, но и искренне вынянчила вас для выражения вашего решительного протеста и требования о предоставлении независимости? Не природе ли вы признательны за тот здоровый ум, который вы так некрасиво используете для скандала?

— Умоляю, разве не природе вы обязаны вам увиденным, за которое вы же её и критикуете?

— Нет! Привилегией видеть я обязан окулисту, который прооперировал меня, десятилетнего, в Филадельфии. Природа заставила меня ослепнуть и таким бы и оставила. Мой окулист одолел её.

— И всё же, сэр, по вашему цвету лица я сужу, что вы живёте на свежем воздухе; не осознавая этого, вы оказались неравнодушны к природе; вы летите к природе, вселенской матери.

— Очень по-матерински! Сэр, по чувству природы я знаю, что птицы летят от природы ко мне, говоря по-простому; да, сэр, во время бури убежище здесь, — ударяя по складкам своей медвежьей шкуры. — Факт, сэр, факт. Ну-ка, господин Болтун, при всей вашей болтовне, разве вы сами никогда не закрываетесь от природы холодной, влажной ночью? Не впускаете её в дверь? Запираете её? Законопачиваете её?

— Относительно этого, — сказал травяной доктор спокойно, — многое можно наговорить.

— Так выскажите это, — взъерошив волосы. — Вы не можете, сэр, не можете. — Затем, как бы обращаясь к кому-то: — Посмотри, природа! Я не отрицаю, но твой клевер сладкий, и твои

одуванчики не рычат; но чьи градины разбили мои окна?

— Сэр, — с непоколебимой любезностью достав одну из своих коробок, — мне больно встретить того, кто считает природу опасной. Хоть ваши манеры и изысканны, но ваш голос груб; короче говоря, вы, кажется, больны ангиной. От имени оклеветанной природы я дарю вам эту коробку; у моего почтенного друга здесь есть такая же, но для вас — дар от чистого сердца, сэр. От трудов её уполномоченных агентов, среди которых я счастлив состоять, Природа радуется, видя успехи тех, кто, по большей части, злоупотребляет ею. Умоляю, возьмите её.

— Уберите прочь! Не держите её так близко. Десять к одному, что это убийца. Такие вещи уже случались. Так убивали редакторов газет. Уберите её прочь, и подальше, говорю вам.

— О боже! Мой уважаемый господин…

— Я говорю вам, что не хочу ни одной из ваших коробок, — хватая свою винтовку.

— О, возьмите её… ух, ух! Возьмите её, — вмешался старый скупец. — Я хочу, чтобы вы отдали мне одну на всякий случай.

— Вы считаете его одиноким, да? — резко обернувшись к старику. — Обманув самого себя, вы

заимели компаньона.

— Как может он считать себя одиноким, — ответил травяной доктор, — или как ещё можно желать компаньона, когда я здесь поддерживаю его; я, именно я — тот, кому он верит. Правды ради скажите мне, действительно ли это гуманно — так разговаривать с этим бедным стариком? Допустим, что если даже его зависимость от моего медикамента тщетна, то стоит ли лишать его того, что в простом воображении есть нечто большее, что может помочь добавить надежды при его болезни? Для вас, если у вас нет веры, и благодаря вашему природному здоровью, способному прожить без неё, до сих пор наименее доверяющему моей медицине, всё же весьма жестоко использовать здесь этот сокрушительный аргумент. Это как если б не от мира сего некий мускулистый борец, разгорячённый, в декабре ворвётся и подожжёт больницу потому, что, несомненно, он не чувствует потребности в искусственном тепле, чего у дрожащих пациентов не наблюдается. Поставьте его рядом со своей совестью, сэр, и вы признаете, что, какой бы ни была природа этой огорчительной для вас веры, вы, противостоя ей, проявляете или допускаете скверную ошибку ума или сердца. Ну, собственно,

разве вы не безжалостны?

— Да, бедная душа, — сказал миссуриец, серьёзно разглядывая старика. — Да, это… безжалостно — такому, как я, говорить слишком откровенно с таким, как вы. Вы в этой жизни — пассажир из прошлого, обычный спящий человек из прошлого; и правда, что тот, кто делает полезный завтрак, подаёт всем столь же сердечный ужин. Сердечная пища, принятая поздно, порождает дурные сны.

— Что за удивительные слова… ух, ух!.. он говорит? — спросил старый скупец, глядя на травяного доктора.

— Хвала небесам за это! — воскликнул миссуриец.

— Он не в своём уме, не так ли? — снова обратился старый скупец.

— Умоляю, сэр, — сказал травяной доктор миссурийцу, — ради того, чтобы вас поблагодарили прямо сейчас.

— Ради этого: для некоторых умов, действительно, не такая уж и жестокая вещь, в конце концов, увидеть, как заряженный пистолет бывает найден беднягами из числа чёртовых дикарей, что вызывает больше удивления, чем беспокойный ребёнок: специфическая черта ребёнка — быть

непредсказуемым, когда он действительно при недосмотре устраивает что-нибудь в ваше отсутствие.

— Я предпочитаю не удивляться вашей важности в этот момент, — сказал травяной доктор после паузы, во время которой он следил за миссурийцем с напряжённым выражением лица с примесью боли и любопытства, как будто бы он был огорчён его настроем, и в то же самое время задаваясь вопросом, что привело его к этому. — Но главное, что я знаю, — добавил он, — что эти общие наброски ваших мыслей по меньшей мере неудачны. В них есть сила, но сила, источник которой, будучи физическим, должен будет истощиться. Вы от них ещё отречётесь.

— Отрекусь?

— Да, когда, как у этого старика, придут ваши чёрные дряхлые дни, когда, как древний узник в своей камере, вы станете чем-то вроде, по выражению итальянцев, подземной тюрьмы, о которой все читали, тогда вы с радостью будете искать лоно той веры, что явилась в нежное время вашей юности, вовеки благословенной, — если она вообще вернётся к вам с годами.

— Вернётся, чтобы нянчить снова, да? Второе детство, воистину. Какой же вы сладкоголосый!

— Помилуйте, помилуйте! — вскричал старый скупец. — Что это! Ух, ух! Говорите по делу, мои добрые друзья. Но вы-то, — к миссурийцу, — пойдёте и купите часть этого лекарства?

— Умоляю, мой почтенный друг, — сказал травяной доктор, теперь уже пытаясь распрямиться, — не склоняйтесь… довольно… так тяжело; мои руки цепенеют; ослабьте немного, ну хоть самую малость.

— Пойдите, — сказал миссуриец, — пойдите, лягте в вашу могилу, старец, если вы не можете постоять за себя. Этот мир тяжек для такого скупого.

— Относительно его могилы, — сказал травяной доктор, — то до этого довольно далеко, поскольку он искренне примет моё лекарство.

— Ух, ух, ух! Он говорит верно. Нет, я не… ух!.. пытаюсь умереть пока… ух, ух, ух! Много лет ещё проживу, ух, ух, ух!

— Я одобряю вашу веру, — сказал травяной доктор, — но ваш кашель беспокоит меня, помимо того, что он вреден для вас. Прошу, позвольте мне проводить вас к вашему месту. Вам будет лучше там. Наш друг будет здесь ждать моего возвращения, я знаю.

С этими словами он и увёл старого скупца, и за-

тем, по возвращении, разговор с миссурийцем был возобновлён.

— Сэр, — сказал травяной доктор с некоторым достоинством и напыщенностью, — теперь, когда наш слабый друг отсутствует, позвольте мне в полной мере выразить моё беспокойство словами, которых вы сумели избежать в его присутствии. Некоторые из этих слов, если я не ошибаюсь, помимо того, что они порождают прискорбное неверие в пациенте, кажется, соответствуют выдвижению против меня, его врача, неприятных обвинений.

— Предположим, что они таковы? — с угрожающим тоном.

— Поэтому тогда… тогда, действительно, — с уважением отступая, — я возвращаюсь к моей предыдущей теории о вашем выдающемся остроумии. Мне повезло, что был в компании с шутником, — поклон вам.

— Вам лучше отступиться и забрать поклон, — вскричал миссуриец вслед за ним, размахивая своим хвостом почти у лица травяного доктора, — посмотрите-ка!

— На что?

— На этого енота. Сможете ли вы, как лиса, поймать его?

— Если вы имеете в виду, — ответил другой весьма хладнокровно, — что льстите мне самому, будто я могу при любых обстоятельствах обмануть вас, или обманом продать вам что-либо, или выдавать себя за того, кем я не являюсь, то, как честный человек, отвечу, что у меня нет ни склонности, ни власти делать что-либо подобное.

— Честный человек? Кажется мне, вы говорите скорее как трус.

— Вы напрасно стремитесь начать ссору со мной или бросить мне какое-то оскорбление. Моя невиновность излечит меня.

— Исцелит, как ваши собственные лекарства. Но вы — странный человек, самый странный и сомнительный человек из всех, с кем я когда-либо встречался.

Испытующий взгляд, сопровождавший эти слова, оказался нежеланным для неуверенного в себе травяного доктора. Для того чтобы сразу подчеркнуть отсутствие негодования, а также чтобы сменить тему, он придал знакомую сердечность своему тону и сказал:

— Итак, вы собираетесь получить некую машину, призванную делать вашу работу? Филантропические сомнения, несомненно, запрещают вам ездить в Новый Орлеан за рабами?

— Рабы? — снова став в мгновение ока угрюмым. — У меня их не будет! Довольно неприятно видеть, как белые кругом кланяются и улыбаются ради чьего-то предпочтения, не имея черномазых бедняг, копошащихся ради их хлеба. Хотя, по мне, черномазые будут посвободнее белых. Вы аболиционист, не так ли? — добавил он, обхватив обеими руками свою винтовку, используемую для опоры, и пристально смотря в лицо травяному доктору без малейшего почтения, как если бы тот был мишенью. — Вы аболиционист, не так ли?

— Относительно этого я не смогу с такой же готовностью ответить. Если аболиционистом вы считаете фанатика, то я не таков; но если вы имеете в виду человека, который, как человек, сочувствует всем людям, включая рабов, и любым неправомерным действиям, настроенным против чьего-либо интереса, и вследствие этого, не пробуждая никакой вражды, желал бы отменить страдание (предположив, что оно, в своём виде, существует) среди людей, независимо от цвета их кожи, тогда я тот, о ком вы говорите.

— Избранные и благоразумные чувства. Вы — либерал, бесценная мелкая сошка для злого человека. Вы, либерал, можете быть использова-

ны для плохого дела, но бесполезны для правого.

— Из всего этого, — сказал травяной доктор, всё ещё всепрощающе, — я вывожу, что вы, миссуриец, хоть и живёте в рабовладельческом штате, лишены духа рабства.

— Да, но вы-то? Не ваш ли характер столь бездуховно терпим и податлив, даже больше, чем характер раба? Кто ваш хозяин, умоляю; или вы принадлежите к компании?

— Мой хозяин?

— Да, вы прибыли из Мэна или Джорджии, значит, вы прибыли из рабовладельческого штата и узилища, где лучшие породы скупаются по любой цене, от средства существования до президентства. Аболиционизм — ваша религия, но экспрессивное сочувствие рабу — для раба.

— Глухомань, кажется, дала вам довольно эксцентричные понятия, — теперь уже с вежливым превосходством улыбнулся травяной доктор, с мужественной отвагой всё ещё сдерживающий каждый слабый выпад, — но вернёмся: с тех пор, как для вашей цели у вас не останется ни мужчины, ни мальчика, ни свободного, ни раба, тогда, действительно, такая машина для вас — это всё, что остаётся. Желаю, чтобы ваш успех сопут-

ствовал вам, сэр. Ах! — глядя на берег. — Вот мыс Жиродо, я должен вас оставить.

Глава XXII
Спор в вежливой манере эпохи Тускуланов

— Философско-информационная служба — свежая идея! Но как вы пришли к фантазии, что мне нужно что-то от вашей абсурдной брехни, а?

Приблизительно двадцать минут спустя после отплытия от мыса Жиродо вышеупомянутое ворчание слетело с уст миссурийца в адрес случайного незнакомца, который запросто обратился к нему: сутулый, с раскосыми глазами человек в скромном поношенном пятидолларовом костюме, увешанный, как мудрец, цепью с маленькой медной табличкой с надписью «Ф. И. С.», кто со своего рода собачьим тявканьем, крадучись, шёл позади.

— Как вы пришли к фантазии, что мне нужно что-то от вашей абсурдной брехни, а?

— О, уважаемый сэр, — заскулил другой, с глубоким поклоном подходя ближе, и, казалось, от его раболепия потёртые фалды качались позади. — О, сэр, на основе большого опыта один взгляд говорит мне о джентльмене, который

нуждается в наших скромных услугах.

— Ну, предположим, что мне действительно нужен был мальчик, что забавно называется хорошим мальчиком, — как ваша абсурдная служба может помочь мне? Философско-информационная служба.

— Да, уважаемый сэр, Ф. И. С., основанная на строго философском и физио…

— Посмотрите, подойдите сюда. Как философией или той же физиологией сделать хороших мальчишек под заказ? Подойдите сюда. Не заставляйте меня растягивать мышцы шеи. Подойдите сюда, подойдите, сэр, подойдите, — подзывая его, как своего пойнтера. — Скажите мне, как заложить необходимый ассортимент хороших качеств в мальчика, как разнообразный фарш в пирог?

— Уважаемый сэр, наша служба…

— Вы говорите много об этой службе. Где она? На борту этого корабля?

— О нет, сэр, я просто взошёл на борт. Наша служба…

— Появилась на борту на последней стоянке, да? Простите, вы знаете там травяного доктора? Скользкого проходимца в сюртуке табачного цвета?

— О, сэр, я всего лишь временно проживал на мысе Жиродо. Хотя теперь, когда вы упомянули сюртук табачного цвета, я думаю, что встретил того человека, о котором вы говорите, из числа сошедших на берег, как только ступил на борт, и заколите меня, если я видел его где-то прежде. Похож на очень скромного христианина, я должен сказать. Вы знаете его, уважаемый сэр?

— Не очень, но, кажется, лучше, чем вы. Продолжайте своё дело.

С низким, жалким поклоном, будто благодаря за разрешение, другой начал:

— Наша служба…

— Осмотритесь, — с яростью ворвался бакалавр, — у вас спинной недуг? Что вы кланяетесь и унижаетесь? Держитесь прямее. Где находится ваша служба?

— То отделение, которое я представляю, в Алтоне, сэр, теперь находится в свободном статусе, — с некоторой гордостью указывая на берег.

— Свободном, да? Вы — свободный человек, если вы так льстите самому себе? С этими фалдами и спинным недугом от рабства? Свободном? Не проще ли прикинуть вашими собственными мозгами, кто ваш владелец, не так ли?

— О, о, о! Я не понимаю, действительно, дей-

ствительно. Но, уважаемый сэр, как прежде было сказано, наша служба, основанная на принципах совершенно новых…

— К дьяволу ваши принципы! Это плохой признак, когда человек начинает говорить о своих принципах. Останьтесь, вернитесь, сэр; вернитесь сюда, назад, сэр, назад! Я не сказал вам, что мне нужно больше мальчиков. Нет, я — мидиец и перс. В моём старом доме в лесах мне достаточно надоедают белки, ласки, бурундуки, скунсы. Я хочу, чтобы более никакие дикие паразиты не портили мне настроение и не портили впустую моё имущество. Не говорите о мальчиках; достаточно ваших мальчиков, чума на ваших мальчиков, лихорадка на ваших мальчиков! Что касается информационных служб, то я живу на Востоке и знаю их. Мошеннические дела, относящиеся к циникам низкого происхождения под подлизывающейся внешностью, выдают их циничные преступные намерения по отношению к человечеству. Вы как раз подходящий экземпляр из этой компании.

— О дорогой, дорогой, дорогой!

— Дорогой? Да, трижды дорого обошлась бы мне покупка одного из ваших мальчиков. Сгниют пусть ваши мальчики!

— Но, уважаемый сэр, если у вас не будет мальчиков, то не могли бы мы в течение нашего недолгого пути обеспечить вас взрослым работником?

— Обеспечить? Умоляю, без сомнения, вы могли бы снабдить меня также и закадычным другом, не так ли? Обеспечить? Услужливое слово «снабдить»: существует, например, примечательная договорённость, где каждый обеспечивает другого ссудой, и если другой не выплатит её довольно быстро, то первый отправляет его с цепью на ноге. Снабдить!

— Бог запрещает мне быть обеспеченным. Нет, нет. Вы видели, как я сказал этому вашему кузену-немцу, травяному доктору, что я теперь на пути к созданию особой машины, способной делать мою работу. Машины для меня. Мой яблочный пресс — украдёт ли он мой сидр? Будет ли моя косилка лежать в постели по утрам? Мой кукурузоочиститель — будет ли он мне дерзить? Нет: яблочный пресс, косилка, кукурузоочиститель — все искренне проявляют внимание к своему делу. И бескорыстно; никакого питания, никакой заработной платы; и всё, что делают, — делают хорошо всю свою долгую жизнь; яркие примеры того, что достоинство — это их собственная награ-

да, — единственные практикующие христиане, которых я знаю.

— О дорогой, дорогой, дорогой, дорогой!

— Да, сэр, мальчики? Если начать с моих духовных стержней, то какая разница, с моральной точки зрения, между кукурузоочистителем и мальчиком! Сэр, кукурузоочиститель из-за своего долготерпения в добрых делах не смог бы из-за непригодности отправиться на небеса. Вы предполагаете, что мальчик так поступит?

— Кукурузоочиститель на небесах! — закатив свои глаза до белков. — Уважаемый сэр, сказать, что небеса — это своего рода Вашингтонский музей патентного бюро, — о, о, о! — как будто простая машинная работа и марионеточная работа уходит в небеса — о, о, о! Вещи, не приспособленные к свободе, получают вечное вознаграждение как хорошо работающие — о, о, о!

— Вы, Хвали-Бога Голые-кости[7], о чём вы стонете? Я говорю что-нибудь об этом? Мне кажется, что, хотя вы и говорите столь хорошо, вы можете быстро перейти на другую тему. Или же вы хотите выбрать полемику со мной?

Это возможно и так, и иначе, уважаемый сэр, —

---

7 Примечания: 7

Прозвище английского проповедника 17 века Прейзгода Бербоуна — Прим. пер.

последовал скромный ответ, — но если это так, то только из-за того, что как солдат без чести быстро отвечает на оскорбление, так и христианин без веры иногда бывает более-менее скор в поисках ереси.

Хорошо, — после удивлённой паузы, — для такой необъяснимой пары, как вы и травяной доктор, должен иметься общий хомут.

Сказав это, бакалавр поглядел на него уже резко, пока медная табличка не напомнила ему об обсуждении, намекнув, что человек с медной табличкой и далее весьма заботливо выслушает его на предмет слуг.

— В этом вопросе, — воскликнул импульсивный бакалавр, устремившись при намёке, как ракета, — все интеллектуальные умы в наше время приходят к выводу — единственному полученному из огромного наследственного опыта, — видя то, о чём говорят Гораций и другие античные писатели о слугах, — приходят к выводу, о котором я сказал, что мальчик или мужчина — это разумные животные и в большинстве работ проигрывают животным. Им не может быть доверия; они менее заслуживают доверия, чем волы; по исполнительности собака-вертел превосходит их. Следовательно, эти

тысячи новых изобретений — ворсочесальные машины, подковные машины, туннельные бурильные машины, жатки, яблокоочистительные машины, машины для чистки обуви, швейные машины, бреющие машины, машины для побегушек, кухонные лифты, и только Бог знает, какие ещё машины, — все они объявляют об эре, когда это упрямое животное, работающее или обслуживающее человека, должно будет остаться в прошлом, превратившись в окаменелость. Вскоре перед этим великолепным временем, я не сомневаюсь, будет объявлена цена на их шкуры как на лживых «опоссумов», особенно мальчишек. Да, сэр (со стуком опустив свою винтовку на палубу), я рад думать, что настанет день, когда, согласно закону, я возьмусь за это оружие и выйду стрелять в мальчишек.

— О, сейчас! Господи, Господи, Господи! Но… наша… служба, уважаемый сэр, провела, как я рискнул заметить…

— Нет, сэр, — полностью погружая свой щетинистый подбородок в енотовый воротник. — Не пытайтесь умастить меня, травяной доктор это уже пробовал. Мой опыт, который прошёл теперь через вереницу — хуже, чем избавление, — вереницу из тридцати пяти мальчишек,

доказывает мне, что детство — естественное состояние мошенничества.

— Спаси нас, спаси нас!

— Да, сэр, да. Меня зовут Питч, я отвечаю за свои слова. Я говорю на основе пятнадцатилетнего опыта; тридцать пять мальчишек: американцы, ирландцы, англичане, немцы, африканцы, мулаты, не говоря о том китайском мальчике из Калифорнии, посланном мне тем, кто хорошо знал мои проблемы; и этот мальчик Ласкар из Бомбея. Головорез! Я нашёл его высасывающим жизнь из эмбрионов в моих весенних саженцах. Все мошенники, сэр, каждый — белый или монголоид. Удивительные в бесконечном разнообразии мошенничества юные виды человеческой натуры. Я помню, что освободил от обязательств, одного за другим, двадцать девять мальчиков — каждого, между прочим, из-за некой злобы совершенно немыслимых разновидностей, каждая из которых характерна для каждого конкретного мальчика, — я не забуду сказать самому себе: конечно, теперь, дойдя до конца списка, полностью исчерпав его, я должен был только теперь получить для себя мальчика, любого мальчика, отличавшегося от тех двадцати девяти предыдущих мальчиков, и он непогрешимо должен быть

таким добродетельным мальчиком, которого я так долго искал. Но — благословите меня! — этого тридцатого мальчика — между прочим, в это время я долго отказывался от ваших информационных служб — мне прислали его комиссары по эмиграции, тщательно отобранного со всего пути из Нью-Йорка по идеалу, по моему детальному запросу из постоянной армии восьмисот мальчиков всех цветов кожи, как они написали мне, временно пребывающих в бараках на острове Ист-Ривер, — я говорю, что этот тридцатый мальчик был лично весьма изящен; его покойная мать была горничной у леди или что-то вроде этого; и по манерам — почему нет? — в плебейском понятии прекрасный Честерфилд, очень вдумчивый, а также быстрый, как вспышка. Но какой учтивый! «Пожалуйста, сэр! Пожалуйста, сэр! — говорил он и всегда кланялся. — Пожалуйста, сэр». Самое странное также — это сплав сыновней привязанности с чёрным уважением. Про-явил такой горячий, исключительный интерес к моим делам. Требовал считать себя одним из членов семьи — вроде моего приёмного сына, как я предполагаю. Утром я было вошёл в мою конюшню, ожидая, когда благородное дитя приведёт моего коня. «Пожалуй, сэр, я думаю, что он становится

толще и толще». — «Но он не выглядит очень чистым, не так ли? — не желая быть совсем резким со столь нежным юношей. — И он, кажется, немного похудел в бёдрах, не так ли? Или нет, возможно, я не увижу равнину этим утром». — «О, пожалуй, сэр, единственное, что я думаю, так это то, что это идёт ему, пожалуй, на пользу». Вежливый проходимец! Я скоро обнаружил, что он никогда не давал этому несчастному коню его овса ночью и также не укладывал его спать. Он оказался выше такой работы горничной. Никакого конца не было его преднамеренному пренебрежению. Но чем больше он тяготился службой у меня, тем более вежливым он становился.

— О, сэр, вы сделали неправильный выбор относительно него.

— Ничего подобного. Кроме того, сэр, он был мальчиком, который под внешностью честерфильдца скрывал сильные разрушительные наклонности. Он изрезал мою попону на кожаные кусочки для петель на своём сундуке, решительно это отрицая. После того как он ушёл, нашлись клочки под его матрацем. Также нарочно весьма хитро сломал рукоятку своей мотыги, чтобы избавиться от работы с ней. Предстал весь-

ма изящно кающимся из-за фатального избытка трудовых сил. На моё предложение всё исправить он избрал хороший метод для скорейшего расчёта — вишнёвые деревья в период полного плодоношения, — чтобы получить за сломанную вещь плату. Очень вежливо крал мои груши, случайные пенсы, шиллинги, доллары и орехи, регулярно откладывая про запас, как белка. Но я ничего не мог доказать. Высказал ему мои подозрения. Сказал довольно вежливо: «Немного меньше вежливости и немного больше честности скорее подошли бы тебе». Он вскипел: угрожал предъявить иск за клевету. Я ничего не буду говорить о том, что с ним было впоследствии, в Огайо, где его застали за процессом изящного перемещения железных полос через железнодорожный путь, по той причине, что истопник назвал его жуликом, каковым он и являлся. Но достаточно: вежливые мальчики или дерзкие мальчики, белые мальчики или темнокожие мальчики, умные мальчики или ленивые мальчики, белые мальчики или монгольские мальчики — все мошенники.

— Потрясающе, потрясающе! — нервно подворачивая потёртый конец своего шейного платка, чтобы скрыть его из виду. — Конечно, уважаемый

сэр, вы поглощены прискорбной галлюцинацией. Да ведь у вас, снова прошу прощения, кажется, нет ни малейшей веры в мальчиков; я признаю, действительно, что мальчики, некоторые из них, по крайней мере, слишком склонны к одному небольшому глупому недостатку или другому. Но что будет дальше, уважаемый сэр, когда естественным образом они наконец перерастут это состояние, и полностью?

До сих пор выражая свои мысли главным образом в виде жалких реплик, похожих на собачий плач и стон, человек с медной табличкой, казалось, начал проявлять более смелое желание менее осторожного спора. Но произнесённое им эссе, не очень бодро воспринятое, с разговорной незамедлительностью было продолжено следующим образом:

— Мальчики перерастают те недостатки, что в них находятся? Из плохих мальчиков получаются хорошие мужчины? Сэр, «ребёнок — отец мужчины», следовательно, поскольку все мальчики — мошенники, то и все мужчины тоже. Но, благослови меня Бог, вы должны знать эти вещи лучше, чем я, учитывая наличие информационной службы, в которой вы трудитесь; это предприятие должно было вас снабдить специфи-

ческими средствами для изучения человечества. Ну, подойдите сюда, сэр; признайтесь, что вы знаете эти вещи вполне прилично, в конце концов. Вы не знаете, что все мужчины является мошенниками и все мальчики тоже?

— Сэр, — ответил другой, испытывая чувство злобы от потрясения, казалось, уязвившего некий дух, но не до конца. — Сэр, хвала небесам, я далёк, очень далёк от тех мыслей, которые вы излагаете. Правда, — он глубокомысленно продолжал, — мы с моими партнёрами, с которыми я содержу информационную службу, в течение десяти лет с приходом октября тем или иным путём, бывает, затрагиваем эту тему, и в течение немалого периода времени в большом городе Цинциннати тоже; и потому, как вы намекаете, в пределах этого долгого периода у меня имелась более или менее благоприятная возможность для изучения человечества — по ходу дела, не только просматривая лица, но и изучая жизни нескольких тысяч людей, мужчин и женщин, из различных стран, работодателей и работников, благородных и неблагородных, образованных и необразованных; всё же, конечно, я искренно признаю, с некоторыми случайными исключениями, пока проходило моё скромное наблюдение, что

нашёл это человечество, рассматриваемое внутри страны, рассматриваемым, можно сказать, с верой, и оно в целом — делая некую разумную скидку на человеческие недостатки — предстаёт в столь чистом моральном облике, какой мог бы пожелать самый чистый ангел. Я говорю это, уважаемый сэр, вполне уверенно.

Вздор! Вы понятия не имеете о том, что говорите. Ещё вы походите на сухопутного человека в море, досконально не знающего самые важные вещи, прежде навеки закрывшие ваши веки. Подобно Змею, они проскальзывают мимо, весьма тонко скрывая от вас цель путешествия. Короче говоря, всё судно — загадка. Да ведь вы, по молодости, не знаете, было ли оно мореходным, но, тем не менее, держась большими пальцами за проймы, шагаете по гнилым доскам, припевая, как дурак, слова, вложенные в ваш юный рот хитрым судовладельцем, человеком, который посылает свой хорошо застрахованный корабль на погибель:

Влажный парус и морское теченье!

И, сэр, теперь, когда это происходит со мной, все ваши слова совсем не влажный парус, и морское теченье, и праздный ветер, который скоро

последует, а представляют собой поразительный контраст по отношению к моим собственным аргументам.

— Сэр, — воскликнул человек с медной табличкой, его терпение теперь уже более или менее истощалось, — разрешите мне с уважением намекнуть, что некоторые ваши замечания неразумно сформулированы. И то же самое мы говорим нашим клиентам, когда они приходят в наш офис, изрыгая брань на нас из-за некоего достойного мальчика, которого мы смогли послать им, — некоего мальчика, полностью недооценённого на время. Да, сэр, разрешите мне отметить, что вы недостаточно хорошо понимаете то, что хотя я и маленький человек, но у меня всё же имеется своя небольшая доля чувств.

— Ну, хорошо, я вообще не хотел ранить все ваши чувства. И что они маленькие, очень маленькие, я верю на слово. Жаль, жаль. Но правда походит на молотилку, нежная чувствительность должна держаться в стороне от дороги. Надеюсь, вы понимаете меня. Не хочу причинять вам боль. Всё, о чём я говорю, — так это то, что я сказал в первую очередь, только теперь я клянусь, что все мальчишки — мошенники.

— Сэр, — мягко ответил другой, всё ещё сдер-

живаясь, как старый адвокат, изводящий суд, или же как добросердечный простак, случайно ударивший кого-то при взмахе. — Сэр, так как вы возвращаетесь к вопросу, позволите ли вы мне в своей скромной, спокойной манере представить вам несомненно скромные, спокойные аргументы из имеющихся у меня?

— О да! — с оскорбительным безразличием, потирая свой подбородок и смотря в другую сторону. — О да, продолжайте.

— Ну, тогда, уважаемый сэр, — продолжал другой, сейчас же принимая настолько благородную осанку, насколько позволял ему его раздражающий всех пятидолларовый костюм, — хорошо, тогда, сэр, специфические принципы, строго философские принципы, как я сказал, — осторожно повышая тон и поднимаясь на цыпочки, — на которых основана наша служба, привели меня и моих партнёров в нашей спокойной и скромной деятельности к тщательному аналитическому исследованию человека, проводимому также на основе незаметной теории и ради нашей собственной абсолютно незаметной цели. Эту теорию я не буду сейчас в полной форме излагать. Но некоторые открытия, вытекающие из неё, я, с вашего разрешения, очень кратко упомяну; те

из них, которые, как я полагаю, относятся к состоянию детства, рассматриваемому с научной точки зрения.

— Тогда вы изучили предмет? Явно изучили мальчиков, а? Почему же вы не сказали этого прежде?

— Сэр, в моём малом бизнесе я не разговаривал со столь многими хозяевами, благородными хозяевами, просто так. Мне преподали, что в этом мире предшествующее мнение аналогично старшинству среди людей. Вы любезно изложили мне ваши взгляды, я теперь скромно собираюсь изложить вам мои.

— Остановитесь, не углубляйтесь. Продолжайте.

— Во-первых, сэр, наша теория учит нас продолжать двигаться по аналогии от природы к морали. Мы правы, сэр? Теперь, сэр, возьмите молодого мальчика, молодого младенца мужского пола, скорее, мужчину-ребёнка в миниатюре, — что, сэр, я с уважением спрашиваю, вы в первую очередь видите?

— Мошенника, сэр! Настоящего и предполагаемого мошенника!

— Сэр, если вторгается страсть, то, конечно же, наука должна отступить. Могу я продолжать?

Ну, тогда, что, во-первых, по общему мнению, замечаете вы, уважаемый сэр, в этом ребёнке мужского пола или в человеке-ребёнке? Бакалавр втайне продолжал ворчать, но на сей раз в целом лучше управляя собой, чем прежде, впрочем, благоразумно не решаясь в какой-либо степени рисковать членораздельным ответом.

— Что вы замечаете? Я с уважением повторяюсь. — Но, поскольку никакого ответа не последовало, кроме низкого, наполовину подавленного рычания, как от косолапого мишки из дупла в стволе, интервьюер продолжал: — Ну, сэр, если вы разрешите мне с моей скромной стороны выступить за вас, вы заметите, уважаемый сэр, растущее создание, вырвавшийся на свободу оторвавшийся элемент; маленький пробный набросок на мятой бумаге или небрежный аналог, если можно так выразиться, человека. Идея, вы видите, уважаемый сэр, уже есть, но пока ещё не полная. Одним словом, уважаемый сэр, представленный человек-ребёнок в настоящее время в любом случае мал; я не претендую отрицать его, но тогда он многообещающий, не так ли? Да, обещает, могу сказать, действительно много хорошего. (Поэтому мы также сообщаем нашим клиентам о некоем благородном маленьком

мальчике, противящемся тому, чтобы быть карликом.) Но продвинемся на один шаг далее, — вытягивая свою потёртую ногу, как бы делая ближний пас. — Мы должны теперь снять фигуру с мятой бумаги и заимствовать её — чтобы использовать теперь, когда требуется, — из ботанического королевства. Некий зародыш, зародыш лилии, пожалуй. Тогда те свойства, которые есть у новорождённого мужчины-ребёнка, — пока ещё не полные, что желательно, я вынужден в этом признаться, — уже такие, какие есть, и действуют так же, как и у взрослых. Но мы здесь не останавливаемся, — делая ещё шаг, — мужчина-ребёнок не только обладает этими существующими чувствами, хотя и малыми, но, используя аналогию, — теперь наше ботаническое изображение играет роль, — как бутон лилии, он уже содержит другие скрытые рудименты; это свойства, в настоящее время невидимые, с достоинствами, в настоящее время бездействующими.

— Ну-ка, этот разговор становится слишком садоводческим и красивым в целом. Прервите его, прервите его!

— Уважаемый сэр, — с туповатой военной жестикуляцией, как у ослабевшего капрала, — когда

в авангарде на поле нашей дискуссии развёртывается важный аргумент, намного более развивающий великие основные силы новой философии мальчиков, о которой я уже сказал, то, конечно же, вы любезно разрешите соответствующую жестикуляцию, маленькую и скромную, которая будет соответствовать моменту. Действительно ли стоит всё это продолжать, уважаемый сэр?

— Да, перестаньте углубляться и продолжайте.

Подгоняемый такими словами, философ с медной табличкой снова продолжил свою речь:

— Предположим, сэр, что достойный джентльмен (в таких терминах, как «претендент на обслуживание», мы ссылаемся на некоего клиента, которого мы, в зависимости от случая, имеем в виду), предположим, уважаемый сэр, что достойный джентльмен Адам сброшен ночью в Эдем, как телёнок на пастбище; предположим это, сэр… как тогда могла даже самая известная змея предвидеть, что такой невинный малыш с пушистым подбородком в конечном счёте составит конкуренцию козлу с бородой? Сэр, при мудрости, которой обладал Змей, эта возможность была полностью скрыта от его разума.

— Я не знаю этого. Дьявол очень проницателен. Если рассудить, то он, кажется, понял человека

даже лучше, чем та сущность, что создала его.

— Ради Бога, не говорите так, сэр! Вернёмся к этому пункту. Можно ли теперь справедливо отрицать, что, имея бороду, мужчина-ребёнок в перспективе обладает свойством не менее внушительным, чем у человека почтенного; и из-за этой славной бородки не должны ли мы из чувства великодушного предвкушения выдать мужчине-ребёнку, даже лежащему в его колыбели, кредит? Разве не сейчас, сэр? Я с уважением предлагаю это.

— Да, если, как кипрей, он скоро не скосит его, как только тот взойдёт, — по-поросячьи протирая свой щетинистый подбородок о свою енотовую шкуру.

— Я намекнул на аналогию, — продолжал другой спокойно, не обращая внимания на отклонение от темы, — теперь к её применению. Предположим, что мальчик не проявляет благородных качеств. Тогда великодушно дайте ему кредит на перспективу. Не видите? Так мы говорим нашим клиентам, когда они желают вернуть мальчика нам как недостойного: «У госпожи или господина (в зависимости от обстоятельств) этот мальчик имеет бороду?» — «Нет». — «А он, мы с уважением спрашиваем, к настоящему

времени проявил какое-то благородное качество?» — «Нет, действительно». — «Тогда, леди или сэр, заберите его, кротко умоляем вас, и держите его до появления тех же самых ростков благородных качеств — из-за веры, что они, как борода, находятся в нём».

— Весьма прекрасная теория, — презрительно воскликнул бакалавр, всё же втайне, возможно, не полностью оставшийся равнодушным к такому странному новому взгляду на эту материю, — но вера во что должна тут присутствовать?

— Вера в прекрасную уверенность, сэр. Продолжаю. Ещё раз с благодарностью охарактеризую мужчину-ребёнка.

— Держитесь! — толчком, словно лапой, он подтолкнул его руку и уложил на медвежью шкуру. — Не навязывайте мне этого мужчину-ребёнка слишком часто. Тот, кто не любит хлеб, до безумия не любит тесто. Как такая мелочь, как ваш мужчина-ребёнок, будет признана как ваша логическая установка?

— Снова охарактеризую мужчину-ребёнка, — с вдохновенной отвагой повторил человек с медной табличкой, — в перспективе тех событий, которые я подразумеваю. Вначале у мужчины-ребёнка нет зубов, но не после шестого месяца, — я

прав, сэр?

— Ничего не знаю об этом.

— Тогда чтобы продолжить: начав с нехватки зубов, с шестого месяца человек-ребёнок начинает показывать зубки. И нежные сахарки потихоньку лезут дальше.

— Точно, но удаляются непосредственно из его рта, почти ничего не стоя.

— Допускаю. И поэтому мы говорим нашим клиентам, возвращающимся с мальчиком не только с предполагаемым отсутствием хороших качеств, но и с избытком плохих: «Этот юноша, леди или сэр, проявляет очень скверные качества, не так ли?» — «Им нет конца». — «Но, уверен, будет; умоляю, леди, в этом раннем детстве у парня не было этих первых хрупких зубов, затем он ими обзавёлся, красивым и постоянным набором. И наиболее нежелательным стали не те первые зубы, а желание искать быструю замену существующему содержанию, пусть даже красивую и постоянную, что мы, леди, с уважением доказываем». — «Правда, верно, невозможно отрицать этого». — «Тогда, леди, заберите его, с уважением просим мы, и ждите, пока теперь в быстром движении природы не исчезнут те моральные пятна, на которые вы жалуетесь, взамен

которых расцветёт иное содержание, более того, с прекрасными и постоянными достоинствами».

— Снова очень по-философски, — прозвучал высокомерный ответ, направленное наружу презрение, возможно зависящее от внутреннего сомнения. — Очень по-философски, действительно, но говорите — продолжайте вашу аналогию. Начиная со вторых появившихся зубов — фактически вышедших из первых, нет ли какого-либо шанса, при котором пятно может быть передано?

— Нисколько, — смиренно смягчаясь из-за извлечения пользы из аргумента, — вторые зубы вырастают, но не появляются из первых; преемники, но не сыновья. Первые зубы не походят по цвету на зародыш яблока, и однажды отец, объединяющий их, предвещает этот рост, но выталкивает их с их места независимым подлеском, следующим за завязью, — иллюстрация, которая, между прочим, показывает мне больше, чем я имею в виду, хотя и не больше того, что я желаю.

— О чём это говорит? — неприветливо глядя, как грозовая туча, с волнением не признавая убеждений.

— Это показывает, уважаемый сэр, что в случае с любым мальчиком, особенно плохим,

применимо безоговорочно высказывание, что «ребёнок — отец мужчины», если не допускать жестокую клевету на нацию, подтверждающую мысль, весьма широко из…

— Это ваша аналогия… — глядя, как спрятавшаяся черепаха.

— Да, уважаемый сэр.

— Но где аргумент аналогии? Вы же острите.

— Острю, уважаемый сэр? — с расстроенным видом.

— Да, вы играете идеями, как любой другой со словами.

— О, хорош тот, сэр, кто всегда говорит в такой манере, а у кого нет веры в человеческий разум, кто презирает человеческий разум, с ним бесполезно рассуждать. Однако, уважаемый сэр, — изменяя свой тон, — разрешите мне намекнуть, что, не имея силы аналогии, слегка подталкивающей вас, вы едва ли предположите, что этот разум презирает её.

— Разговор зашёл далеко, — презрительно, — но, умоляю, скажите мне, как используется последняя ваша аналогия в вашей информационной службе?

— Она используется везде, уважаемый сэр. От этой аналогии мы получаем ответ, даваемый

такому клиенту, который вскоре после получения взрослого слуги предлагает нам забрать его обратно; когда клиент говорит, что взрослый работник дал повод для претензий лишь потому, что клиент случайно услышал что-то нехорошее о нём от некоего джентльмена, который использовал его, по словам этого джентльмена, значительно ранее, в то время, когда работник был ещё мальчиком. Этому слишком придирчивому клиенту мы, взяв указанного взрослого за руку и заново любезно представив его клиенту, говорим: «Далеко ему от вас, леди или сэр, продолжающим осуждение этого взрослого в духе странного закона, имеющего обратную силу. Леди или сэр, вы смотрели на гусениц бабочек? В естественном развитии всех существ разве они не хоронят себя, снова бесконечно возрождаясь и становясь всё лучше и лучше? Леди или сэр, заберите этого взрослого; он, возможно, был гусеницей, но теперь это бабочка».

— Игра слов зашла далеко, но, даже принимая вашу аналогию как игру слов, что это даёт в сумме? Гусеница была одним существом, и бабочка является другим? Бабочка — это гусеница в безвкусном плаще, лишённая длинного веретенообразного тела, по форме в значительной

степени похожая на червя.

— Вы отклоняете аналогию. Тогда обратимся к фактам. Вы отрицаете, что молодой человек одного характера может быть преобразован в человека характера противоположного. Тогда сейчас — да, такие факты у меня есть. Есть основатель аббатства Ла-Трапп и Игнатий Лойола; в детстве они оба имели при некоторой мужественности безрассудную кровь, и всё же, в конце концов, удивили мир затворническим самообладанием. Эти два примера, между прочим, мы приводим таким клиентам, которые поспешно готовы вернуть нам распутных молодых слуг. «Леди или сэр — терпение; терпение, — говорим мы, — славная леди или сэр, хотели бы вы освободиться от своей бочки хорошего вина, потому что в процессе вашей работы она вас чем-то раздражает? Тогда не трогайте больше этого молодого слугу, в его работе есть польза». — «Но он весьма распущен». — «В этом его смысл, повеса — сырой материал для святого».

— Ах, вы — говорливый человек, тот, кого я называю человеком многословным. А вы говорите, говорите.

— Подчиняюсь вам, сэр, и спрашиваю, кто является самым великим судьёй, епископом или

пророком, если не говорящий человек? Он говорит, говорит. Это специфическое призвание учителя — говорить. Что такое сама мудрость, если не застольная беседа? Лучшая мудрость в этом мире и последняя, как сказал учитель, разве не воистину буквально переходят в форму застольной беседы?

— Вы, вы, вы! — ударяя о пол своей винтовкой.

— Сдвиньте предмет, если мы не можем согласиться. Умоляю, каково ваше мнение, уважаемый сэр, святой Августин?

— Святой Августин? Что я или вы должны знать о нём? Мне кажется, что, действительно, для человека в таком бизнесе, не говоря уж о вашем пальто, вы хоть и не знаете многого, но всё же знаете намного больше, чем вы должны знать, или что вы имеете право знать, или то, что безопасно или целесообразно для вас знать, или то, что при нормальном течении жизни вы сможете честно изведать. По моему мнению, ваше предназначение то же, что и у еврея в Средневековье с его золотом; вы недостаточно хорошо понимаете, как правильно использовать знание, взятое от вас. Так я думаю.

— Вы веселы, сэр. Но вы немного изучали святого Августина, как я полагаю.

— «Святой Августин о первородном грехе» — мой учебник. Но вы, я снова спрашиваю, где вы находите время или место для этих отвлечённых размышлений? Фактически весь ваш разговор, чем больше я думаю о нём, в целом кажется беспрецедентным и экстраординарным.

— Уважаемый сэр, я не сейчас сообщил вам, что довольно новый метод, строго философский, на котором основана наша служба, привёл меня и моих партнёров к более серьёзному исследованию человечества. Было бы моей ошибкой, если бы я аналогичным образом не намекнул, что эти исследования всегда направлялись на научное обеспечение хорошими слугами всех видов, включая мальчиков, для добрых господ, наших клиентов, — что эти исследования, как я сказал, были проведены одинаково как среди всех книг всех библиотек, так и среди всех людей всех стран. Тогда вам скорее нравится святой Августин, сэр?

— Превосходный гений!

— В некоторых пунктах — да; всё же в том, что вышло из-под его собственной руки, святой Августин признаётся, что до своего тридцатилетия был очень грустным псом?

— Святой — грустным псом?

— Не святой, а маленький безответственный предшественник святого — мальчик.

— Все мальчишки — мошенники, и таковыми являются все люди, — снова отлетело по касательной. — Моё имя — Питч, я отвечаю за свои слова.

— Ах, сэр, разрешите мне — когда я буду в канун этого мягкого лета созерцать вас, столь эксцентрично одетого в шкуры диких животных, я не смогу не заключить, что одновременно мрачное и несвоевременное облачение подходит к вашему уму, но эксцентричное воззрение не имеет никакой опоры в вашей подлинной душе, и не более, чем в самой природе.

— Ну, воистину, теперь — воистину, — волновался бакалавр, не тронутый в своей сути этой смягчённой характеристикой, — действительно, действительно, теперь я не знаю, ну, что я, возможно, был немного слишком жёсток к тем тридцати пяти моим мальчишкам.

— Я рад видеть вас несколько смягчившимся, сэр. Кто знает теперь, но это гибкое изящество, хоть и весьма сомнительное у этого вашего тридцатого мальчика, возможно, было шелковистой шелухой от самых крепких свойств зрелости. Тут, возможно, с ним случилось то же самое, что

и с початком индейской кукурузы.

— Да, да, да, — взволнованно закричал бакалавр, как будто на него пролился свет от новой иллюстрации, — да, да; и теперь когда я думаю о нём, то вспоминаю, как я часто с грустью наблюдал за своим маисом в мае, задаваясь болезненным вопросом: могут ли полусъеденные ростки когда-нибудь вырасти жёсткими величественными стеблями в августе?

— Самое замечательное отражение, сэр, и вам лишь стоит, согласно аналогичной теории, впервые принятой нашей службой, применить её к этому тридцатому рассматриваемому мальчику и увидеть результат. Не отдай вы этого тридцатого мальчика — пациента с его болезненными достоинствами, если б взрастили бы их, мотыжа почву вокруг, то почему бы великолепной награде не стать вашей, когда, наконец, у вас появился святой Августин в качестве конюха.

— Действительно, действительно — хорошо, я рад, что не отправил его в тюрьму, как сначала планировал.

— О, это было бы слишком плохо. Допускаю, что он был порочен. Мелкие недостатки мальчиков походят на невинные удары копыт пока ещё слабо приструченных жеребят. Некото-

рые мальчики не знают о достоинствах всего лишь по той же самой причине, по которой они не знают французского языка; их этому никогда не учили. Учреждённые на принципах родительского милосердия ювенальные приюты существуют согласно закону в пользу парней, осуждённых за действия, за которые, будучи взрослыми, они получили бы другую награду. Почему? Потому что, делая то, что следует, общество, как и наша служба, в основе своей имеет христианскую веру в мальчиков. И всё это мы говорим нашим клиентам.

— Ваши клиенты, сэр, кажутся вашими морскими пехотинцами, которым вы можете что-то сказать, — сказал другой, вновь возвращаясь к прежним мыслям. — Почему знающие работодатели избегают молодых людей из приютов, хотя их и предлагают в работу за самое маленькое жалование? Я не буду ни одного из ваших мальчиков перевоспитывать.

— Такого мальчика, уважаемый сэр, я не дал бы вам, но этого мальчика никогда не нужно будет перевоспитывать. Не улыбайтесь, хотя коклюш и корь — детские болезни, всё же некоторые подростки никогда не болеют ими, поэтому есть также мальчики, одинаково избавленные

от юношеских недостатков. Правда, для лучшего из мальчиков корь может оказаться заразной, и скверные ситуации портят хорошие манеры; но мальчик со здравым умом в здоровом теле — это тот мальчик, которого я отдал бы вам. Если до настоящего времени, сэр, вас больше обычного поражали нездоровые черты мальчиков, то теперь у вас больше надежд на хорошие.

— Это кажется разумным, так оно и есть — похоже, так, пожалуй. В примере, который вы привели, очень много глупостей, очень глупых и абсурдных мыслей, и всё же в целом ваша беседа была такой, что могла бы почти принудить кого-то менее подозрительного, чем я, принять определённую условную веру в вас, и я также почти готов обратиться к вашей службе. Теперь, посмявшись над этим, допустив, что даже у меня, у меня самого действительно имелся бы этот вид условной веры, хотя бы её зерно, то какого мальчика, если рассудить, вы могли бы послать ко мне? И каков будет ваш сбор?

— Учитывая, — ответил другой несколько надменно, усиливая теперь красноречие, как и его прозелит, из-за всех его возражений, пропитанных убеждениями, — учитывая параметры, включающие заботу, учение и труд, превыша-

ющие обычные в родственных учреждениях, Философско-информационная служба вынуждена будет запросить несколько выше, чем принято вообще. Короче, наш сбор — три доллара вперёд. Что касается мальчика, то по счастливой случайности у меня сейчас на примете есть очень многообещающий маленький приятель — действительно очень подходящий маленький приятель.

— Честный?

— Какой долгий день! Я мог бы доверить ему несказанные миллионы. Судя, по крайней мере, по краевым обследованиям френологической диаграммы его головы, представленной мне матерью.

— Какого возраста?

— Полных пятнадцати лет.

— Высокий? Крепкий?

— Необыкновенно крепкий для своего возраста, как отметила его мать.

— Трудолюбивый?

— Как пчела.

— Бакалавр впал в беспокойную мечтательность. Наконец весьма неуверенно он сказал:

— Думаете ли вы теперь, что искренне — я говорю искренне, искренне — я могу иметь некое

малое, ограниченное, некое слабое, в условной степени, доверие к этому мальчику? Искренне, теперь?

— Искренне — можете.

— Здравомыслящий мальчик? Хороший мальчик?

— Никогда ещё не знал ни одного такого.

Бакалавр снова впал в нерешительную мечтательность, затем сказал:

— Хорошо, сейчас вы предложили некие довольно новые взгляды на мальчиков, да и на остальных людей. Эти взгляды я в настоящее время конкретно отказываюсь разделять. Однако просто ради доброго научного эксперимента я испытаю этого мальчика. Я не думаю умом, что он ангел. Нет, нет. Но я испытаю его. Вот мои три доллара, и вот мой адрес. Пришлите его в течение двух недель, начиная с этого дня. Держите, вам нужны будут деньги для его проезда. Вот, — вручая их несколько неохотно.

— Ах, спасибо. Я забыл про его проезд. — Затем, поменяв тон и с серьёзным видом держа счета, продолжил: — Уважаемый сэр, никогда столь охотно я не дотрагивался до денег не то чтобы с чистой готовностью, нет, с определённым оживлением при оплате. Любой мне скажет, что у вас

есть прекрасная и непоколебимая вера в меня (не беря теперь в расчёт мальчика), иначе я буду вынужден с уважением вернуть эти деньги.

— Возьмите их, спрячьте их!

— Спасибо. Вера — обязательная основа для всех видов деловых сделок. Без неё торговля между человеком и человеком, как между страной и страной, как часы, убежала бы и остановилась. И теперь, если, против существующего ожидания, парень после всего проявит некую небольшую нежелательную черту, то не стоит, уважаемый сэр, опрометчиво увольнять его. Имейте, но не терпение, а только веру. Недостатки переходного периода скорее, чем кажется, исчезнут и изменятся по звучанию, форме и даже превратятся в постоянные достоинства. Ах, — глядя на берег гротескной отвесной формы, — есть дьявольская шутка, как говорится: скоро прозвонит звонок к высадке. Я должен пойти посмотреть повара, припасённого для владельца гостиницы в Каире.

Глава XXIII, где естественный пейзаж сильно воздействует на миссурийца, к которому, ввиду окольного пути вокруг Каира, возвращается его холодный припадок

В Каире старая застывшая форма Лихорадки всё ещё никак не закончит своё дело: это креольский могильщик Жёлтый Джек — его руки с мотыгой и лопатой не теряют своих навыков, в то время как дон Сыпной тиф, сохраняющий своё постоянное присутствие в компании со Смертью, Кэлвином Эдсоном и тремя могильщиками, с интересом нюхает зловонный бриз в болоте.

В сырых сумерках, наполненных москитами и искрящимися светлячками, корабль уже стоит перед Каиром. Он высаживает нескольких пассажиров и стоит, принимая новых на посадку. Склонившись над трапом, перекинутым на прибрежную сторону, миссуриец сквозь зыбкий туман видит, как болотиста и запущенна эта область, и самого его явственно грызёт его циничный ум, подобно собаке Апермантоса,

глодающей кость. Он вспоминает о нём, о человеке с медной табличкой, который должен был высадиться на этом злодейском берегу, и по этой причине, если не какой другой, начинает сомневаться в нём. Будто пациент, начавший пробуждаться от предательски полученной дозы хлороформа, он также наполовину угадывает, что он, философ, был невольно превращён в совсем нефилософского простофилю. Что за человеческая превратность света и тени! Он рассуждает о тайне человеческой сущности вообще. Он думает, что сочувствует Скрещённым костям, своему любимому автору, сообщившему, как можно хорошо проснуться утром, воистину, с очень хорошим самочувствием и проворным, как козёл, спасибо автору, даже будучи больным перед сном; но не даётся никакого совета, как таким образом можно проснуться мудрым и в тихом согласии, очень мудрым и очень тихим, уверяю вас, и при этом перед наступлением ночи, подобно атмосферному обману, представлять из себя качающегося болванчика. Здоровье и мудрость одинаково дороги и одинаково дёшевы как недолговечное имущество, на которое можно положиться.

Но где проскользнул входящий клин? Филосо-

фия, знание, опыт — оказались ли эти испытанные рыцари замка трусами? Нет, но неизвестный им враг, прокравшийся на южную сторону замка, приветливо — где там бдительность, привратник! — провёл переговоры. По сути, его снисходительная, слишком простая и общительная натура также предала его. Предупреждённый ею, он решает, что впредь должен быть немного желчным при общении.

Он разбирает лукавый процесс общительной беседы, во время которой, как ему показалось, человек с медной табличкой проник в него и сделал его таким дураком, как бы равнодушно убедив его отказаться от мысли, что разум при его исключительной недоверчивости слишком методически отнёсся к состязанию. Он пытается, но не может постичь манипуляцию — и ещё меньше манипулятора. Если человек — обманщик, то он таков скорее из-за любви к обману, чем из-за любви к добыче. Два или три грязных доллара — разве это повод для такого количества чистейших уловок? И вот полнота мыслей вынуждает его сдаться. Перед его внутренним взором — персоны: потёртый Талейран, обедневший Макиавелли, нездоровый Розенкрейцер — из-за чего-то, содержащегося в них во всех, он неопределённо

причисляет его к ним — предстают теперь в виде головоломки. Вынужденно, с неохотой он решает разобрать логический казус. Доктрина аналогий возвращается. Довольно ошибочная доктрина, выступающая против какой-либо одной предвзятости, но в подтверждение чего лелеющая неправдоподобные подозрения. Аналогично он соединяет косые обрезанные фалды характерного пальто со зловещим блеском в его глазах; он рассматривает гладкую плутовскую речь в свете передаваемой окольной значимости гладких скосов потёртых пяток его ботинок, втирающуюся исподволь, по-холуйски волнообразную, подражающую тем лакейским животным, что всю жизнь ползают на своём животе.

От этой безрадостной мечтательности он пробуждается из-за сердечного удара по плечу, сопровождаемого пряным облаком табачного дыма, из которого исходит голос, сладкий, как голос серафима:

— Даю пенс за ваши мысли, мой добрый друг.

Глава XXIV
Филантроп обязуется переубедить мизантропа, при этом не опровергая его

— Уберите руки! — крикнул бакалавр, невольно прервав угрюмое уныние.

— Уберите руки? Это характерная для вас фраза. У кого из вашего общества нет искреннего желания ощутить ворс прекрасной ткани, особенно когда её носит мой славный друг!

— И кем из моих прекрасных друзей вы можете оказаться? Не из бразильцев ли? Птица тукан. Прекрасные перья на грязном теле.

Это неблагородное упоминание о тукане, весьма вероятно, касалось не оттенков цвета, а, скорее, пера незнакомца, совсем, как казалось, не фанатика, но сторонника либерализма, одетого в платье из платяного шкафа, которое могло найтись, пожалуй, где угодно, и не только в либеральном Миссисипи, привыкшем ко всем видам фантастической непринуждённости, где даже наблюдатели, менее критически настроенные, чем бакалавр, могли бы выглядеть, во всяком случае,

немного незаурядно, и не более чем сам бакалавр в упомянутом уже костюме из медведя и енота. Короче говоря, незнакомец носил одеяние, исключавшее какие-либо оттенки, преобладающие в кошенили, в стиле которого смешались горный плед, одеяние эмира и французская блуза; из этого сплетения выглядывали проблески рубашки для регаты в цветочек, в то время как остальные белые выбросы, как у утки, свисали над шлёпанцами коричнево-малинового цвета, и весёлая кепка курильщика королевского фиолетового цвета венчала его макушку; очевидно, это был король путешествующих весельчаков. Всё было гротескным, но ничего не смотрелось резким или ненужным; всё, казалось, сидело легко, как, по меньшей мере, обычная вещь, как обычная перчатка. Эта приветливая рука, которая запросто легла на неприветливое плечо, была теперь небрежно заткнута, по матросской моде, за своеобразный индийский пояс, сдерживающий избыток одежды; другая держала длинный яркий вишнёвый ствол нюрнбергской курительной трубки с большим фарфоровым шаром, украшенным миниатюрными сопряжёнными доспехами и оружием сопредельных стран — вульгарнейшего вида. Как только тонкая

насыщенная смягчённая табачная эссенция созревала в шаре, она уже смотрелась выходящим из-за щеки неким подобием внутреннего духа с розовым оттенком. Но розовый шар или розовое лицо — всё терялось на фоне этого бесцветного человека, и бакалавр, дождавшись тряски, вызванной возобновлением движения корабля, немного отступил и продолжал:

— Послушайте, — глумливо разглядывая кепку и пояс, — вы когда-нибудь видели сеньора Марцетти в африканской пантомиме?

— Нет. Хороший исполнитель?

— Превосходный; играет умную обезьяну до тех пор, пока сам не становится ею. С такой естественностью он может достичь того, что бессмертным духом в эту обезьяну и войдёт. Но ваш-то хвост где? В обезьяньей пантомиме Марцетти нет лицемерия, он сам этим гордится.

Незнакомец уже спокойно посторонился и добродушно оперся на одно бедро, его правая нога оказалась полулежащей на другой, и своей отвесно висевшей на пальце ноги комнатной туфлей он легко указал вниз на палубу, источая аромат долгой, неторопливой, безразличной и благородной затяжки, означающей, что он более или менее сдержанный светский человек, который

по характеру, как и его противоположность, искренний христианин, не всегда скор на обиду; и затем, приблизившись, всё ещё дымя, снова положил свою руку, на сей раз не столь внушительно, на медвежье плечо и весьма дружелюбно сказал:

— Это в вас… достаточно… мужественные, не… немногие непредубеждённые наблюдатели сомневаются; но это должным образом регулируется… твёрдой рукой в мягкой перчатке… можно признаться, что я так думаю из-за честных сомнений. Мой дорогой друг, — озаряя его светом своих глаз, — какую рану я нанёс вам, если вы приняли моё приветствие со столь малой любезностью?

— Руки прочь, — ещё раз отодвигая от себя дружелюбного собеседника. — Каково имя тех больших шимпанзе, с кем сходны вы, Марцетти и другие болтуны, шумящие так же, как и вы?

— Космополит, католик; тот, кто, будучи таковым, не связывает себя узким кругом из портных или учителей, но объединяет в своём сердце, как и в одеянии, разных храбрых людей под разными солнцами. О, ни один человек напрасно не бродит по галантному земному шару. Это порождает братство и слияние чувств. Ни один человек не чужд мне. Я обращаюсь к кому угодно. Тепло

и доверчиво, не ради движения вперёд. И хотя, действительно, меня в этом случае встречают без очень горячей поддержки, всё же принцип истинного гражданина мира всё ещё должен обернуться благом для больного. Мой дорогой друг, скажите мне, чем я могу послужить вам.

— Послав себя, господин Всемирный Попугай, в сердце Лунных гор. Как раз для вас. Скройтесь из виду!

— Действительно ли человечество так уж неприятно вам? Ах, может, я и глуп, но со своей стороны во всех его аспектах я люблю его. Будь это а-ля поляк или а-ля мавр, а-ля марианец или а-ля янки, это славное блюдо, человек, всё ещё восхищает меня; или, скорее, человек — это вино, которое я никогда не устану смаковать и потягивать; поэтому я законченный космополит, своего рода Знаток лондонских доков, бредущий от Тегерана до Натчиточеса, дегустатор народов, постоянно касающийся своими губами этого колоритного существа — человека — во всех его винтажах и выдержках. Но поскольку есть трезвые глотки, имеющие отвращение даже к амонтильядо, то и я предполагаю, что могут существовать трезвые души, которым не дано смаковать даже самые лучшие породы человече-

ства. Простите, но мне просто пришло в голову, что вы, мой дорогой друг, возможно, ведёте уединённый образ жизни.

— Уединённый? — привстав, словно уязвлённый.

— Да: в уединённой жизни каждый незаметно сокращает свои прихоти, — говорю теперь за самого себя.

— Подслушали, да?

— Почему же, солирующий в толпе едва ли не сможет быть услышанным и обойдётся без больших упрёков слушателей.

— Вы — соглядатай.

— Хорошо. Пусть будет так.

— Признаётесь самому себе, что вы соглядатай?

— Я признаюсь, что когда вы бормотали здесь, то я, проходя мимо, уловил слово или два — и так же случайно перед предыдущей вашей беседой с человеком из информационной службы; довольно разумный парень, между прочим, как раз с моим стилем рассуждений; для самого себя отмечу, что его платье было в моём стиле. Горько славным умам видеть человека с прекрасными мыслями, вынужденно скрытыми под оболочкой скверного покроя. Хорошо, из-за той малости, что

я услышал, я сказал себе: «Вот передо мной человек с безысходной философией, не уважающей личность. Эта болезнь, которую в основном я наблюдаю — простите меня, — возникла из определённой подавленности, если не угрюмости, атмосферы, неотделимой от потери имущества. Поверьте мне, ему лучше бороться и поступать, как другие. Плохое дело это — ждать хороших времён. Жизнь — пикник…, бал-маскарад, нужно принять участие, изобразить характер, быть готовым разумным способом свалять дурака. Войти в простой одежде, с вытянутым лицом, как у умника, означает лишь создание неудобства самому себе и стать пятном на сцене. Как кувшин с холодной водой, стоящий среди винных фляг, вы остаётесь в подавленном состоянии среди всеобщего ликования. Нет, нет. Эта строгость не нужна. Позвольте мне сказать вам также доверительно, что кутёж не всегда может перейти в опьянение, трезвость же, слишком глубоко испитая, может стать своего рода глупостью. Те, кто отрезвляются из-за своей глупости, по моему образу мыслей, поступают так только для того, чтобы оказаться у другого конца рога и немного попьянствовать.

— Умоляю, скажите, вы наняты обществом

виноторговцев и старых пьяниц для того, чтобы читать лекции?

— Я боюсь, что неясно преподнёс свою мысль. Тут может помочь небольшая история — история достойной старухи Гошен, очень нравственной старухи, которая не позволяла своим поросятам есть упавшие созревшие яблоки из страха того, что фрукты могли бы повлиять на их мозги и тем самым сделать их свинскими. Тогда же, во время очередного Рождества, в предвестии чего-то дурного эта достойная старуха впала в мрачную хандру, лишилась аппетита, легла в свою кровать и отказалась видеть лучших друзей. В большом беспокойстве её супруг послал за доктором, который после обследования пациента задал пару вопросов, подозвал мужа и сказал: «Дьякон, вы хотите её вылечить?» — Действительно хочу». — «Тогда просто пойдите и купите кувшин «Санта-Круза»». — ««Санта-Круза»? Моя жена пьёт «Санта-Круз»?» — «Или так, или умрёт». — «Но сколько?» — «Сколько сможет принять». — «Но она напьётся!» — «Это — лечение». Мудрецы, как доктора, должны повиноваться. Очень противясь своему характеру, трезвый дьякон подобрал хмельной медикамент, и, одинаково противясь своей совести, старая бедная

женщина приняла его, но из-за этого вскоре восстановила здоровье, настроение и славный аппетит и снова была рада видеть своих друзей; и наличие этого испытания сломало лёд сухого воздержания, никогда впоследствии не оставлявшего её бокал пустым.

Эта история вызвала у бакалавра удивление и интерес, хотя едва ли одобрение.

— Если я понял вашу притчу правильно, — сказал он, совсем не пряча свою грубость, — то мысль такова, что нельзя наслаждаться жизнью с удовольствием, если не отказываться от такого же трезвого представления о самом себе. Но начнём с того, что трезвый взгляд, несомненно, ближе к истине, чем такой же пьяный; я тот, кто считает правду хоть и холодной водой, но стоящей выше неправды, хотя бы и из токайского вина, и будет держать её в своём глиняном кувшине.

— Я гляжу, — медленно выпуская вверх спиральный сигнал ленивого дыма, — я гляжу, вы заняты высоким делом.

— Каким?

— О, никаким! Но если бы я не боялся вообразить, я мог бы рассказать другую историю о старом ботинке в пекарне пирожника, сохнущем там между солнцем и простой печью, свернув-

шемся от сухости и покоробившемся. Вы видели такие старые кожистые головы, не так ли? Очень высокие, воистину трезвые, нелюдимые, философствующие, великие, старые колодки; но я, со своей стороны, стал бы шагающей по земле комнатной туфлей пирожника. Говоря как пирожник, я предпочёл бы быть скромным пирогом, нежели великолепным кексом. Это понимание того, что быть одиноким и высокомерным — печальная ошибка. Я придерживаюсь мнения, что мужчины в этом отношении походят на петухов; тот, кто находит своё собственное прибежище на одинокой и высокой жерди, является подкаблучником или тем, кто пребывает не в духе.

— Вы оскорбили меня! — вскричал бакалавр, очевидно задетый.

— Кого оскорбил? Вас или людей? Вы же не будете стоять в стороне и видеть, как поносят человеческий род? О, тогда вы испытаете некоторое уважение к человеческому роду.

— Я испытываю некоторое уважение к… самому себе… — губами не столь твёрдыми, как прежде.

— И к какому роду вы… принадлежите? Вы разве не видите, мой дорогой друг, в какие противоречия человек вовлекает самого себя, неуважительно воздействуя на человека. Моя уловка

преуспела в очаровании. Ну-ка, подумайте лучше про неё и в качестве первого шага к новым мыслям забросьте одиночество. Я боюсь, что, идя так дальше, вы через некоторое время будете читать Циммермана, этого старого господина Головная боль, — Циммермана, книга которого об Одиночестве так же бесполезна, как книга Хьюма о Самоубийстве и как книга Бэкона о Знании; и так они предают того, кто стремится успокоить ими душу и тело, как ложной религией. Все они, все, гордящиеся тем, что вам приятно, остро желают нас увидеть после найденной истины и не предложат ничего в духе радости общения, основанной на должной вере в то, что находится выше и дальше их несчастных простофиль или ещё более несчастных мошенников.

Его поведение здесь стало настолько серьёзным, что любой слушатель, возможно, едва ли не оказался бы более или менее впечатлён им, в то время как, возможно, нервных противников оно бы, скорее, немного испугало. О чём-то на мгновенье подумав про себя, бакалавр ответил:

— Имей вы возможность испытать её, вы узнали бы, что ваша пьянствующая теория, взятая в том смысле, в котором вы её используете, пло-

ха, как любая другая. И воспевающий вино Коран Рэбелэйса заслуживает доверия не более, чем любой ненавидящий алкоголь магометанин.

— Довольно, — подводя итог выбиванием пепла из своей трубки, — мы говорим и продолжаем говорить, и всё ещё стоим там, где стояли. Что вы говорите насчёт прогулки? Вот моя рука, и давайте вернёмся. Здесь должны быть танцы на штормовом мостике сегодня вечером. Я отучу их от шотландской джиги, а в это время ради безопасности вы подержите мои вещи; и следующее, что я вам предлагаю, мой дорогой друг, это сложить своё оружие и бросить ваши медвежьи шкуры в морской хорнпайп — я подержу ваши часы. Что вы говорите?

От этого рассуждения другой снова стал самим собой — абсолютным енотом.

— Гляжу на вас, — стуча своей винтовкой, — вы, часом, не Джереми Диддлер номер три?

— Джереми Диддлер[8]? Я слышал о пророке Джереми и преподобном Джереми Тэйлоре, но ваш другой Джереми — это джентльмен, с которым я не знаком.

— Вы — его доверенное лицо, не так ли?

---

8 Примечания: 8
Герой-мошенник одной из фарсовых пьес — Прим. пер.

— …Чьё? Умоляю, скажите. Не то чтобы я думаю, что сам недостоин того, чтобы быть доверенным, но я не понимаю.

— Вы — один из них. Так или иначе, я сегодня встречаюсь с самыми необычными метафизическими проходимцами. Сейчас одна из таких встреч. И всё же этот травяной доктор Диддлер так или иначе снимает свежие покровы с диддлеров, которые приходят после него.

— Травяной доктор? Кто он?

— Как и вы — один из них.

— …Кто?.. — уже приблизившись, как будто для хорошего долгого объяснения, его левая рука распростёрлась, и ствол его трубки крестообразно закачался в ней вниз и вверх, как в зажиме. — Вы неправильно думаете обо мне. Теперь, чтобы отрезвить вас, я просто введу небольшой аргумент и…

— Не делайте этого. Малых аргументов за меня гораздо больше. Сегодня было слишком много малых аргументов.

— Но вот вам случай. Будете ли вы отрицать — я смею вам противоречить, — что человек, ведущий уединённую жизнь, больше обычного даёт неправильное представление о себе в глазах интересующихся им людей?

— Да, я… отрицаю это, — снова в своей импульсивности отвергая спорную приманку, — и я сейчас мигом вас опровергну. Посмотрите, вы…

— Сейчас, сейчас, сейчас, мой дорогой друг, — ставя обе ладони вертикально для удвоения защиты. — Вы переполняете меня слишком большой тяжестью. Вы не даёте ни единого шанса. Говорите о том, что вы будете избегать такого общественного суждения, как моё, избегать общества при любых обстоятельствах, проявлять грубую натуру — холодную, нелюбящую; как же тогда обнять её, показать лишь тепло и дружелюбие, что фактически и есть радость?

Другой тут же, снова весь взволнованный, в своей извращённой манере привёл не самые добрые примеры, как-то: глухого старика, поглощённого своими интересами, остающегося в глухом мире; подагрических обжор, хромающих из-за своих подагрических обжорств; затянутых в корсеты кокеток, обнимаемых затянутыми в корсеты кавалерами в вальсе, всё из-за равнодушного общества; и тысячи банкротов, погубивших себя из-за щедрости и чистой любви к милой компании людей — без какой-либо зависти, соперничества или иных некрасивых поводов к этому.

— Ах, теперь, — осуждающе взмахивая трубкой, — ирония так несправедлива. Никогда не мог выносить иронию: что-то сатанинское в этой иронии. Бог защищает меня от Иронии и Сатиры, её закадычной подруги.

— Молитва настоящего мошенника, а также настоящего дурака, — хватаясь за затвор винтовки.

— Теперь буду откровенен. Собственно, это было бы немного беспричинным. Но нет, нет, вы не имейте это в виду; я могу сделать какую угодно скидку. Ах, вы не знаете, что намного приятней пыхтеть этой филантропической трубкой, чем продолжать вертеть в руках эту человеконенавистническую винтовку. Что касается ваших обжор, кокеток и отрешённых людей, тем не менее, несомненно, дело обстоит так, что у них могут быть их маленькие недостатки — а кто их не имеет? — всё же ни одного из этих троих нельзя упрекнуть ужасным грехом избегания общества; ужасным я называю его из-за того, что оно нередко предполагает ещё более мрачную вещь, чем оно само, — угрызение совести.

— Раскаяние отгоняет одного человека от другого? Как же ваш собрат Каин после первого убийства пошёл строить первый город? И почему происходит так, что современный Каин ничего

так не боится, как одиночного заключения?

— Мой дорогой друг, вы входите в азарт. Скажите, что делать, если я решу окружить себя своими собратьями. Я — толстый, у меня они тоже должны быть толстые.

— Карманник также любит окружать себя своими собратьями. Работа, человек! Никто из них не пойдёт в толпу ради своего конца, и цели многих также совпадают с целью карманников — это кошелёк.

— Теперь, мой дорогой друг, есть ли у вас совесть сказать, что более чем соответствует закону природы то, что люди так же социальны, как овцы стадны. Но ценность состоит в том, что, будучи социальным, каждый человек имеет свою цель, создающую в силу этого, лично для вас, как я сказал, общение с человеком, которое сейчас же, немедленно, и приводит к более приветливой философии. Ну, давайте прогуляемся.

Он снова предложил братское рукопожатие, но бакалавр снова отверг его и, подняв свою винтовку в энергичном жесте, вскричал:

— Как только появляется высокий констебль, то все мошенники в городах и крысы в закромах приходят в ужас, и поэтому на этом корабле, который является закромами для людей, любая

хитрая, скользкая, увёртливая крыса, что пока ещё прячется, будет пригвождена вами, вашим высочеством Крысоловом, напротив этих перил.

— Взрыв благородства! Вы, оказывается, в глубине души славный малый. И когда выпадает карта, то небольшие вопросы могут оказаться заступом или алмазом. Вы — хорошее вино, которое станет ещё лучше, если его встряхнуть. Ну, давайте согласимся, что когда мы прибудем в Новый Орлеан, то оттуда отправимся в Лондон, — я останусь с моими друзьями возле Примроуз-хилла, а вы остановитесь в Пьяцца Ковент-Гарден — Пьяцца Ковент-Гарден; ради этого скажите мне — так как вы уже не будете дискутировать в полной мере, — скажите мне, не было ли это розыгрышем, как у Диогена, который привёл паяца на цветочный рынок, сказав, что он лучше мудрого афинянина, который превратил себя в беглое чучело в сосновых пустошах? Неразумный джентльмен, лорд Таймон.

— Вашу руку! — схватив его.

— Благословите меня, как сердечно пожатие! Договоримся, что теперь мы будем братьями?

— Настолько, насколько можно будет скрепить братскими узами мизантропов, — с другим потрясающим рукопожатием. — Я думал, что

современные люди опустились в своём развитии ниже мизантропии. Радуюсь, что хоть в одном случае в этой дискуссии я оказался отрезвлённым.

Другой поглядел с чистейшим изумлением.

— Не стоит. Вы — Диоген, скрытый Диоген. Я говорю, что Диоген — замаскированный космополит.

С изменившимся печальным выражением лица незнакомец всё ещё оставался немым некоторое время. Медленно, с огорчением он сказал:

— Как тяжела доля того защитника, кто, в своём рвении уступая слишком многому, принадлежит стороне, за которую он не стоит, однако оказывается бессилен что-либо поменять! — Затем другим, изменившимся тоном: — К вам, Измаилу, маскирующемуся под охотника, я прибыл послом от человеческого рода, исполненным верой, что от подобных вам он не потерпит недоброжелательного ответа, но будет стремиться заключить соглашение между ним и вами. Всё же вы не приняли меня за честного эмиссара, но я знаю, что я не какой-то там неслыханный шпион. Сэр, — добавил он менее мягко, — эта ваша ошибка, в которой вы запутались, должна была показать вам, что вы можете запутать всех людей. Ради Бо-

га, — трогая его, — приобретите веру. Смотрите, как неверие обмануло вас. Я — Диоген? Не тот ли я, кто, выйдя из мизантропии, был не меньшим человеконенавистником, чем сирена? Лучше бы я был непреклонным и твёрдым!

С этими словами филантроп ушёл прочь слегка грациозней, чем в момент прихода, предоставив растроганного мизантропа одиночеству, которого он столь мудро и придерживался.

Глава XXV
Космополит заводит знакомство

После заката космополит повстречал пассажира, кто по обычаю жителей западного берега обратился к нему, хотя они и не были знакомы.

— Этот ваш приятель — странный енот. У меня самого с ним произошла небольшая стычка. Похож на занятного старого енота, если бы не был столь чертовски въедлив. Напомнил мне немного о том, что я слышал о полковнике Джоне Мердоке из Иллинойса, только ваш приятель не столь хорош по своей сути, как я полагаю.

Эти слова были сказаны на полукруглой веранде каюты в виде открытой палубной ниши, освещённой лампой под абажуром, качавшейся наверху и посылающей свой свет вертикально вниз, как солнце в полдень. Под лампой стоял говоривший, никому из стоящих напротив не предоставляя благоприятного шанса для своего внимательного осмотра; но пока взгляды, падавшие на него, не предавали никакого значения этой грубости.

Человек этот не был ни высоким, ни крепким,

ни низкорослым, ни измождённым, но с телом, подходящим, как по мерке, для служения его уму. По сравнению с остальными он, возможно, не выделялся своими особенностями более, чем своей одеждой; и её красота, возможно, меньше состояла в подгонке, чем в своей скромности, если ничего не сказать относительно тонкой дремоты, которая, казалось, контрастировала с каким-то изменением чистоты его кожи, и неподходящего фиолетового жилета, в лучах заката вызывавшего некое раздражение.

Но в целом нельзя было беспристрастно сказать, что его внешность была нерасполагающей; действительно, к близкому по духу он был бы, несомненно, весьма близок, в то время как для других он не мог не быть по крайней мере любопытен из-за вульгарной горячей сердечности, контрастирующей с известной не всякому человеку лихорадочной желтизной, ради спасения осмотрительно эту сердечность прикрывающей. Нелюбезные критики могли бы подумать, что характер приподнимает человека точно так же, как тем же самым фиктивным способом одежда румянит щёки. И хотя его зубы были особенно хороши, те же самые нелюбезные критики, возможно, намекнули бы, что они были слишком

хороши, чтобы быть настоящими, или, скорее, не были бы так хороши, как могли бы быть; ведь самый лучший зубной протез — это протез, сделанный по крайней мере с двумя или тремя изъянами, и тогда он будет больше похож на живые зубы. Но, к счастью для него, теперь никаких критиков у незнакомца на горизонте не было, за исключением космополита, который после всего первым авансом принял его немое приветствие, в котором признавал, что если в нём, как казалось, был тон пониже, чем в его манере обращаться к миссурийцу, то это было, вероятно, печальным последствием давешнего последнего разговора, — ответив теперь так:

— Полковник Джон Мердок, — отвлечённо повторяя слова, — эта фамилия вызывает воспоминания. Умоляю, скажите, — с оживлением, — был ли он как-то связан с Мердоками из Мердок-холла, Нортгемптоншир, Англия?

— Мердоков из Мердок-холла я знаю не больше, чем Бердоков из Бердок-хата, — ответил тот тоном, который так или иначе ему удался. — Всё, что я знаю, так это покойный полковник Джон Мердок, известный в своё время, со взглядом, как у Лохила, с пальцами, как у спускового механизма, с нервами, как у дикой кошки, но с двумя

маленькими причудами: его редко встречали без его винтовки и он ненавидел индейцев, как змей.

— Ваш Мердок тогда оказался бы Мердоком из Мизантроп-холла. Совсем не елейное создание этот полковник, как я полагаю.

— Прилизанный или нет, но он не был растрёпанным, с шелковистой бородой и вьющейся шевелюрой, и для всех, кроме индейцев, сочный, как персик. Но индейцы! Ну до чего же сильно покойный полковник Джон Мердок, индейский ненавистник из Иллинойса, ненавидел индейцев, уверяю вас!

— Никогда не слышал об этом. Ненавидел индейцев? Почему он или кто-либо ещё должен был ненавидеть индейцев? Я восхищаюсь индейцами. Я всегда слышал, что индейцы — один из самых прекрасных из первобытных народов, обладающий многими героическими достоинствами. Как и некоторые из их благородных женщин. Когда я думаю о Покахонтас, я готов любить индейцев. Тут и Массасойт, и Филип с Маунт-Хоупа, и Текумсе, и Красный Жакет, и Логан — все они герои; есть Пять Племён и Арауканы — федерации и сообщества героев. Благослови меня бог — ненавидел индейцев? Конечно, у покой-

ного полковника Джона Мердока, должно быть, имеются заблуждения.

— Блуждал в лесах помногу, но никогда не заблуждался в других вещах, о которых я когда-либо слышал.

— Вы всерьёз? Разве существовал когда-либо тот, кто сделал его частную миссию ненавидеть индейцев такой, что для её названия было придумано особое слово — «индеофоб»?

— Так и есть.

— Любезный, вы говорите это очень спокойно. Но действительно, я хотел бы знать что-то ещё об этой индеофобии и едва могу поверить в существование такой вещи. Не могли бы вы оказать мне любезность и познакомить с небольшой историей необычного человека, упомянутого вами?

— Со всей сердечностью. — И немедленно сошёл с балкона, указывая космополиту на диван, стоявший на палубе поблизости. — Туда, сэр, вы сядьте там, а я буду сидеть здесь около вас — вы желаете послушать о полковнике Джоне Мердоке. Ну, этот день в моём детстве отмечен белым камнем — тогда я увидел винтовку полковника с прилагающимся пороховым рожком, висящую в хижине на западном берегу реки Уобаш. Мы

с моим отцом двигались на запад в долгом путешествии по дикому краю. Был почти полдень, и мы остановились в хижине, чтобы расседлать лошадей, отдохнуть и поесть. Человек в хижине указал на винтовку и сказал, чьей она была, добавив, что полковник в тот момент спит на волчьей шкуре в амбаре, находящемся выше, поэтому мы не должны были говорить очень громко, поскольку полковник отсутствовал всю ночь, охотясь (из-за индейцев, полагаю), и было бы жестоко тревожить его сон. Горя любопытством увидеть того, кто был столь известен, мы ждали два часа в надежде, что он вскоре выйдет; но он не вышел. Нам было необходимо добраться до следующей хижины перед сумерками, поэтому мы должны были наконец уйти прочь, не удовлетворив своего желания. Хотя, по правде говоря, я, со своей стороны, не ушёл полностью неудовлетворённым, поскольку в то время, как мой отец чистил лошадь, я проскользнул назад к хижине и, шагнув на ступеньку или две по лестнице, пропустил свою голову через перекладины и всмотрелся. В амбаре было немного света, но напротив, в дальнем углу, я увидел то, что принял за волчью шкуру, и на ней какую-то связку, вроде кучи листьев, и на одном её краю

то, что показалось кочкой мха, и над всем этим ветвились оленьи рога; и рядом маленькая белка спрыгнула с кленовой чаши с орехами, легко коснувшись мшистой кочки своим хвостом, пролезла через щель и, пискнув, исчезла. Эта часть лесной сцены была всем, что я видел. Если полковник Мердок был там, то эта мшистая кочка и была его вьющейся головой, видимой со стороны затылка. Я бы подошёл и выяснил, но человек снизу предупредил меня, что хотя из-за своих армейских привычек полковник и мог спать во время грома, но по той же самой причине удивительно быстро мог проснуться при звуке шагов, пусть даже мягких, и особенно человеческих.

— Извините меня, — сказал другой, мягко кладя свою руку на запястье рассказчика, — но я боюсь, что у полковника был подозрительный характер — минимально доверчивый. У него был немного недоверчивый нрав, не так ли?

— Совсем нет. Знал слишком много. Никого не подозревал, но не был невежественен относительно индейцев. Хорошо: поскольку вы подытожили, что я никогда не видел человека полностью, но всё же я, так или иначе, слышал о нём почти столько же, сколько и о любом дру-

гом; в частности, я слышал его историю снова и снова от друга моего отца, Джеймса Хола, известного судьи. Поскольку в каждой компании ему предлагали рассказать эту историю, которую никто не мог лучше поведать, судья наконец попал в такой методический стиль, что вы могли бы подумать, что он говорил меньше слов простым слушателям, чем невидимому секретарю, вроде разговора для прессы; воистину, с очень внушительным видом. И я, имея одинаково восприимчивую память, думаю, что вкратце могу передать вам слова судьи про полковника почти дословно.

— Так сделайте же, чего бы это ни стоило, — сказал космополит, очень довольный.

— Вам представить философию судьи — и всё?

— Относительно этого, — возразил серьёзно другой, приостановив наполнение чаши трубки, — желательно, чтобы человек определённого ума понимал, что существование какой-либо философии у другого человека весьма зависит от того, к какой философской школе тот принадлежит. По какой школе или системе он судил, умоляю, скажите?

— Да хоть он и знал, как читать и писать, но у судьи никогда не было серьёзного образова-

ния. Но я должен сказать, что он принадлежал, во всяком случае, к системе бесплатной школы. Да, истинный патриот, судья приобрёл знания в бесплатной школе.

— В философии? Человек определённого ума, затем уважаемый патриотичный судья, не безрассудный и с замечательной способностью рассказчика, такой, как у него, мог бы, возможно, благоразумно отказаться от мнения о предполагаемой судейской философии. Но я не упрямствую: продолжайте, я прошу; про его философию или нет, как пожелаете.

— Ну, я пропустил бы, главным образом, ту часть, где только начало, где есть некоторое изучение почвы в философском плане, которую судья всегда считал обязательной для незнакомых с нею. Поэтому вы должны знать, что ненависть к индейцам отнюдь не была монополией полковника Мердока; но страсть, в одной или другой форме и в известной степени, более или менее, в основном разделялась среди того класса, к которому он принадлежал. И ненависть к индейцам всё ещё остаётся и, без сомнения, продолжит существовать, пока индейцы существуют. Ненависть к индейцам тогда должна быть моей первой темой, и полковник Мердок

как ненавистник индейцев — тема следующая и последняя. С этими словами незнакомец, устроившись на своём месте, начал. Слушатель платил ему вниманием, медленно куря; его взгляд тем временем уставился на палубу, но своим правым ухом он так расположился к говорившему, чтобы атмосферное вмешательство в каждое слово было настолько минимальным, насколько это было возможно. Чтобы обострить слух, он, казалось, опускал взгляд. Никакая любезность простой речи не могла бы быть настолько лестной или выражать такую поразительную вежливость, как это немое красноречие, исполненное терпеливого внимания.

Глава XXVI, говорящая о подоплёке ненависти к индейцам у человека, расположенного к ним не столь дружелюбно, как Руссо

Судья всегда начинал с этих слов: «Дикая ненависть к индейцам бывает сильной по нескольким причинам. В более ранние времена граница продвигающихся переселенцев определялась как уже существующая. Но поскольку индейцы грабили главным образом те области, где они когда-то численно доминировали, то филантропы удивлялись, что ненависть к индейцам не имела конца. Они задавались вопросом, почему переселенцы всё ещё относятся к краснокожим почти так же, как присяжные относятся к убийцам или ловцам диких кошек — существам, милосердие к которым применять неразумно, перемирие с которыми неоправданно, а потому они должны быть наказаны».

«Это любопытный пункт, — продолжил бы судья, — который, возможно, не все, даже после объяснения, могут полностью понять, в то

время как любому необходимо приблизиться к его пониманию как к факту, или, если они его уже знают, то принять во внимание эту черту характера переселенца; что же касается манер индейца, то многие о них уже знают из истории или из собственного опыта.

Переселенец — человек одинокий. Он — человек вдумчивый. Он — человек сильный и бесхитростный. Он легко возбудим, он — тот, кого кое-кто мог бы назвать беспринципным. Во всяком случае, он своеволен; он тот, кто мало готов выслушать то, что другие могут сказать о нём самом, чтобы затем посмотреть на самого себя, увидев то, каков он есть. Если вам в трудный час кто-то может помочь, то он должен зависеть от себя самого; он всё время должен обращаться к самому себе. Следовательно, он уверен в своих силах на уровне поддержки своего собственного суждения, пусть и одинокого. Не то чтобы он считает себя никогда не ошибающимся (слишком много ошибок в последующем доказывают обратное), но он думает, что природа предназначила такую же проницательность, какую предназначила и опоссуму. Для этих жителей дебрей их врождённая проницательность — это наилучшая форма самоподчинения. Если у кого-то случится

ошибка, если чутьё опоссума приводит его к ловушке или переселенец, заблуждаясь, попадает в засаду, то в дальнейших последствиях его вины нет. Как у опоссума, у переселенца инстинкты превалируют над предписаниями. Как и опоссум, переселенец представляет существо, живущее исключительно среди божьих творений, но всё же, право, стоит признать: в его породе мало благочестивого ума. Вот он склонился, якобы чтобы что-то почистить, — это означает, что когда он склоняет колено, то нацеливает свою винтовку или проверяет её кремень. С немногими компаньонами, а при необходимости и в одиночку, он продлевает судьбу, ему предстоит испытание — не слабое, по силе следующее за смертью, — одиночество, должным образом перенесённое, возможно, самое строгое испытание силы духа. Но суть переселения не просто в том, чтобы быть одиноким, — за исключением немногих случаев, он не стремится быть таким. Вид дыма за десять миль от него провоцирует к ещё одному удалению от человека, ещё одному шагу навстречу природе. Так чувствует ли он, безотносительно того, каков он сам, что человек не вселенная? Что не целиком состоит из славы, красоты и доброты? Что, как не присутствие

человека, пугающее птиц вдали, делает мысли сильно похожими на тех же птичек? Суть в том, что у переселенца в его характере нет некоторой тонкости. Как с Хэйри Орсоном, с ним может случиться то же, что и с шетландской печатью с подбитым снизу щетинистым мехом.

В этом отдельно взятом виде варваров переселенец воспринимается Америкой как Александр в своё время Азией — капитаном в авангарде захватнической цивилизации. Безотносительно растущего национального богатства или власти, станут ли они лакеями его пяток? Первооткрыватель, создающий безопасность для тех, кто приходит после него, испрашивает для себя только труды. Достоин ли сравнения с Моисеем в Исходе или императором Юлием в Галлии тот, кто пеший и обнажённый во главе одетых в броню или конных легионов тоже шагает каждый день отряд за отрядом? Позвольте катиться потоку эмиграции, как он и катится, ведь ему никогда не сокрушить переселенца в самом себе; он взбирается дальше, как полинезиец на гребень прибоя.

Таким образом, пока он продолжает идти дальше по жизни, он почти повсюду поддерживает такое же неизменно уважительное отношение

к природе, а с нею к существам, также включающим пантер и индейцев. Следовательно, весьма вероятно, что согласно теории Мирового Конгресса можно уважать оба вида этих существ, среди же других переселенец мог бы быть отнесён к тем, кто отбрасывает какие-либо практические предложения.

Поскольку ребёнок, родившийся переселенцем, должен, в свою очередь, пережить своего отца — жизнью, в которой отношения с человечеством состоят главным образом в отношениях с индейцами, — тут, как думают, лучше всего из-за деликатности не перемалывать вопросы, но сказать мальчику довольно ясно, кто такой индеец и чего он должен ждать от него. Однако отношение к индейцам из милосердия как к членам Дружественного Сообщества лишь порождает невежество в отношении индейцев, пока уединённый долгий путь идёт через их земли, что в конечном счёте может оказаться не только неразумным, но и жестоким. По крайней мере, что-то подобное оказывается принципом, на котором базируется образование переселенцев. Соответственно, если в юности переселенец чувствует склонность к знанию, как это обычно имеет место, то он слышит немногое

от своих учителей, старых лесных летописцев, а именно истории об индейской лжи, индейском воровстве, индейском лицемерии, индейском обмане и вероломстве, индейской бессовестности, индейской кровожадности, индейском дьяволизме — истории, которые, хоть и происходят из диких лесов, почти так же полны таких отнюдь не ангельских выводов, как календарь Ньюгейта или летопись Европы. На этих индейских рассказах и традициях юноша и вырастает. «Как только ветка согнута, дерево чувствует желание нагнуться». Инстинкт антипатии к индейцам растёт в переселенце вместе с понятиями добра и зла, права и беззакония. С одного и того же голоса он слышит, что брат должен быть любим и что индеец должен быть ненавидим.

Таковы факты, — сказал бы судья, — на которые, если вы ищете поучений, он должен глядеть такими глазами. Ужасно, что одно существо должно так смотреть на другое, должно иметь такое сознание, чтобы ненавидеть весь народ. Это ужасно, но удивительно ли это? Удивительно ли, что кто-то один должен ненавидеть народ, которому он придаёт большое значение из-за красноты его кожи по причине, сродни которой некоторые племена садовых насекомых

стали зелёными? Народ, имя которого на границе — «Помни о смерти», окрашен для него в какой-то дьявольский цвет — так же, как те же конокрады в Мойамесинге; так же, как убийца вроде Нью-Йоркского бунтовщика; так же, как австриец, нарушитель соглашения; так же, как паломник с отравленными стрелами; так же, как судья-убийца Джеффрис, после жестокого фарса осуждающий свою жертву на кровавую смерть; или как варган, гостеприимными речами заманивающий некоего упавшего в обморок незнакомца в засаду, чтобы там удушить его и сделать это во имя Маниту, своего бога.

Однако всё это передаёт не правду об индейцах, а скорее примеры впечатлений переселенцев от них, при которых милосердный человек может подумать, что он создаёт в их отношении некоторую несправедливость. Бесспорно, это так; индейцы сами думают так же, совершенно аналогично. Индейцы действительно протестуют против таких воззрений переселенцев, и некоторые думают, что сама причина их ответной антипатии столь же искренняя, как и их моральное негодование, и так же разделяема ими, как они действительно верят и говорят. Но на этом или каком-либо ином пункте индей-

цам должно быть разрешено свидетельствовать за самих себя, исключая другое свидетельство, суть которого можно предоставить Верховному суду. На любом уровне было замечено, что когда индеец становится подлинным прозелитом Христианства (таких случаев, однако, было не очень много; хотя, действительно, все племена иногда номинально приходят к свету истины), то он в этом случае не скроет своё просвещённое убеждение, что часть его народа по своей природе полностью развращённая, и, таким образом, полностью признает, что худшая мысль переселенца не очень далека от истины, в то время как, с другой стороны, те из краснокожих, кто являются самыми великими сторонниками теории индейского достоинства и индейского чадолюбия, иногда оказываются настоящими конокрадами и разбойниками в своей среде. Так, по крайней мере, утверждает переселенец. И хотя, сознавая индейскую природу так, как он мыслит, он представляет её себе не совсем без каких-либо знаний, отчего индеец может в некоторых пунктах обманываться сам, с тем же эффектом, как меняется боевая тактика в кустарнике, его теория и его практика, выше упомянутая, кажется, уже включает такое резкое несоответствие, и переселенцу

только остаётся объяснить на гипотезе, что когда томагавк краснокожего являет миру понятие доброты краснокожих, то это всего лишь неотъемлемая часть той тонкой стратегии, которую он считает столь полезной во время войны, во время охоты и находясь в обществе».

При дальнейшем объяснении этого глубокого отвращения, с которым переселенец смотрит на дикаря, судья решил бы, что стоит немного помочь рассмотреть, какой возбуждающий фактор открылся перед ним в этих лесных историях и традициях, прежде чем о них рассказывать. Ради чего он поведал бы историю небольшой колонии Мастеров и Ткачей, первоначально семи кузенов из Вирджинии, которые после последовательного ухода со своими семьями наконец утвердились около южной границы Кровавой земли, Кентукки: «Это были сильные, храбрые мужчины, но, в отличие от многих пионеров в те дни, у них не было никакой тяги к конфликту ради самого конфликта. Шаг за шагом они были завлечены в уединённую могилу, постоянно манящую соблазнительной плодородной землёй, с освобождением во время марша от исключительной индейской назойливости. Но, расчищая пашни и строя дома, яркий щит должен был ско-

ро повернуться иной своей стороной. После того как повторилось преследование и всевозможные стычки со стороны напавшего на них в их районе истощённого племени, — преследование, приведшее к потере зерна и рогатого скота, стычки, в которых они потеряли двоих из своего числа, которые не уберегли, помимо других, получивших болезненные раны, — оставшиеся пять кузенов заключили с некоторыми серьёзными условиями своего рода соглашение с Мокмохоком — вождём, вызвавшимся надоедать врагу, не допуская с ним никакого мира. Но, поначалу подстрекаемые внезапно изменившимися манерами Мокмохока, который, хоть до настоящего времени и считался переселенцами вероломным, почти как Цезарь Борджиа, всё же теперь, как казалось, изменился и вызвался зарыть топор войны, они действительно решились выкурить трубку мира и стать друзьями навсегда, — но не друзьями в простом смысле отказа от вражды, а в смысле доброты, совместных дел и знакомства.

Но то, кем вождь теперь казался, не сделало их совершенно слепыми к тому, каким вождь был ранее. Не настолько, чтобы, пусть и в значительной степени под влиянием его изменившихся

манер, они стали доверять ему полностью ради того, чтобы заключить договор с ним, и среди других статей договора с их стороны говорилось, что, хотя дружеские визиты должны быть взаимными между вигвамами и хижинами, всё же пяти кузенам никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать входить в дом вождя вместе. Замысел состоял в том, что если когда-либо под маской дружелюбия вождь задумает нанести им вред и нанесёт его, то он должен быть частичным, таким, чтобы некоторые из этих пяти смогли бы выжить не только ради своих семей, но также и для возмездия. Тем не менее Мокмохок стал на какое-то время с таким искусством и обходительностью завоёвывать их доверие, что привёл их всех вместе к застолью с медвежатиной и там же хитростью их и прикончил. Спустя годы после этого над их сожжёнными костями и тем, что осталось от всех этих семей, вождь, которого упрекнул за его предательство гордый охотник, ставший его пленником, посмеялся:

«Предательство? Бледнолицый! Это они нарушили своё же соглашение первыми, придя все вместе; это они нарушили его первыми, доверившись Мокмохоку».

В этом пункте судья сделал бы паузу и, воздев

свои руки и вращая глазами, воскликнул бы весьма торжественным голосом: «Кругом хитрость и жажда крови. Сообразительность и гениальность вождя сделали его большим зверем».

После другой паузы он начал бы воображаемый диалог между переселенцем и его собеседником: «Но все ли индейцы такие, как Мокмохок?» — «Не все такие, но в наименее вредоносных может находиться зародыш зла. Есть индейская природа. „Индейская кровь течёт во мне“ — это уже угроза полукровки». — «Но бывают ли некоторые индейцы добрыми?» — «Да, но добрые индейцы главным образом ленивы и считаются простаками, — как правило, они редко бывают вождями; в вожди краснокожих попадают активные и считающиеся мудрыми. Следовательно, ввиду малочисленности этот вид индейцев имеет только частичное влияние. И добрые индейцы бывают вынуждены выполнять недобрые указания. Поэтому „остерегайся индейца, доброго или недоброго“, — сказал У. Даниэль Бун, который из-за них потерял своих сыновей». — «Но все ли ваши переселенцы так преследовались индейцами?» — «Нет». — «Хорошо, и в определённых случаях ко многим ли из вас отнесутся по-доброму?» — «Да, но редко кто среди нас оказывается

с таким самомнением или столь эгоистичным, что сочтёт своё личное освобождение от индейца настолько типичным опровержением опыта столь многих людей ради того, чтобы вопреки общему мнению хорошо думать об индейцах; иначе, если он за это будет держаться, то стрела в его боку может породить подходящее сомнение».

Короче говоря, следуя судье, если мы во всём доверяем переселенцу, его настрою против индейцев, понятому правильно, то его стоит рассматривать как с нашей, так и с другой или совместно с обеих точек зрения. Верно то, что есть мало семей из известных ему, где некоторые их члены или связанные с ними не были бы индейцами искалечены или оскальпированы. Что за польза тогда, что один из индейцев, или два, или три отнесутся к переселенцу по-дружески? «Он боится меня, — полагает он. — Заберите у меня мою винтовку, дайте ему повод, и что произойдёт? Или если это не так, то как мне знать, что непреднамеренные приготовления могут происходить в нём из-за вещей, в настоящее время неизвестных ему так же, как и мне, — своего рода химическая подготовка в душе для преступного замысла, подобная химической реакции

в теле из-за болезни».

Не то чтобы переселенец когда-либо использовал те слова, что вы слышите, но судья нашёл им выражение для передачи их значения. И этот пункт он завершил бы высказыванием, что «тот, кого называют „дружелюбным индейцем“, является очень редким существом; и хорошо, что это так, поскольку никакая жестокость не превышает жестокости „дружелюбного индейца“, обернувшегося врагом. Трусливый друг создаёт отважного противника».

Но к настоящему времени рассматриваемая страсть была рассмотрена как генеральная линия сообщества. Когда к этой существующей доле переселенец добавляет своё личное чувство, то у нас тогда появляется материал, из которого формируется, если формируется вообще, особенный индейский ненавистник.

Особенный индейский ненавистник, по определению судьи, это тот, «кто с молоком своей матери испил немного любви к краснокожим в юности или ранней зрелости и, прежде чем чувствительность стала закостеневшей, получил некий произвольный сигнал в отношении своей семьи или своего друга. Когда вся природа вокруг него докучает его одиночеству или пред-

лагает ему поразмышлять об этом вопросе, он соответственно размышляет до тех пор, пока его мысль не разовьётся в некую привлекательную, как сильно разбросанные отряды паров со всех сторон собираются в штормовое облако, так и разбросанные другие мысли собираются вокруг ядра мыслей, поглощаются им и увеличивают его. Наконец, создав из элементов план, он приходит к его исполнению. Подобно Ганнибалу, он даёт клятву ненависти, — ненависти, которая вихрем всасывает самую удалённую щепку вины целого народа, что вполне обоснованно даёт почувствовать себя в безопасности. Затем он объявляет о себе и улаживает свои текущие дела. С торжественностью испанца оборачиваясь монахом, он прощается со своей семьёй, причём, скорее, у этих прощальных сборов есть какая-то ещё более впечатляющая законченность прощания у смертного ложа. Наконец, он сам приходит в первобытный лес, и там, пока его жизнь продолжается, он будет следовать спокойной, монастырской схеме стратегической, непримиримой и уникальной мести. Как когда-то на тихой тропе: хладнокровный, собранный, терпеливый, менее заметный, чем войлок, разнюхивающий, обоняющий — кожаный чулок

Немезиды. В поселениях его больше не увидят; в глазах его старых компаньонов слёзы могут появиться от любого случайного слова, которое они скажут о нём; но они никогда не ищут его и не хотят искать; они знают, что он не придёт. Солнца и времена года проплывают, тигровая лилия вырастает и опадает, малыши рождаются и прыгают на руках своих матерей, но индейский ненавистник всё так же хорош, как надолго пропавший из дому, и „террор“ — его эпитафия».

Здесь судья снова непринуждённо сделал бы паузу, но последующее резюме было бы таково: «Очевидно, что в строгой речи не может быть биографии особенного индейского ненавистника большей, чем у одной из рыб-мечей или другого глубоководного жителя; или, что ещё менее вообразимо, чем у любого из мертвецов. Карьера индейского ненавистника по большей части неведома, как неведома судьба пропавшего парохода. Несомненно, ужасные события, которым суждено было произойти, вероятно, произошли; но силы природы решили, что они никогда не должны были стать новостями.

Но, к счастью для любопытных, существует разновидность нестойких индейских ненавистников, тех, чьё сердце оказывается не столь

железным, как их мозг. Мягкие искушения семейной жизни также часто выманивают индейского ненавистника из аскетического лона; это монах, что выходит в мир время от времени. Так же как у моряка, находящегося очень далеко за границей, у него могут быть жена и семья в некой зелёной гавани, о которых он не забывает. С ним — как с папистскими новообращёнными в Сенегале: пост и умерщвление плоти становится тяжело соблюдать». Судья, с его обычным суждением, всегда думал, что стремление к одиночеству, на которое индейский ненавистник обрекает самого себя, оказывает сильное влияние на ослабление его клятвы. Он бы упомянул случаи, где после нескольких месяцев одиноких поисков индейского ненавистника внезапно охватывала своего рода тропическая лихорадка, заставляя его открыто спешить к первому же дымку, сознавая, что это — индеец, и объявлять себя потерявшимся охотником, отдавая дикарю свою винтовку, доверившись его милосердию, обнимая его с большой теплотой, прося привилегии проживания в течение некоторого времени в сладких товарищеских отношениях. И упомянул бы, что часто продолжение этого протекающего душевного расстройства также может быть

известно прежде всего тем, кто лучше всего знает индейца. В целом, судья из-за тридцати двух хороших и достаточных причин утверждал бы, что не знает, какие призывы должны быть адресованы такому необщительному человеку, как этот особенный индейский ненавистник. С самой высокой точки зрения он счёл бы такую душу как одиноко, но редко появляющуюся.

Несмотря на то что ради ослабления ненависти к индейцам он разрешает себе расслабить имеющийся характер, всё же не стоит упускать, что это — человек, который самой своей немощью позволяет нам сформировать предположения, впрочем несовершенные, какова ненависть к индейцам в своём совершенстве.

— Один момент, — здесь его мягко перебил космополит, — и позвольте мне снова набить мою трубку.

После чего другой продолжил.

Глава XXVII
Немного о человеке сомнительной морали, которого, тем не менее, как оказалось, называл уважаемым выдающийся английский моралист, заявлявший, что ему нравятся хорошие ненавистники

— Придя к тому, чтобы помянуть человека, вся рассказанная история о котором до настоящего времени была всего лишь введением, судья, который, как и вы, был великим курильщиком, настоял бы, чтобы вся компания взяла сигары, и затем, зажёгши свою сигару, поднялся бы со своего места и серьёзнейшим голосом сказал: «Господа, давайте покурим в память о полковнике Джоне Мердоке», а затем, после нескольких затяжек, сделанных стоя в глубокой тишине и в глубокой мечтательности, вернулся бы к своему месту и своей беседе, скорей всего, с такими словами:

«Хотя полковник Джон Мердок не был особенным индейским ненавистником, он всё же

лелеял особенное чувство к краснокожему и в такой степени и так разыгрывал своё чувство, что только одного этого было бы достаточно для появления уважения к его памяти.

Джон Мердок был сыном женщины, трижды побывавшей замужем и трижды овдовевшей от томагавка. Три мужа подряд у этой женщины были пионерами, и с ними она переезжала из одного дикого края в другой, всегда находясь на границе. С девятью детьми она наконец нашла своё место в небольшой пустоши, впоследствии именуемой как Винсения. Там она присоединилась к компании, собиравшейся удалиться в недавно созданный штат Иллинойс. Тогда в восточной части Иллинойса не было никаких поселений, но на западной стороне, на берегу Миссисипи, около устья реки Каскаскиа, находилось несколько старых франкоязычных деревень. Поблизости от тех деревень, в очень чистых и приятных местах новой Аркадии, был участок, предназначенный госпоже Мердок; там, поблизости, среди виноградных лоз, они и начали обосновываться. Они поплыли по реке Уобаш в лодках, планируя спуститься по её течению в Огайо, и по Огайо к Миссисипи, и далее к северу, к месту, которого нужно было достичь. Всё шло хорошо, пока

перед ними не появилась скала Великая Башня на Миссисипи, где они должны были высадиться и перенести свои лодки вокруг мыса, где нёсся бурный поток. С этой стороны и выбежали подстерегавшие их индейцы, убив почти всех. Среди жертв и была вдова со всеми её детьми, за исключением Джона, который в отдалении в пятьдесят миль следовал со второй партией.

Он просто повзрослел, когда вот так внезапно остался, в сущности, единственным живым из своего рода. Другие молодые люди, возможно, превратились бы в скорбящих, он же превратился в мстителя. Его нервы стали электрическими проводами — чувствительными, но стальными. Он был тем, кого из-за его самообладания нельзя было заставить ни вспыхнуть, ни побледнеть. Говорили, что, когда ему принесли эти вести, он сидел на берегу под болиголовом, поедая свой обед из оленины, — и как только новость была ему рассказана, он сперва приподнялся, но затем продолжил медленно есть, сознательно пережёвывая дикие новости с диким мясом, как если бы и то и другое вместе, превращаясь в млечный сок, должны были стать движущей силой его намерений. После этой трапезы поднялся уже индейский ненавистник. Он встал, взял своё оружие,

упросил некоторых товарищей присоединиться к нему и без промедления принялся узнавать, кем фактически были преступники. Они, как оказалось, принадлежали к группе из двадцати отступников из разных племён, людей вне закона даже среди индейцев, сбившихся в мародёрскую шайку. Не имея возможности действовать сразу, он отпустил своих друзей, поблагодарив их и сказав, что попросит помощи в некий будущий день. Больше года блуждая в дебрях, он в одиночку наблюдал за бандой. Однажды он решил, что появился благоприятный момент, — это было посреди зимы, и дикари где-то разбили лагерь, очевидно собираясь тут и остаться, — он снова собрал своих друзей и пошёл туда, но, учуяв по ветру его приближение, враг сбежал, и в этой панике индейцы оставили всё, кроме своего оружия. В течение зимы аналогичный случай дважды представлялся ему. В следующем году он разыскал друзей и заручился обещанием послужить ему в течение сорока дней. Наконец час настал. Это было на берегу Миссисипи. Из своего укрытия в красном вечернем сумраке Мердок и его люди смутно различили банду шайенов, гребущих в своих каноэ к покрытому зарослями острову посередине реки, где можно было более

безопасно устроить привал; для карающего духа Мердока в диком краю голоса, вызывавшие когда-то трепет, теперь прозвучали словно голоса, прошедшие через райские сады. Прождав до глубокой ночи, белые поплыли по реке к острову, буксируя за собой гружёный плот. При высадке Мердок обрезал канаты у каноэ врага и пустил их с его собственным плотом по течению, решив, что у индейцев не должно быть ни спасения, ни безопасности, а победа — только для белых. Белые победили, но трое из индейцев спаслись самостоятельно, бросившись в поток. Группа Мердока людей не потеряла.

Трое из убийц выжили. Он знал их имена и личности. В течение трёх лет каждый из них один за другим пал от его собственной руки. Все теперь были мертвы. Но этого было недостаточно. Он не признавался в этом, но убивать индейцев стало его страстью. Как охотник он имел немногих, равных себе; как стрелок — ни одного; всё ради того, чтобы в поединке не быть побитым. Владея лесной хитростью, позволяющей знатоку выживать там, где новичок бы погиб, и будучи экспертом во всех искусствах, при которых врага преследуют неделями, возможно, месяцами без какого-либо подозрения, он не выходил из лесу.

Одинокий индеец, который встречался ему, погибал. Когда убийца бывал им замечен, он или тайно преследовал его по следу ради малейшего шанса нанести по крайней мере один удар, или, если во время этого занятия бывал обнаружен кем-то, то уклонялся от него, воспользовавшись превосходством.

Он потратил на это много лет, и хотя через некоторое время, став старше и будучи в звании полковника, в определённый момент вернулся к обычной жизни в своём краю, то все полагали, что Джон Мердок никогда не упустит возможности подавления индейцев. Свершённые тогда подобные убийства, возможно, принадлежали ему, и не без недомолвок.

Было бы ошибкой допустить, — сказал бы судья, — что этот джентльмен был по натуре свиреп или больше обычного обладал бы теми качествами, которые, не помогая провоцировать события, имеют тенденцию отзывать человека из общественной жизни. Наоборот, Мердок был примером какого-то очевидного собственного противоречия, конечно же любопытного, но в то же время бесспорного, а именно: у этого почти абсолютного индейского ненавистника была и сердечная любовь — в любом случае,

шедшая от сердца, во всяком случае, более горячая, чем бывает обычно. Бесспорно, что в той степени, в которой он участвовал в жизни поселений, Мердок показал, что сам по себе он не был лишён гуманных чувств. Совсем не холодный муж и не равнодушный отец, он, пусть часто и долго пребывая вдали от своего домашнего хозяйства, принимал во внимание свои потребности и предусматривал их удовлетворение. Он мог быть очень дружелюбным: рассказать хорошую историю (но никогда о своих личных подвигах) и спеть превосходную песню. Гостеприимный, не отказывающий в помощи соседу; согласно отзывам, столь же доброжелательный, как и тайно карающий; обычной внешности, хотя иногда и с печалью, — совсем не странный в общении, — с людьми такого же цвета лица, страстным и трагично смуглым, — и ни с кем, исключая индейцев, не иначе как учтиво и с мужественным видом; джентльмен в мокасинах, которым восхищаются и которого любят. Фактически никто не был более популярен, что может доказать следующий инцидент.

Его храбрость, в борьбе ли с индейцами или в чём-либо другом, была неоспорима. В ранге офицера он служил во время войны 1812 года,

где с честью выполнил свой долг. О его воинском характере рассказывают такой анекдот. Вскоре после сомнительной сдачи генерала Холла в Детройте Мердок с несколькими своими рейнджерами подъехал ночью к рубленому дому, чтобы отдохнуть там до утра. После того как отряд позаботился о лошадях, поужинал и разместился ко сну, хозяин показал полковнику свою лучшую кровать, но не на земле, как у остальных, а стоящую на ножках. Но из деликатности гость отказался занять её или, воистину, занимать её вообще; тогда, чтобы его уговорить, хозяин сказал ему, что когда-то генерал спал в этой постели. «Кто, умоляю, скажите?» — спросил полковник. «Генерал Холл». — «Тогда вы не должны наносить ему обиду, — сказал полковник, застёгивая своё пальто, — но, пожалуй, кровать труса для меня будет не совсем удобна». С этими словами он завязал дружбу с ложем доблести — холодом от земли.

Когда-то полковник был членом территориального совета Иллинойса и при формировании регионального правительства был выдвинут кандидатом в губернаторы, но попросил извинить его. И хотя он отказался привести свои доводы для этого отказа, всё же те, кто лучше всего его знал,

не до конца осознавали причину. При его должностном положении он мог бы быть призван вступить в дружеские соглашения с индейскими племенами — ситуация, о которой нельзя было и думать. И даже если бы такое обстоятельство и не возникло, он всё же чувствовал, что для губернатора Иллинойса будет неуместно в течение нескольких дней иногда исчезать во время перерыва в работе законодательных органов ради стрельбы по людям в рамках своей основной отеческой должности судьи. Если должность губернатора предлагала большие почести, то от Мердока это потребовало бы больших жертв. Они были несовместимы. Короче говоря, он отлично знал, что быть последовательным индейским ненавистником включает отказ от этого стремления с его атрибутами — великолепием и мирской славой, и всё, начиная с религии, объявлял тщеславием, считая, что следует отказываться от этого, поскольку далеко зашедшую ненависть к индейцам, независимо от того, что можно подумать о ней в других отношениях, можно считать неполной при наличии религиозности».

Здесь рассказчик сделал паузу. Затем после своего долгого и надоевшего сидения он поднялся

на ноги и поправил своё беспорядочное жабо, одновременно приведя себя в порядок, встряхнув ногами в смятых панталонах, и заключил:

— Итак, я сделал это, рассказав вам не свою историю, как мне думается, или мои мысли без каких-либо чужих мыслей. И теперь из-за появления вашего друга в енотовой шляпе я не сомневаюсь, что если бы судья был здесь, то объявил бы столь колоритного полковника Мердока человеком, кто чересчур сильно разжёг свою страсть, и — впустую.

Глава XXVIII
Спорные вопросы, касающиеся покойного полковника Джона Мердока

— Благотворительность, благотворительность! — воскликнул космополит. — Никакое здравое суждение не остаётся без благотворительности. Когда человек судит человека, благотворительность — наименьшая щедрость от нашего милосердия, чем простая скидка на неощутимое отклонение от человеческого заблуждения. Бог запрещает моему эксцентричному другу то, на что вы намекаете. Вы не знаете его или знаете, но недостаточно хорошо. Его внешность обманула вас, сначала она почти обманула даже меня. Но мне представился шанс, когда вследствие негодования против некоторых заблуждений он предстал, немного приоткрывшись, я воспользовался этой удачной возможностью, как говорится, чтобы осмотреть его сердце, и нашёл его привлекательной устрицей в запертой раковине. Его внешность всего лишь не соответствует ему. Стыдящийся своего

собственного совершенства, он смотрит на человечество, как странные старые дяди в романах на своих племянников, постоянно ворча на них и всё же любя их яблоками своих глаз.

— Ну, я не так много слов сказал о нём. Возможно, он не тот, за кого я его принял. Да, насколько мне известно, вы, возможно, будете правы.

— Рад слышать это. Благотворительность, как поэзия, должна развиваться хотя бы только ради того, чтобы быть столь же изящной. И теперь, поскольку вы отказались от своего понятия, я должен быть счастлив потому, что вы, если можно так выразиться, также отказались от своей истории. Эта история скорее поражает меня большим количеством скептицизма, нежели удивляет. Для меня некоторые её части не видны целиком. Если он был человеком ненавидящим, то как мог Джон Мердок быть также и человеком любящим? Любой из его компании невероятен, как Геркулес, или, иначе говоря, верно то, что всё, что было добавлено о его сердечности, — всего лишь гарнир. Короче говоря, если когда-нибудь был такой человек, как Мердок, он, при моём образе мыслей, был или мизантропом, или никем; и его мизантропия более остра оттого, что сосредоточилась на одной человеческой расе.

Хотя, как и самоубийство, ненависть человека, казалось бы, более относится к римской и греческой страстям — то есть языческим; и всё же ни летописи Рима, ни летописи Греции не смогли произвести человеческую ненависть, подобную той, что была у полковника Мердока, каковой судья и вы описали её. Что касается этой ненависти к индейцам в целом, то я только могу сказать относительно неё то же, что доктор Джонсон сказал относительно предполагаемого Лиссабонского землетрясения: «Сэр, я не верю этому».

— Не поверили этому? Почему нет? Столкнулись с неким предубеждением?

— У доктора Джонсона не было предубеждения, но, как определённо иной человек, — с бесхитростной улыбкой, — он был чувствительным, и это причинило ему боль.

— Доктор Джонсон был добрым христианином, не так ли?

— Да, был.

— Предположим, что он был кем-то ещё.

— Тогда появляется некоторый скептицизм, как в отношении упомянутого землетрясения.

— А если предположим, что он тоже был мизантропом?

— Тогда существует некоторый скептицизм

относительно грабежей и убийств, которые, как предполагают, свершались под покровом дыма и пепла. Язычники в своё время скорее верили таким отчётам и даже хуже. Они сильно верили в это, хотя религия одновременно, вопреки общему понятию, подразумевает в определённых случаях наличие духа терпимости ради того, чтобы согласиться с неверием, которое иногда по умолчанию требует презирать доверчивость.

— Пожалуй, вы смешиваете мизантропию и неверие.

— Я не смешиваю их, они — координаты. Мизантропия и неверие произрастают из одного и того же корня, они с ним — близнецы. Они возникают из того же самого корня, о котором я говорю; и сторонник материализма, и атеист не видят или не будут видеть во вселенной основополагающий принцип любви; так и мизантроп: не тот ли он, кто не видит или не хочет видеть в человеке основополагающий принцип доброты? Разве вы не видите? В любом случае беда состоит в нехватке веры.

— Что же сенсационного в мизантропии?

— Могли бы также спросить меня, что сенсационного в водобоязни. Не знаю, никогда не сталкивался. Но я часто задавался вопросом,

на что это может походить. Я спрашиваю себя: может ли мизантроп обладать тёплыми чувствами, быть непринуждённым? Быть общительным с самим собой? Может ли мизантроп курить сигару и размышлять? Что питает его в одиночестве? Есть ли у мизантропа такая вещь, как аппетит? Персик освежает его? Какими глазами смотрит он на шипящее шампанское? Действительно ли лето приятно ему? Сколько может он проспать в долгие зимы? Каковы его мечты? Что чувствует он и что происходит с ним, когда он внезапно пробуждается в одиночестве поздно ночью, при раскатах грома?

— Как и вы, — сказал незнакомец, — я не могу понять мизантропа. В той дали, куда зашёл мой опыт, или человечество достойно лучшей любви, или я просто был удачлив. Никогда я не обижался на судьбу, впрочем, если только в наименьшей степени. Обман, злословие, высокомерие, презрение, жестокость и весь этот выводок я знаю не по отчёту. Холодный взгляд, брошенный из-за левого плеча бывшего друга, неблагодарность бенефициария, предательство доверенного лица — такие вещи бывают, но я должен верить на слово. Разве мост, который так хорошо меня выдерживал, не стоит похвалы?

— Это будет неблагодарностью в отношении к достойному мосту. Человек — благородное существо, и в век сатириков мне будет приятно найти того, кто верит в него и смело поддерживает.

— Да, я всегда найду хорошее слово для человека и, более того, всегда готов на благодеяние для него.

— Вы — тот человек, в котором бьётся моё собственное сердце, — ответил космополит с искренностью, которая ничуть не потерялась за его спокойствием. — Действительно, — добавил он, — наши чувства настолько сходны, что как будто описаны в книге, в которой их немногие, но самые проницательные критики смогли бы разглядеть.

— Если мы настолько сходимся в мыслях, — сказал незнакомец, — то почему бы нам не пожать друг другу руки?

— Моя рука всегда служит достоинству, — откровенно протягивая её ему как достойной персоне.

— И теперь, — сказал незнакомец, сердечно удерживая его руку, — вы знаете наши манеры здесь на Западе. Они могут быть немного простоваты, но человечны. Короче говоря, мы недавно

подружились и должны вместе выпить. Что вы на это скажете?

— Спасибо, но, пожалуй, вы должны извинить меня.

— Почему?

При намёке на старых друзей самообладание незнакомца немного упало, как сила у ревнивого влюблённого при получении известия от его бывшей возлюбленной. Но, собравшись, он сказал:

— Несомненно, они отнеслись к вам как к человеку сильному; но вино — конечно, оно ведь нежное вещество, это вино; пойдёмте, пригубим немного сладкого вина за одним из этих местных маленьких столиков. Пойдёмте, пойдёмте.

Затем он попытался с перекатами, как через рупор в море, запеть голосом, в котором было бы больше дружеского содержания, если бы там было меньше скрытого писка:

Позвольте испить нам вина от гибкой лозы виноградной,

Что в Зансовайне искрится теплом.

Космополит со страстно алчущим взглядом стоял, весьма соблазнённый и колеблющийся; затем, резко подступив к нему, с расстроенным видом сказал:

— Если песни русалки двигают марионетками, тогда слава, золото и женщины могут испробовать свою лесть на мне. Но добрый друг, напевающий хорошую песню, добивается того, что каждый мой выступ так же, как и весь мой корпус, поддаётся его притяжению с молчаливым согласием, подобно судну, приплывающему мимо магнитной скалы. Довольно: когда у каждого сердца есть своё стремление, то тщетно пытаться быть нерешительным.

Глава XXIX
Собутыльники

Вино — портвейн — было заказано, и оба уселись за небольшой столик, затем последовала естественная пауза в предвкушении наслаждения; взгляд незнакомца обратился к ближайшему бару и краснощёкому человеку в белом фартуке, беспечно чистящему бутылку и заманчиво готовящему поднос и стаканы; затем, с внезапным импульсом повернув голову к своему компаньону, он сказал:

— Мы — друзья с первого взгляда, не так ли?

— Истинно так, — прозвучал довольно спокойный ответ. — Относительно дружбы с первого взгляда можно сказать то же самое, что и о любви с первого взгляда: это — единственная истина, единственное благородство. Она подразумевает веру. Кто бы тогда пошёл, как иностранное судно ночью во вражескую гавань, не заслышав о своём пути в любви или дружбе?

— Правда. Смело, впереди ветра. Приятно, что мы всегда соглашаемся. Между прочим, хоть и неформально, друзья должны знать друг друга

по именам. Умоляю, назовитесь.

— Фрэнсис Гудмен[9]. Но те, кто меня любит, называют меня Фрэнком. А ваше?

— Чарльз Арнольд Нобл. Но вы называйте меня Чарли.

— Хорошо, Чарли; ничто так не сохраняет в зрелом возрасте, как братская юношеская дружба. Она говорит юношеской сердечности, переросшей в зрелую.

— Мои чувства снова молоды. Ах!

Появился улыбающийся официант — с улыбчивой бутылкой с вытянутой пробкой, вместимостью с кварту, но для такого случая вставленной донышком в маленькую корзинку из коры, переплетённой с иглами дикобраза, весело раскрашенную на индейский манер. Установив её перед говорившим, он почтил их особенным вниманием, но, казалось, не понимая или же притворившись, что не понимает, стороной с красивой красной этикеткой, приклеенной на бутылку, имевшей заглавные буквы П. В.

— П. В., — сказал он наконец, недоуменно изучая привлёкшую его загадку. — Что теперь означает П. В.?

---

9 Примечания: 9
Дословно — «хороший человек» (англ.). — Прим. пер.

— Не стоит задаваться вопросом, — сказал космополит серьёзно, — если это обозначение портвейна. Вы разве не заказывали портвейн, неужели нет?

— Почему же, как раз его, именно его!

— Я нахожу, что некоторые небольшие тайны не очень тяжело спрятать, — сказал другой, спокойно скрестив ноги. Эта банальность, казалось, избежала ушей незнакомца, поскольку свою полную бутылку он сразу же протёр несколько болезненными руками и со странным кудахтаньем, словно щебетанием, вскричал:

— Хорошее вино, хорошее вино; разве оно не связано с особо светлым чувством?

Затем, наполнив до краёв оба стакана, подняв один из них, произнёс слова, показавшиеся сильными из-за интонации совершенного презрения:

— Болезнь бывает у тех мрачных скептиков, которые считают, что в наше время чистое вино невозможно купить ни за какие деньги, что почти всё разнообразие вин в продаже меньше того, что произведено, что большинство хозяев баров всего лишь подобно отравительнице Бренвилье, с искусной любезностью портящей жизни своих лучших друзей, своих клиентов.

Тень прошла над космополитом. После несколь-

ких минут удручённых размышлений он поднял глаза и сказал:

— Я долго думал, мой дорогой Чарли, что настрой, под которым слишком многие рассматривают в эти дни вино, — один из самых болезненных примеров желания веры. Посмотрите на эти стаканы. Те, кто подозревает наличие яда в этом вине, будут искать его присутствие и на щеке Гебы. В то же время, касаясь подозрений относительно дилеров и продавцов вина, те, кто лелеет такие подозрения, могут иметь лишь ограниченную веру в человеческое сердце. Каждое человеческое сердце они рассматривают, в большинстве своём, как некую бутылку портвейна, не такого портвейна, как этот, но такого портвейна, который они предпочитают. Особенные клеветники не видят добропорядочности ни в чём, кроме как в святости. Ни лекарства, ни вино в причастиях не избежали такой оценки. Доктора с его склянкой и священника с его чашей они считают одинаково несознательными составителями поддельных смертельных крепких напитков.

— Ужасно!

— Действительно ужасно, — торжественно сказал космополит. — Эти неверующие бьют в самую

суть веры. Если это вино, — выразительно держа свой полный стакан, — если это вино с его яркой этикеткой не подлинно, то как быть человеку, чьё обещание не столь привлекательно? Но если вино ложно, в то время как люди истинны, то тогда куда направить сердечное дружелюбие? Надо думать об искренне приветливых душах, пьющих за здоровье друг друга, не подозревая в питье наличия вероломных и убийственных наркотиков!

— Ужасно!

— Слишком ужасно, чтобы быть правдой, Чарли. Давайте забудем это. Ну, вы среди нас двоих в настоящий момент являетесь конферансье, и всё же вы не связываете меня этим обещанием. Я жду его.

— Прошу прощения, прошу прощения, — отчасти смущённо и отчасти для вида поднимая свой стакан. — Я обещаю вам, Фрэнк, всем своим сердцем, верьте мне, — делая глоток, слишком приличный, чтобы быть большим, но который, будь он поменьше, сопровождался бы небольшой ненамеренной кривизной рта.

— И я возвращаю вам залог, Чарли, — сердечное тепло, которое пришло ко мне, и подлинное, как то вино, которое я пью, — взаимно ответил

космополит с королевской милостью в своём жесте, выразившемся в полном глотке, закончившемся смакованием, которое, хотя и слышимое, вовсе не было таким уж неприятным.

— Если говорить о предполагаемой поддельности вин, — сказал он, спокойно ставя свой стакан, после чего наклоняя назад свою голову и по-дружески фиксируя взгляд на вине, — то возможно, что самая странная часть тех утверждений, что имеются, — это как своего рода людская молва, в то время как при убеждении, что на этом континенте большинство вин — поддельны, они всё же выпиваются здесь; зрелое вино — настолько прекрасная вещь, что даже частично поддельное лучше, чем никакое вообще. И если люди умеренные убеждают, что таким путём оно рано или поздно подорвёт здоровье, человек им отвечает: «И вы думаете, что я не знаю этого? Но здоровье без радости я считаю скукой; и у приветствия, даже неискреннего, есть своя цена, которую я готов заплатить».

— У такого человека, Фрэнк, должна быть предрасположенность к буйным вакханалиям.

— Да, если такой человек есть, то ему я не доверяю. Это — басня, но басня, которую я когда-то слышал от человека менее одарённого, как

и гротескная занудная мораль, ещё более экстравагантная, чем сама басня. Он сказал, что это иллюстрация, как в притче, где человек с непослушным добродушием всё же может иметь дружеские отношения с людьми, хотя в то же время он верит, что большая часть людей — предатели и описанное общество столь сладкая вещь, что даже фальшивое лучше, чем никакого вообще. И когда Ларошфуко убеждают, что таким путём в нём рано или поздно будет подорвана стабильность, то он отвечает: «И вы думаете, что я не знаю этого? Но стабильность без общения я считаю пустой, и общение, даже ложное, имеет свою цену, которую я готов заплатить».

— Самая исключительная теория, — сказал незнакомец с небольшим беспокойством, рассматривая своего компаньона с некоторым любопытством, — воистину, Фрэнк, она, по большей части, мысль клеветническая, — воскликнул он с внезапной горячностью, со взглядом, почти состоящим из невольного личного расстройства.

— В этом смысле она заслуживает всего, о чём вы говорите, и даже больше, — возразил другой с обычной мягкостью, — но ради некой шутки благотворительность могла бы, возможно, пропустить что-то дурное. Юмор фактически столь

благословенная штука, что если даже в наименее добродетельном продукте человеческого ума можно найти хотя бы девять хороших шуток, то некоторые философы будут весьма склонны подтвердить, что эти девять хороших шуток должны будут искупить все злые мысли, пусть их количество так же велико, как население Содома. В любом случае у этого самого юмора есть что-то невыражаемое словами из-за блага, содержащегося в нём, это такое средство от всех болезней и очарования, что почти все люди принимают и наслаждаются им, в нём они ещё могут согласиться в малом и при его помощи бесспорно создать в мире добрую дружбу, а потому неудивительно, что почти верна пословица, что если человек весел, способен хорошо и громко смеяться, то окажется, что он хорош и в других делах и едва ли может быть бессердечным проходимцем.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся другой, указывая на фигуру бледного нищего — мальчика на палубе ниже, чей жалкий вид привлекал внимание смехотворной парой чудовищных ботинок, от которых отказался, очевидно, некий каменщик, — высохших, наполовину съеденных известью и со свёрнутыми мысками, как у фаго-

та. — Посмотрите — ха-ха-ха!

— Я вижу, — сказал другой, тихо оценивая этот приступ смеха, но с гротескным выражением, не оставаясь слепым к этой подходящей сцене. — Я вижу; и путь, по которому двигаетесь вы, Чарли, очень кстати приводит к точке, указывающей на пословицу, о которой я говорил. Действительно, вам не суждено было увидеть большего эффекта. Для того, кто слышал этот смех, разве он не естественен, как аргумент, звучащий как сердце, как здоровые лёгкие? Правда, говорят, что человек может улыбаться, улыбаться и улыбаться — и быть злодеем, но не сказано, что человек может смеяться, и смеяться, и смеяться — и быть таким. Это так, Чарли?

— Ха-ха-ха!.. Нет-нет, нет-нет.

— Почему, Чарли, ваш смех иллюстрирует мои замечания почти точно так же, как искусственный вулкан у химика сопровождает его лекции? Но даже если опыт не породил пословицу, что хороший весельчак не может быть плохим человеком, я всё же чувствую, что втайне верю ей, так как она живёт среди людей, и поскольку я не оригинален среди них, то, следовательно, она может быть верной, поскольку голос человеческий — это голос правды. Разве вы так не думаете?

— Конечно, думаю. Если Правда не говорит устами людей, то никогда не говорит вообще; поэтому я слышу, что говорит каждый.

— Истинное высказывание. Но мы отклоняемся. Популярное мнение о юморе, который считают показателем сердечности, оказалось любопытно подтверждено Аристотелем — как я полагаю, в его «Политике» (работа, которая, кстати, хоть и может быть изучаема в целом, но которую всё же из-за содержания её некоторых разделов не стоит без предосторожности давать в руки молодёжи), которая отмечает, что наименее привлекательные люди в истории, кажется, имели к юмору не только отвращение, но и ненависть; и это в некоторых случаях наряду с необычно устойчивым вкусом к практике его подавления. Я помню, что это происходит от Фалариса, капризного тирана Сицилии, который когда-то вызвал несчастного малого и обезглавил его на плахе ни по какой-либо причине вообще, а из-за наличия смеха.

— Забавный Фаларис!

— Жестокий Фаларис!

Как после фейерверков возникает тишина, так и они оба взглядами упёрлись в стол, как будто взаимно поражённые отличием в восклицаниях

и размышляющие об их значениях, если таковые имелись. Так, по крайней мере, это казалось; но для каждой стороны рассказанное, возможно, виделось по-разному. Для этого, бегло взглянув, космополит сказал:

— С точки зрения морали, забавного цинизма, мы говорим о вытянутом из какой-то вакханалии приятеле, у которого были свои причины для того, чтобы всё ещё продолжать пить поддельное вино, хотя он и знает, что это такое, — тут, как я говорю, у нас есть пример того, что является, конечно, грешной мыслью, но появившейся смеха ради. Я теперь предложу вам мысль одного из грешников, изначально недобрую. Вы должны сравнить их обе и ответить, нейтрализовано ли в одном случае жало юмором и не удаляет ли жало юмор в другом. Я когда-то слышал остроту, простую остроту, умную, безбожную парижскую остроту, сказанную относительно движения трезвости, что ни один человек ради своей личной выгоды не присоединится к нему раньше, чем скупцы и мошенники; потому что, как она утверждает, одни экономят деньги, а другие делают деньги, и как судовладельцы ограничивают духовный рацион, не давая его эквивалента, так и игроки и все типы хитрых обманщиков пред-

почитают холодную воду, которая полезней для сохранения трезвого ума ради дела.

— Злая мысль, действительно! — прочувственно вскричал незнакомец.

— Да, — опершись на стол своим локтем и радушно жестикулируя своим указательным пальцем, — да, и, как я сказал, вы не замечаете в ней жало?

— Действительно, замечаю. Большая клеветническая мысль, Фрэнк!

— Ничего смешного в ней нет?

— Совсем нет!

— Пусть так, Чарли, — разглядывая его влажными глазами, — давайте-ка выпьем. У меня создаётся впечатление, что вы пьёте с трудом.

— О, о, воистину, воистину, я не уступаю в этом. Я заявляю, что более легко пьющего, чем старина Чарли, вы нигде не найдёте, — с лихорадочным рвением хватая свой стакан, но только ради забавы. — Между прочим, Фрэнк, — сказал он, возможно, для того, чтобы отвлечь внимание от себя, — между прочим, я видел кое-что хорошее на днях, мощную вещь, панегирик прессе. Он мне так понравился, что я выучил его наизусть за два прочтения. Это своего рода поэзия, но форма имеет некоторое отношение к белому стиху,

в котором можно создать рифму. Разновидность вольного скандирования с рефренами к нему. Я перескажу его?

— Любую похвалу прессе я буду рад услышать, — возразил космополит. — Более того, — продолжил он серьёзно, — недавно я стал наблюдать в некоторых случаях точки зрения, осуждающие прессу.

— Осуждающие прессу?

— Несмотря на это, некоторые чёрные души утверждают, что это такое же доказательство, как великое изобретение бренди или коньяка, которые, при их открытиях, как полагали врачи, стали, учитывая их французские названия, панацеей — понятием, которое при проверке, как определили, было не полностью подтверждено.

— Вы удивляете меня, Фрэнк. Действительно ли существуют те, кто так порицает прессу? Скажите мне больше. Каковы их доводы?

— Доводов у них нет ни одного, но утверждают, что их много среди других мнений, подтверждающих это порицание, в то время как под династическим деспотизмом прессы для людей мало, но в импровизации, при росте популярности она слишком склонна стать их Джеком Кейдом. В чистом виде эти прокисшие мудрецы

рассматривают прессу как тот же револьвер Кольта, не ручаясь за то, в чьих возможных руках он может оказаться; слова, что некое изобретение весьма на руку, очень сродни тем же ссылкам на тот же пистолет; развитие, наряду с увеличением револьверного барабана, не посвящено цели. Термин «свобода печати» они рассматривают наравне… со свободой револьвера Кольта… Следовательно, ради правды и права они стоят на том, чтобы потворствовать надеждам на основе этого же скудоумия, вместо того чтобы, как в случае Кошута и Маззини, потворствовать надеждам друг друга. Вы думаете, что душераздирающих взглядов достаточно, но их опровергает каждый истинный реформатор. Не так ли?

— Без сомнения. Но продолжайте, продолжайте. Мне нравится вас слушать, — льстиво наполняя его стакан.

— Ради того, — продолжал космополит, грандиозно раздувая свою грудь, — я поддерживаю прессу, чтобы не было ни человеческих импровизаторов, ни Джека Кейда, ни проплаченных дураков, ни тщеславных ломовых лошадей. Я никогда не думаю, что интерес превалирует над обязанностью. Пресса всё ещё выступает за правду, хотя она продырявлена, хотя ложь уко-

ренилась в её зубах. Для неё презренно скверное название дешёвого распространителя новостей, я требую её независимого апостольства в Продвижении Знания — железного святого Павла! Павла, говорю я; не только из-за продвижения знаний, но и ради справедливости. В прессе, как и в солнце, находится, мой дорогой Чарли, особый принцип благотворной силы и света. Для сатанинской прессы её сходство с апостольской — это не больше чем клевета, как и для истинного солнца — внешнее сходство с ложным. На все мрачно смотрящиеся пагелии бог Аполлон рассылает дневной свет. Одним словом, Чарли, я, как номинальный суверен Англии, поддерживаю прессу, чтобы фактически быть Защитником Веры! Защитником веры в финальном триумфе правды над заблуждением, метафизики над суеверием, теории над фальшью, механики над природой и хорошего человека над плохим. Таковы мои взгляды, которые, если излагать их довольно долго, вы, Чарли, должны простить, поскольку они являются темой, о которой я не могу говорить с холодной краткостью. И сейчас я в нетерпении относительно вашего панегирика, который, я не сомневаюсь, придаст мне румянец.

— Он, скорее, происходит от дающей румянец

вены, — улыбнулся другой, — но такая, как она, Фрэнк, у вас должна быть.

— Скажите мне, когда вы собираетесь начать, — сказал космополит, — поскольку, когда на банкетах «жарят» прессу, я всегда пью тост стоя и буду стоять, пока вы произносите панегирик.

— Очень хорошо, Фрэнк; вы можете встать и теперь.

Он так и сделал; затем незнакомец тоже поднялся и, воздев рубиновую винную флягу, начал говорить.

Глава XXX, открываемая поэтической похвальной речью прессе и продолжаемая разговором, вдохновлённым этой похвалой

— Хвалите прессу, но не как Фауст, а как Ной; хвалите и почитайте прессу, настоящую прессу Ноя, от которой исходит истинный свет. Хвалите прессу, не чёрную прессу, но красную; позвольте нам похвалить и возвеличить прессу, красную прессу Ноя, от которой исходит вдохновение. Вы, журналисты Верхнего и Нижнего Рейна, присоединитесь ко всем, кто издаёт радостные новости на острове Мадейра или на Мителине. Что придаёт красноту глазам, делая жизнь людей долгой от правдивых новостей? Хвала прессе, розовой прессе Ноя, от которой растут сердца, давая людям возможность долго оставаться в розовом вине. Кто там болтает и спорит? Кто без причины наносит раны? Хвала прессе, доброжелательной прессе Ноя, которая связывает друзей, которая бережёт от беды. Кого тут можно подкупить? Кого тут можно связать? Хвала прессе, свободной

прессе Ноя, которая не будет лгать по велению тиранов, но заставит тиранов говорить правду. Итак, давайте похвалим прессу, открытую старую прессу Ноя; давайте расхвалим и возвеличим прессу, старую смелую прессу Ноя; затем позвольте нам гирляндой роз увенчать прессу, великую старую прессу Ноя, из которой льются потоки знания, которые дают человеку счастье, более реальное, чем его боль.

— Вы обманули меня, — улыбнулся космополит, как только оба заняли свои места. — Вы лукаво использовали в своих интересах мою простоту, вы лукаво сыграли на моём энтузиазме. Но не берите в голову; неточности, если таковые имеются, были столь очаровательны, что я почти желаю, чтобы вы повторили их снова. Что касается поэтичного определения левизны в вашем панегирике, то я охотно признаю широкие привилегии поэта. В целом это было вполне в лирическом стиле — стиле, которым я всегда восхищаюсь из-за духа веры королевы Сибиллы и стойкости, которая, возможно, и есть её первооснова. Но если идти дальше, — глядя на стакан своего компаньона, — то для лирика вы слишком долго позволяете бутылке оставаться рядом с вами.

— Лира и виноградная лоза навсегда! — вскричал другой в восторге или с тем чувством, каким оно казалось со стороны, исключая какой-либо намёк. — Виноградная лоза, виноградная лоза! Не она ли самая изящная и щедрая из всех растений? И разве оттого, что она такова, у неё не какое-либо, а божественное предназначение? Я буду жив, пока виноградная лоза, виноградная лоза Катоба будет цвести на моей могиле!

— Светлая мысль, а вот и ваш стакан.

— О, о, — делая небольшой глоток, — но вы, почему вы не пьёте?

— Вы забыли, мой дорогой Чарли, что я сказал вам о моём предыдущем общении сегодня.

— О, — вскричал другой, уже, скорее, в лирической манере, контрастирующей с простой общительностью своего компаньона. — О, один человек не может выпить слишком много старого доброго вина — подлинного, зрелого старого портвейна. Фу, фу! Пьём дальше.

— Тогда оставьте меня в компании.

— Конечно, — с оживлением, делая ещё глоток, — официанты предполагают, что у нас есть сигары. Не думайте о своей трубке, с трубкой лучше в одиночестве. Я сказал, официант, принесите какие-нибудь сигары — самые лучшие.

Они были принесены в приятной маленькой керамической посудине западного образца, в некоем индейском стиле, коричневого цвета, завёрнутой в массу из табачных листьев, чьи длинные, зелёные плоскости, причудливо сплетённые, слились при первоначальном взгляде с красными сторонами сосуда.

Вместе с ними было принесено два аксессуара, также из глиняной посуды, но меньшего размера и шарообразной формы; один, в виде яблока, вспыхивал красным и золотым светом, как живой, и через расселину в его вершине вы могли видеть, что он был полым. Он предназначался для пепла. Другой, серый, с шершавой поверхностью, похожий на осиное гнездо, был спичечной коробкой.

— Вы, — сказал незнакомец, нажимая на сигарную подставку, — помогите себе, и я подпалю вам, — беря спичку. — Ничто мне не нравится так, как табак, — добавил он, когда взвились сигарные пары, переводя взгляд от курильщика на глиняную посуду. — Над моей могилой будет расти виргинский табак вместе с виноградной лозой Катобы.

— Импровизируете над вашей первой мыслью, которая сама по себе была хороша, — но вы ведь

не курите.

— Это пока, это пока. Позвольте мне наполнить ваш стакан снова. Вы не пьёте.

— Спасибо, но пока не сейчас. Наполните ваш стакан.

— Но сейчас, но сейчас пейте вы. Не думайте обо мне. Теперь, когда это затрагивает меня, позвольте сказать, что тот, кто из высококачественного аристократизма или фанатической морали отказывает себе в табаке, выносит более серьёзное сокращение недорогих жизненных удовольствий, чем денди в своих железных ботинках или холостяк на своей железной раскладушке. В то время как для тех, кто с радостью наслаждался бы табаком, но не может, табак — вещь, о которой филантропы должны плакать, видя её снова и снова, и для них безумие — возвращаться к сигаре, которой, из-за их слабого живота, они не могут наслаждаться, в то время как каждый позорный отказ от сладкой мечты о невозможном удовольствии постоянно вынуждает их жестоко страдать ещё раз — как бедных евнухов!

— Я соглашаюсь с вами, — сказал космополит, всё ещё серьёзно собранный, — но вы не курите.

— Сейчас, сейчас курите вы. Поскольку я го-

ворил о…

— Но почему вы не курите? Прошу вас. Вы же не думаете, что табак в союзе с вином слишком сильно усиливает свойство этого же вина, — короче говоря, при определённых условиях имеет тенденцию ослаблять самообладание, не так ли?

— Так думать — это изменять дружеским отношениям, — горячо отказываясь от ответственности. — Нет, нет. Но факт в том, что сейчас у меня во рту нехороший аромат. Поев дьявольского рагу на обеде, я не буду дымить, пока не смою затянувшееся послевкусие от него этим вином. Но вы продолжайте курить и, прошу, не забывайте пить. Между прочим, в то время как мы сидим здесь нашей компанией, давая свободу общению ни о чём, ваш необщительный друг, Енотовый хвост, из-за чистого контраста переносит к воспоминанию. Не отсутствуй он здесь и сейчас, он увидел бы, скольких реальных сердечных радостей он лишает себя из-за своего неотёсанного вида.

— Почему же? — подчёркнуто медленно беря его сигару. — Я решил, что я отрезвил вас там. Я думал, что вы пришли к лучшему пониманию моего эксцентричного друга.

— Ну, я тоже думал так, но первые впечат-

ления вернулись, знаете ли. По правде говоря, теперь, когда я думаю о нём, меня убеждают сделать вывод из случайной новости, которая пришла от Енотовой шкуры во время небольшого интервью, которое я имел с ним, из которой следовало, что он родом не миссуриец, а несколько лет назад приехал на Запад, сюда, молодой мизантроп с другой стороны Аллеган, не с целью нажить состояние, а сбежать от людей. Теперь, когда легкомысленно говорят, что иногда эффект оказывается больше результата, я не должен задаваться вопросом, что если бы его история была исследована, то было бы понятно, что косвенным порождением этой печальной особенности в Енотовой шкуре стало его отвращение к прочитанному в детстве совету Полония Лаэрту, — совету, который внушает эгоизм и стоит почти наравне со своеобразной балладой на экономические темы о получении прибыли и который иногда замечают приклеенным напротив столиков мелких розничных торговцев в Новой Англии.

— Я действительно надеюсь теперь, мой дорогой друг, — сказал космополит тоном, содержащим мягкий протест, — что в моём присутствии, по крайней мере, вы не выкажете никакого

предубеждения к сынам пуритан.

— Воистину, сейчас, несомненно, лучшая пора и славные времена, — уязвлённо воскликнул другой, — для пуританских сынов! И кто такие пуритане, что я, алабамец, должен их почитать? Из ряда неприятных тщеславных старых Мальволио, над которыми смеётся Шекспир, наполняя ими свои комедии.

— Уверен, что вы собираетесь сказать что-то относительно Полония, — заметил космополит с мягкой снисходительностью, выразившейся в терпимости более умного собеседника к раздражительности менее умного. — Как вы охарактеризуете его совет Лаэрту?

— Как ложный, фатальный и клеветнический, — воскликнул другой с уровнем страсти, приличествующей моменту нанесения клейма на семейный гербовый щит, — и для отца, дающего его сыну, — чудовищный. Обстоятельство, которое вы видите, является таковым: сын уезжает за границу, и впервые. Что делает отец? Благословляет его? Взывает к Библии? Нет. Наполняет его принципами моего лорда Честерфилда, принципами Франции, принципами Италии.

— Нет, нет, не быть благотворителем, совсем нет. Да ведь не говорится ли им среди прочего:

Друзья твои, что есть, которых ты принять старался,

Сцепились ли железными крюками с душой твоей?

— Это совместимо с принципами Италии?

— Да, Фрэнк. Разве вы не видите? Лаэрт должен проявить важнейшую из забот о своих друзьях — своих верных друзьях — на том же самом принципе, на котором этот решающий винный довод проявляет важнейшую из забот, что эти бутылки и доказывают. Когда бутылка получает острый удар и не ломается, он говорит: «Ах, разве я буду держать эту бутылку?» Зачем? Потому что он любит её? Нет, у него есть особая возможность для её использования.

— Дорогой, дорогой! — повернувшись со страдальческой мольбой. — Это такая критика — фактически это не так.

— Разве это не правда, Фрэнк? Вы настолько благодушны ко всем, но посмотрите на интонацию его речи. Теперь я адресую её вам, Фрэнк; есть ли что-нибудь в ней поучительного для высоких, героических, бескорыстных усилий? Что-то вроде «продайте всё, что вы имеете, и раздайте бедным»? И в других пунктах разве

не состоит самое большое желание отцовского ума в том, что его сын должен лелеять благородство для себя или быть настороже относительно противоположного свойства у других? Предостерегающий безбожник, а совсем не набожный советник этот Полоний. Я ненавижу его. И при этом мне непереносимо слышать, как ваши ветераны во всём мире утверждают, что тот, кто идёт по жизни с советом старого Полония, никогда не окружит себя недоброжелателями.

— Нет, нет, я надеюсь, что никто не утверждает этого, — возразил космополит, спокойно отстраняясь и укладывая свою руку на всю длину стола. — Я надеюсь, что никто не подтверждает этого потому, что, если совет Полония взять в вашем понимании, тогда его рекомендация опытным людям, казалось бы, содержит более или менее неприглядное отражение человеческой натуры. И всё же, — озадаченным тоном, — ваши предложения представили вещи в таком странном свете, что я фактически пришёл к небольшому изменению моих предыдущих понятий о Полонии и о том, что он говорит. Буду откровенным, из-за вашей изобретательности вы неразрешимы для меня до такой степени, что для совпадения наших мнений в целом я почти должен признать,

что я сейчас постепенно начинаю чувствовать вредное действие на незрелый ум, слишком много общающийся со зрелым, за исключением первых основных общих принципов.

— Реально и истинно, — вскричал другой со своего рода щекотливой скромностью и благодарностью, — моё понимание слишком слабо для того, чтобы выбросить якорь и сжать в объятиях другого. Я действительно в эти дни услышал неких великих учёных, хвастовство которых состоит в том, что они получили меньше последователей, чем жертв. Но для меня, имей я власть так поступать, желать этого бессердечно.

— Я верю вам, мой дорогой Чарли. И всё же я повторяю, что вашими комментариями о Полонии вы, я не знаю как, но расстроили меня; поэтому теперь я не вижу точно, какие имел в виду слова Шекспир, которые он вложил в уста Полония.

— Некоторые говорят, что он хотел с их помощью открыть глаза людям, но я так не думаю.

— Открыть им глаза? — отозвался эхом космополит, медленно раздвигая руки. — На что в этом мире можно открыть глаза? Я имею в виду — на что вы обратили внимание?

— Ну, одни говорят, что он хотел испортить нравы людей; и ещё есть другие, говорящие, что

он не имел никакого специального намерения вообще, но в действительности открыл им глаза и испортил их нравы одним действием. Всего этого я и не приемлю.

— Конечно, вы отклоняете столь сырую гипотезу; и всё же признаюсь, что, читая Шекспира в моём туалете и поразившись некоему пассажу, я положил вниз том и сказал: «Этот Шекспир — странный человек». Время от времени представляясь безответственным, он не всегда кажется надёжным. Иногда он производит определённое впечатление — как я назову его? — скрытое солнце, скажем о нём, однажды просиявшее и мистифицированное. Теперь я должен бояться говорить о том, что я иногда думаю, — что скрытое солнце, возможно, он и есть.

— Вы думаете, что это свет истины? — с тайной сердечностью снова наполнив стакан другого.

— Я тут предпочёл бы отказаться отвечать на категорический вопрос. Шекспир должен быть своего рода божеством. Благоразумные умы, бесспорно тайно рассуждающие о нём, остаются в состоянии длительного послушничества. Однако, затрагивая состояние обета, мы определяем его границы. Сам Шекспир должен быть обожаем, без придирок; но, поскольку мы

делаем это со смирением, то мы можем немного собрать его характеры. Возьмём сейчас его Автолика, человека, который всегда озадачивал меня. Как отнестись к Автолику? Мошенник этот столь счастливый, столь удачливый, столь торжествующий, что его почти очаровательную порочную карьеру добродетельный человек низвёл бы до дома призрения (было такое мыслимое непредвиденное обстоятельство), если б они вот-вот смогли бы друг с другом поменяться местами. И всё же посмотрите на слова, исходящие из его уст. «О, — кричит Автолик в момент своего появления, скача весело, как олень, по сцене. — О, — смеётся он, — о, что за глупости — Честность и Вера, его присягнувший брат — очень простодушный джентльмен». Подумайте об этом. Веру, то есть уверенность — то есть вещь в этой вселенной священную, — грохоча, называет самим простодушием. И есть сцены, в которых фигуры мошенников кажутся намеренно созданными для проверки его принципов. Следите, Чарли, я не говорю, что это так, отнюдь нет; но я говорю, что так видится. Да, Автолик кажется необходимой частью действия из-за убеждения, что меньше можно получить, взывая к карманам, нежели очищая их, и лучше быть

опытным мошенником, чем неуклюжим нищим; и по этой причине он полагает, что мягкие головы превосходят численностью мягкие сердца. Пронырливый дьявольский рекрут Автолик радостен, как будто он носит небесные ливреи. Когда под воздействием характера и занятий он становится злым и столь же счастливым, тогда моё единственное утешение состоит в факте, что такое существо никогда не существовало, кроме как в сильном воображении, которое его вызвало. И всё же он — существо, живое существо, хотя всего лишь был придуман автором. Возможно, что в своей бумажно-чернильной подаче Автолик воздействует на человечество эффективнее, чем состоящий из плоти и крови. Может ли его влияние быть благотворным? Правда, в Автолике есть веселье; но хотя, согласно моему принципу, смех в основном и выступает в качестве спасения, всё же случай Автолика исключителен потому, что он — это юмор, который, если можно так выразиться, сглаживает его вредоносность. Бравирующий озорством Автолик и проникает в мир со смехом точно так же, как пиратская шхуна с цветными парусами пускается в море по смазанным жиром путям.

— Я одобряю Автолика так же мало, как

и вы, — сказал незнакомец, который во время банальностей своего компаньона казался менее внимательным к ним, чем к назревающим в его собственном уме оригинальным концепциям, предназначенным затмить их. — Но я не могу полагать, что Автолик, будучи озорным, что он и показывает на сцене, может иметь почти такой же характер, как и Полоний.

— Я не знаю этого, — прямо и всё же в рамках невежливости возразил космополит, — и, чтобы уверенно принять вашу точку зрения старого придворного, — если между ним и Автоликом вы поднимаете вопрос о непривлекательности, — я предоставлю вам самое лучшее из всего, что пришло недавно. Если начинающему жулику может доставить удовольствие щекотание живота, то в то же самое время он, поглощённый сухой идеей, может не поморщиться от злобы.

— Но Полоний не сух, — сказал другой взволнованно, — он распускает слюни. Он видит унесённого ветром старого щёголя с мудрым взглядом и немеющего от счастья. Его мерзкая мудрость сделала ещё более мерзкой его мерзкую слезливость. Поклоняющийся и раболепный, старый грешный приспособленец — разве такой тип должен подавать пример мужества для

молодёжи? Осторожный, благопристойный, выживший из ума старик; по-старчески благоразумный, бездушный до глупости! Старая собака в ошейнике, парализованная на одну сторону, и эта сторона — благородство. Его душа вышла напрочь. Только природа автоматически держит его на его ногах. Как некоторые старые деревья, кора которых переживает сердцевину всего лишь как округлая оправа для гнили, всё ещё продолжают стоять прямо, так и тело старого Полония пережило его душу.

— Ну-ка, — сказал космополит с серьёзным видом, почти рассерженным, — хотя я не уступаю никому в восхищении серьёзностью, всё же, я полагаю, даже у серьёзности могут быть пределы. Для человеческого разума резкие слова всегда более или менее неприятны. Кроме того, Полоний — старик, как я помню его на сцене, с белоснежными локонами. Тогда милосердие требует, что с такой персоной — думайте о ней как хотите — должно, по крайней мере, относиться с любезностью. Кроме того, старость — зрелость, и, я когда-то слышал, говорят: «Лучше зрелый, чем сырой».

— Но гнилой не лучше сырого! — энергично опуская свою руку на стол.

— Да почему же, благословите меня, — со скромным удивлением рассматривая своего разгорячённого товарища, — вы так налетели на этого несчастного Полония — существо, которого никогда не было и не будет? И всё же с точки зрения христианства, — добавил он задумчиво, — я не считаю, что гнев против этого фиктивного претендента — меньшая мудрость, чем гнев против человека из плоти, безумного, обезумевшего от чего-либо.

— Так это или не так, — возразил другой, возможно, немного раздражённо, — но я придерживаюсь того, что я сказал, что лучше быть сырым, чем гнилым. И того, что нужно бояться в этой главе, можно узнать из неё, — это как с лучшим из сердец, как с лучшей из груш: опасный эксперимент — задерживаться слишком долго на сцене. Это сделал Полоний. Благодаря удаче, Фрэнк, я молод, каждый зуб звенит в моей голове, и если хорошее вино сможет поддержать меня таким, каков я есть, то я должен буду долго таким и оставаться.

— Верно, — с улыбкой. — Но вино, чтобы сотворить добро, должно быть выпито. Вы говорите много и хорошо, Чарли, но выпили мало и равнодушно — пресытились.

— Сейчас, сейчас, — с поспешным и озабоченным видом. — Если я правильно помню, Полоний намекает так часто, как только может, и не церемонясь, что неосмотрительно оказывать финансовую помощь бедствующему другу. Он изрекает некую несвежую мысль об одновременной «потере ссуды и друга», не так ли? Но как там наша бутылка? Уже приклеилась? Пусть она двигается, мой дорогой Фрэнк. Хорошее вино, и своей душой я начинаю чувствовать его, и собой старого Полония — да, это вино, я боюсь, что оно настроит меня против этой отвратительной старой собаки без зубов.

При этих словах космополит, держа сигару во рту, медленно поднял бутылку и медленно выставил её на просвет, внимательно глядя на неё, как на термометр в августе, чтобы увидеть не сколь низок уровень, а сколь он высок. Затем выпустил облако дыма, поставил её и сказал:

— Ну, Чарли, если то вино, которое вы выпили, вышло из этой бутылки, то в этом случае я должен сказать, что если — предположим такой случай, — что если бы у одного приятеля была цель одурманить другого и первый приятель имел бы ваши способности, то операция вышла бы сравнительно недорогой. Что вы думаете,

Чарли?

— Почему же, я думаю, что не очень восхищён гипотезой, — сказал Чарли с негодующим видом, — это небезопасно, Фрэнк, зависеть от риска слишком шутливых предположений относительно друзей.

— Почему же? Храни вас Бог, Фрэнк, моя гипотеза была не адресной, а обобщённой. Вы не должны быть столь раздражённым.

— Если я раздражён, то это из-за вина. Иногда, когда я запросто пью, оно раздражает меня, я замечал.

— Запросто пьёте? Вы ещё не выпили ни одного стакана. В то время как я, должно быть, четверть или пятую часть благодаря вашей назойливости; чтобы не говорить обо всём, я пил этим утром за добрые старые знакомства. Пейте, пейте; вы должны пить.

— О, я пил, пока вы говорили, — рассмеялся другой, — вы не заметили этого, но я выпил свою порцию. Есть особый способ, которому я выучился у тихого старого дядюшки, который раньше неосознанно использовал свои очки. Наполните также и мой стакан. Вот! Сейчас этот старый пень далеко, и у меня новая сигара. Славная дружба навеки! — снова в лирическом настроении. —

Скажите, Фрэнк, разве мы не люди? Я говорю, разве мы не люди? Скажите мне, разве не люди породили нас, как прежде перед небесами, и, как я полагаю, людьми будут те, кого мы породим? Лейте, лейте, лейте выше, мой друг. Позвольте устремиться рубиновому потоку и всем рубиновым течениям вместе с ним! Налейте повыше! Будем веселиться. И весёлость — что это? Слово, я имею в виду; что оно выражает? Совместное проживание. Но летучие мыши живут вместе, и вы когда-нибудь слышали о весёлых летучих мышах?

— Если я когда-нибудь слышал, — заметил космополит, — то как своё ускользающее воспоминание.

— Но почему вы никогда не слышали ни о душевных летучих мышах, ни о ком-либо ещё? А потому, что летучие мыши, хотя они живут вместе, не рады обществу. Летучие мыши — души неприветливые. Они не люди; и как восхитительно думать, что слово, которое среди людей означает самый высокий уровень сердечности, подразумевает обязательный вспомогательный глагол, радостно благословляющий бутылку! Да, Фрэнк, чтобы сосуществовать, в самом прекрасном смысле этого слова, мы должны пить вместе.

И поэтому не удивительно, что тот, кто не любит вино, тот несчастный трезвенник с истощённым сердцем, — сердцем, подобным сжавшейся посиневшей старой сумке, и кто его полюбит? Пошёл он прочь, рваной тряпкой висеть ему — неприветливая душа!

— О, теперь, теперь разве вы не можете быть дружелюбным, не будучи строгим? Мне нравится лёгкая, без волнений, весёлость. Трезвому человеку, воистину, — хотя по своей части я, естественно, люблю звонкий стакан, — я не предпишу свой характер как закон для другой натуры. Поэтому не оскорбляйте трезвого человека. Весёлость — одна хорошая вещь, а умеренность — другая хорошая вещь. Поэтому не будьте однобоким.

— Ну, если я однобок, то это из-за вина. Действительно, действительно, я слишком потворствую себе. Моё волнение из-за небольшой провокации тому пример. Но вы — более крепкая голова; пейте. Между прочим, если говорить о сердечности, то она весьма выросла в эти дни, не так ли?

— Это так, и я сей факт приветствую. Ничто лучше не свидетельствует о возрастании гуманных настроений. В ранние и первые человеческие века — в века амфитеатров и гладиаторов — сердечность была ограничена, главным образом,

домашним очагом и столом. Но в наше время — век акционерных обществ и лёгкости — с этим драгоценным качеством происходит то же, что и с драгоценным золотом в старом Перу, когда Писарро обнаружил корону инки, замаскированную под видом соусника у поварёнка. Да, у нас золотые мальчики, современные, сердечность присутствует везде — раздаётся щедро, как лунный свет.

— Правда, правда, я расчувствовался снова. Сердечность вошла в каждое место и в каждую профессию. У нас есть душевные сенаторы, душевные авторы, душевные лекторы, душевные врачи, душевные священнослужители, душевные хирурги, и следующими у нас будут душевные палачи.

— Относительно вышеупомянутого человеческого типа, — сказал космополит, — я верю, что развивающийся дух сердечности наконец позволит нам обойтись без них. Нет убийц — нет палачей. И конечно же, когда весь мир должен будет стать душевным, то станет столь же неуместно говорить об убийцах, как в обращённом в христианство мире говорить о грешниках.

— Если следовать этой мысли, — сказал другой, — то за каждым благословением следует

некое зло и…

— Стойте, — сказал космополит, — это скорее выглядит как свободное высказывание, чем как доктрина, подающая надежду.

— Ну, хорошо, принимая сказанное за правду, мы обращаемся к будущему превосходству духа сердечности, который одолеет палача так же, как это произошло с ткачом, когда прялка Дженни заменила его. Оказавшись без дел, к чему приложит руки Джек Кетч? К забою скота?

— То, что он обратит свои руки к этому, при соответствующих обстоятельствах будет наиболее вероятным, если в некоторых умах возникнет этот вопрос. Из-за одного этого я склонен думать — и я полагаю, что это не простая брезгливость, — что это занятие едва ли было бы достойно наших характеров, поскольку человек, когда-то нанятый разделить последние часы несчастных людей, оставшись без этого занятия, самостоятельно должен будет перейти к заполнению последних часов несчастного рогатого скота. Я предположил бы, что личный вёрткий камердинер — призвание, к которому человек, возможно, не пришёл бы, не будь он хорошо приспособлен к ловкому обслуживанию другого человека. В частности, среди тех, кто завязывает

узлы на мужском шейном платке, я знаю немногих, кто, по всей вероятности, был бы, вследствие предыдущего занятия, более опытен, чем профессионал в этом вопросе.

— Вы серьёзно? — обращаясь к безмятежному собеседнику с неподдельным любопытством. — Вы действительно всерьёз?

— Я полагаю, что никак не иначе, — мягко прозвучал серьёзный ответ. — Но, говоря о развитии душевности, я не оставляю надежды на то, что она в конечном счёте окажет своё влияние даже на столь сложного субъекта, как мизантроп.

— Душевный мизантроп! Я думаю, что человеку, натягивающему своим телом верёвку, довольно сложно говорить о душевных палачах. Душевный мизантроп мыслим не более, чем бездушный филантроп.

— Верно, — лёгким движением целиком стряхнув небольшой цилиндрический пепел со своей сигары, — верно, они оба, названные вами, стоят в оппозиции друг к другу.

— Почему тогда вы говорите, что тут как будто… появился этакий бессердечный филантроп?

— Это так. Мой эксцентричный друг, которого вы называете Енотовой шкурой, является этому примером. Не скрывает ли он, как я объяснил вам,

под неприветливым тоном филантропическое сердце? Сейчас он душевный мизантроп, затем, спустя некоторое время, он изменится и станет своей противоположностью; под приветливым тоном он будет скрывать сердце мизантропа. Короче говоря, приветливый мизантроп станет новым видом чудовища, но всё-таки ни малейшим улучшением оригинала, поскольку, вместо того чтобы гримасничать и бросать камни в людей, как тот самый бедный старый сумасшедший Тимон, он примется играть на скрипке и веселить мир танцами. Одним словом, насколько развитие Обращения в христианство смягчает тех, чей ум невозможно изменить, настолько же оно будет доказывать и развитие общения. И так же, благодаря душевности, мизантроп, отученный от своих грубых манер, приобретёт утончённость и мягкость, — возможно, до такой привлекательной степени, что, воистину, в ближайший век он будет почти так же популярен, — мне искренне жаль так говорить, — как некоторые филантропы, которые таковыми сейчас не кажутся, доказательством чему служит мой эксцентричный друг, прежде упомянутый.

— Хорошо, — вскричал другой, немного утомившись, возможно, от такого абстрактного

предположения, — хорошо, однако это может прийти с веком грядущим, конечно же, в веке, который идёт сейчас, в любом, который грядёт, — он должен быть добросердечным, или он не может быть совсем. Поэтому наливайте, наливайте и будьте душевным.

— Я стараюсь изо всех сил, — сказал космополит всё ещё спокойно и общительно, — с тех пор, как мы говорили о Писарро, золоте и Перу; несомненно, вы знаете, что когда испанец впервые вошёл в палату сокровищ Атэхэлпу и увидел такое обилие пластин, сложенных справа и слева с шалостью старых бочек во дворе пивовара, то у обделённого человека возникло опасение относительно подлинности столь огромного богатства. Он шёл, простукивая яркие вазы своими костяшками. Но всё это было золото, чистое золото, хорошее золото, монетное золото, такое же, как то, что со старанием было бы отпечатано в Ювелирном зале. И именно так те же обделённые умы из-за их собственной неискренности не имеют никакой веры в гуманизм и сомневаются, что свободная открытость в этом возрасте может быть поддельной. Они — маленькие Писарро на своём пути — из-за своей царственной мужской душевности ошеломлены недоверием

к ней же самой.

— Пусть держится подальше такое недоверие от вас и от меня, мой сердечный друг! — пылко вскричал другой. — Наливайте, наливайте!

— Ну, мне всё время это кажется разделением труда, — улыбнулся космополит. — Я забочусь обо всех пьющих, а вы заботитесь обо всех — по доброте. Но вы — натура, способная поступать так ради большинства населения. И теперь, мой друг, — со странно серьёзным тоном, очевидно, в предзнаменование чего-то весьма важного и очень вероятно, что в отходе от личного интереса, — вино, вы знаете, открывает сердце и…

— Открывает его! — с ликованием. — Прямо-таки растапливает. Каждое сердце сковано льдом, пока вино не расплавит его и не откроет нежную траву и сладость трав, расцветающих ещё ниже, со всеми драгоценными секретами, глубоко скрытыми, как драгоценный камень в сугробе, пролежавший там незамеченным всю зиму до весны.

— И потому, мой дорогой Чарли, одна из моих небольших тайн уже вскоре будет раскрыта.

— Ах! — нетерпеливо ёрзая на своём стуле. — Что это?

— Не будьте столь порывистым, мой дорогой

Чарли. Позвольте мне объяснить. Вы, разумеется, видите, что я — человек, не обладающий абсолютной гарантией; в целом я, говоря иначе, человек сложный; поэтому, если я в настоящее время могу показать себя с другой стороны, то причина этого состоит в сердечности, которую вы проявили во всём вашем разговоре, и особенном благородстве, благодаря которому, подтверждая ваше хорошее мнение о людях, вы сообщили, что вы никогда не смогли бы солгать какому-либо человеку, более всего ввиду вашего негодования по поводу особо грубого пассажа в совете Полония, — короче говоря, короче говоря, — с невероятным смущением, — как мне выразить разом то, что я имею в виду, если не добавить к этому слов о цельности вашего характера, из-за которой вы побуждаете меня положиться на ваше благородство, одним словом, поверить в вас, поверить абсолютно?

— Я вижу, я вижу, — с усиленным интересом, — что-то вроде момента, когда вы желаете довериться. Тогда что это, Фрэнк? Любовная интрига?

— Нет, не это.

— Что же тогда, мой дорогой Фрэнк? Говорите — положитесь на меня до последнего. Помимо

всего прочего.

— Тогда, помимо прочего, — сказал космополит, — я нахожусь в такой ситуации, когда мне срочно нужны деньги.

Глава XXXI
Метаморфоза, более удивительная, чем у Овидия

— Не хватает денег! — отталкивая свой стул назад, как от внезапно раскрывшейся ловушки или кратера.

— Да, — наивно согласился космополит, — и вы дадите мне взаймы пятьдесят долларов. Я мог бы почти пожалеть, что не нуждаюсь в большем, и исключительно ради вас. Да, мой дорогой Чарли, ради вас; ради того, чтобы вы могли лучше показать своё благородство, доброту, мой дорогой Чарли.

— Я никакой не ваш дорогой Чарли! — вскричал другой, вскакивая на ноги и застёгивая своё пальто, как будто торопливо отбывая после долгого путешествия.

— Да почему же, почему? — с мукой в голосе.

— Никакого вашего «почему, почему, почему»! — вскидывая ногу. — Идите к дьяволу, сэр! Нищий, самозванец! Никогда за всю свою жизнь я так не обманывался в человеке.

Глава XXXII, показывающая, что время волшебства и фокусников ещё не закончилось

Вот так, произнеся, или, скорее, прошипев эти слова, собутыльник претерпел множество метаморфоз, о которых каждый прочитает в магических книгах. Из первоначальной материи выскочило новое существо. Кадм превратился в змею.

Космополит поднялся, следы прежних чувств исчезли; секунду он пристально смотрел на своего преобразившегося друга, затем, достав из своего кармана десять монет достоинством в полдоллара, наклонился и разложил их, одну за другой, вокруг себя и, отступив на шаг, принялся махать кистями своей длинной трубки с видом некроманта, усиливая движение воздуха своим костюмом и сопровождая каждый взмах торжествующим ропотом из каббалистических слов.

И он тут же внезапно застыл в магическом кольце с восторженным видом, демонстрируя все признаки абсолютного очарования — по-

вернувшись боком, в неподвижной позе, с неподвижным взглядом, очарованный не столько взмахами палочки, сколько десятью победными талисманами на полу.

— Явись же вновь, явись же вновь, явись же вновь, о мой бывший друг! Замени это отвратительное явление блаженной формой, и да будут символом твоего возвращения слова «мой дорогой Фрэнк».

— Мой дорогой Фрэнк, — прокричал затем оживший друг, с почтением выходя из кольца, с вернувшимся самообладанием возвращая себе утраченную индивидуальность, — мой дорогой Фрэнк, какой же вы забавный человек, наполненный забавой, как яйцо белком. Как вы могли сказать мне, что абсурдная история нуждается в том, что вы показали? Но я оценил хорошую шутку слишком хорошо, чтобы испортить её, приняв соответствующий вид. Конечно, я избалованный субъект и со своей стороны скажу, что, несмотря на всю жестокость, вы разыграли меня. Ну, этот скромный эпизод фиктивного отчуждения не преумножит восхитительную действительность. Давайте сядем снова и прикончим нашу бутылку.

— Со всей своей сердечностью, — сказал кос-

мополит, пропуская некроманта с той же самой лёгкостью, с какой он принял его возвращение. — Да, — добавил он, спокойно собрав золотые частицы и возвращая их в щель своего кармана, — да, время от времени я превращаюсь в забавного человека, в то время как вы, Чарли, — с нежностью глядя на него, — довольно точно рассказываете о вашей забаве; никогда не видел, чтобы вторая шутка оказывалась лучше первой. Вы сыграли свою роль лучше, чем я думал; вы сыграли её, Чарли, вживую.

— Видите ли, я когда-то участвовал в драматическом кружке; этим всё объясняется. Но подходите, наливайте, и давайте поговорим о чём-нибудь ещё.

— Хорошо, — согласился космополит, садясь и спокойно наполняя до краёв свой стакан. — О чём мы будем говорить?

— О чём вам нравится, — располагаясь с некоторым беспокойством.

— Ну, а если мы поговорим о Шарлемоне?

— Шарлемон? Что за Шарлемон? Кто такой Шарлемон?

— Вы должны послушать, мой дорогой Чарли, — ответил космополит. — Я расскажу вам историю Шарлемона, безумного месье.

Глава XXXIII, смысл которой может подойти к любому, кто этого заслуживает

Но перед тем как будет рассказана довольно серьёзная история Шарлемона, стоит любезно дать ответ неким голосом, который, как я полагаю, я слышал, и который попал в поле зрения в прошлых главах, и более подробно в последней, где, появившись с некоторой шалостью, он восклицает: «Насколько же нереально всё это!» Действительно, кто-нибудь когда-нибудь одевался или действовал так, как ваш космополит? И кто-нибудь, ответьте, когда-нибудь одевался или вёл себя как шут?

Странно, что в сфере развлечения такая серьёзная преданность реальной жизни должна быть истребована любым, кто, занимаясь подобной работой, способен показать, что он вполне готов пропустить реальную жизнь и обратиться на какое-то время к чему-то другому. Да, действительно, странно, что любой может протестовать против того, что его утомляет; поэтому любой человек, по любой причине считающий реальную

жизнь унылой, должен всё же потребовать того, чтобы его внимание отвлекалось от того, чему он должен быть верен до отупения.

Есть другая группа людей, к которой мы примыкаем, вооружившись терпением, садясь за развлекательный труд, поскольку участвуем в игре с большими ожиданиями и чувствами. Представители её видят, что воображение должно создавать сцены, отличающиеся от прежних толп, скапливающихся вокруг таможенного прилавка, и от тех же самых прежних блюд на пансионном столе, и от характеров, отличающихся от характеров тех же самых старых знакомых, с которыми они встречаются, идя тем же самым прежним путём каждый день по той же прежней улице. И как в реальной жизни правила приличия не позволяют людям выходить из себя с той же несдержанностью, что разрешена на сцене, так и в беллетристике они стараются не столько ради большего развлечения, но, в основе своей, даже ради большей реальности, которую может показать сама реальная жизнь. Поэтому хоть они и желают новизны, но они хотят также и естественности, но естественности свободной, взбодрённой, преобразованной действительностью. При этом образе мыслей люди

в беллетристике подобны людям на сцене, которые должны одеваться так, как никто в точности не одевается, говорить так, как никто в точности не говорит, поступать так, как никто в точности не поступает. С беллетристикой как с религией: она должна представлять другой мир — и всё-таки тот же самый, с которым мы чувствуем связь.

Если затем что-то прощается действующему из лучших побуждений персонажу, то, конечно, можно немногое простить тому писателю, который во всех своих сценах не ищет ему помощников, поскольку в его понимании подразумевается желание быть более снисходительным к любителям развлечений, перед которыми никогда не появится арлекин в слишком пёстром пальто и не совершит слишком фантастические прыжки.

Ещё одно слово. Хотя все знают, насколько бесполезно бывает во всех случаях само доказательство, не берите в голову, что убеждённый им слушатель никогда не оказывается в заблуждении; всё же для человека весьма ценно видимое ему одобрение для того, чтобы успокоиться, хотя воображаемое осуждение, не относящееся к работе воображения, штука весомая. Упоминание об этой слабости объясняет, почему такие чита-

тели могут решить, что они чувствуют некую гармонию между неистовым весельем наполненного цинизмом космополита и сдержанным добродушием собутыльника, и затем переносит в ту главу, где есть некое подобие этому очевидному несоответствию в другом характере; и потому на общих принципах автор скромно попытается принести извинения за это в будущем.

Глава XXXIV, в которой космополит рассказывает историю безумного месье

Шарлемон был молодым коммерсантом французского происхождения, жившим в Сент-Луисе, — человек недюжинного ума и обладавший той чистой и очаровывающей добротой, что редко встречается в совершенстве, кроме как в юных бакалаврах, имеющих время от времени примечательный элегантный наплевательский и остроумный вид. Конечно, им все восхищались и любили, как только люди умеют любить немногих. Но в возрасте двадцати девяти лет он изменился. Как человек, чьи волосы становятся седыми за ночь, Шарлемон за день превратился из человека приветливого в угрюмую личность. Своих знакомых он встречал без приветствия, своих близких друзей — нарочито вызывающе и со свирепым видом полностью игнорировал.

Кто-то, задетый таким поведением, сразу вознегодовал бы от этого со словами презрения, в то время как другой, потрясённый изменением и беспокоясь о друге, великодушно пропуская

оскорбления, попросил сказать, что явилось тайной причиной внезапной беды. Но в негодовании от этого участия Шарлемон уклонялся.

Вскоре, ко всеобщему удивлению, коммерсант Шарлемон дал объявление в официальной газете, где сообщалось, что в этот самый день он уходит из города, но прежде передаёт всю свою собственность в руки своих ответственных представителей для погашения долгов перед кредиторами.

Куда он исчез, никто не знал. Уже после, не услышав ничего о нём, предположили, что он, должно быть, покончил с собой, — предположение, несомненно, было порождено памятью о переменах, случившихся за несколько месяцев до его банкротства, — переменах, приписанных внезапному расстройству ума из-за финансовых проблем.

Прошли годы. Стояла весенняя пора, и вот в одно светлое утро Шарлемон оказался бездельничающим в кафе в Сент-Луисе — весёлый, вежливый, радушный, общительный и одетый весьма дорого и элегантно. Он не только был живой, он снова был самим собой. При встрече со старыми знакомыми он первым подходил к ним, и так, что было невозможно не встре-

тить его на полпути. Другим старым друзьям, кто не встретился ему случайно, он лично или послал, или оставил свои визитные карточки и поздравления, а ещё нескольким отправил в подарок дичь или корзины с вином.

Говорят, что мир иногда категорически неумолим, но это не относилось к Шарлемону. Мир ощущает возвращение любви к тому, кто к этому миру возвращается, как это и произошло. Выражением возобновившегося к нему интереса стал шёпот, вопрошающий шёпот, в точности как теперь, поэтому долгое время после его банкротства всё случившееся связывали с кошельком Шарлемона. Слухи в ответ на редкие недоуменные вопросы доносили, что он провёл девять лет в Марселе, во Франции, и там, приобретя второе состояние, вернулся с ним, посвятив своё будущее чистосердечной дружбе.

И снова прошли годы, и преображённый странник всё ещё оставался прежним, или, вернее, из-за своих благородных качеств рос как золотая кукуруза под живительными лучами доброго мнения. Но, тем не менее, оставалось скрытое недоумение относительно того, что вызвало такую перемену в нём в тот период, когда, в значительной степени как сейчас, он, по общему

мнению, обладал тем же самым состоянием, теми же самыми друзьями, той же самой популярностью. Но никто не думал, что перед ним опять встанет этот же вопрос.

Наконец, на обеде в его доме, после того как все гости, кроме одного, постепенно отбыли, оставшийся гость, старый знакомый, находящийся как раз под влиянием вина, принятым ради того, чтобы отогнать страх перед рискованной темой, и в манере, возможно, больше говорившей о его сердечности, чем о его такте, попросил своего хозяина объяснить одну загадку в его жизни. Глубокая меланхолия покрыла радостное лицо Шарлемона; тихо дрожа, он сидел в течение нескольких мгновений, затем пододвинул полный графин к гостю и в полный голос сказал: «Нет, нет! Когда благодаря искусству, уходу и времени цветы цветут на могиле, кто тогда решится перекопать всё снова только ради того, чтобы узнать тайну? Вина!» Когда оба бокала были наполнены, Шарлемон взял свой и поднял его, тихо добавив: «Если когда-нибудь, в грядущие дни, вы увидите под рукой руины, и, думая, что вы понимаете человечество, будете переживать из-за вашей дружбы и переживать за свою честь наполовину из-за любви к одной и наполовину

из-за страха за другую, и решите защитить мир и спасти его от греха, заранее взяв этот грех на себя, тогда поступите так, как поступил тот, о ком я теперь грежу, поскольку вы, как и он, будете страдать; но как же рады и как благодарны будете вы, если так же, как он, после всего, что случилось, сможете снова стать немного счастливей».

Когда гость ушёл, возникло убеждение, что, хоть внешне память Шарлемона счастливым образом восстановилась, всё же из-за некой инфекции старая болезнь не исчезла и что друзьям не стоило задевать столь тонкие струны.

Глава XXXV, в которой проявляется поразительная простота характера космополита

— Ну, и что вы думаете об истории Шарлемона? — осторожно спросил рассказчик.

— Очень странная, — ответил слушатель, уже не столь непринуждённо, — но действительно ли она подлинная?

— Конечно нет, это история, которую я рассказал с той же целью, что и любой другой рассказчик, — чтобы развлечь. Следовательно, если она покажется вам странной, то эта странность — роман; он — то, что противопоставляется реальной жизни; это вымысел, короче говоря, беллетристика против факта. Но спросите себя, мой дорогой Чарли, — любовно наклонившись к нему. — Я сейчас оставляю его наедине с вашим собственным сердцем, преимущественно из-за такого мотива, как намёк Шарлемона на то, как он вёл себя в моменты перемены характера — вообще-то, такой своего рода пример, который я привёл, оправдывает ли природу человече-

ского общества? Пожалуйста, скажите, со своей стороны окажете ли вы холодный приём другу — скажем, дружелюбному, бедность которого вы внезапно узрите?

— Как вы можете задавать мне такой вопрос, мой дорогой Фрэнк? Вы знаете, что я презрел бы такую подлость. — Но, повысив голос, несколько смущённо: — Действительно, хотя час ещё ранний, я всё же думаю, что должен удалиться; моей голове, — приложив свою руку к ней, — нехорошо; этот проклятый эликсир из кампешевого дерева, когда я выпил его немного, перевернул меня всего с ног на голову.

— Когда вы немного выпили этого эликсира из кампешевого дерева? Да ведь вы сошли с ума, Чарли. Говорить так о подлинном, старом, зрелом портвейне. Да, я думаю, что ваши мысли лучше прогнать, и, выспавшись, вы избавитесь от них. Идите — не приносите извинения — не объясняйтесь — идите, идите — я хорошо понимаю вас. Увидимся завтра.

Глава XXXVI, в которой к космополиту обращается мистик, после чего следует серьёзный разговор, которого стоило ожидать

Когда не без некоторой поспешности собутыльник ушёл, к космополиту приблизился незнакомец и, коснувшись его, сказал:

— Мне показалось, что я слышал, как вы сказали, будто увидите этого человека снова. Предупреждаю: вам не следует этого делать.

Тот повернулся, рассматривая говорившего; голубоглазый человек, рыжеволосый, саксонского типа, возможно, сорока пяти лет; высокий, но для собственной угловатости хорошо скроенный; мало интересующийся мнением о себе самом, но с вполне уместной простой пуританской внешностью и своего рода фермерским достоинством. Его возраст, казалось, читался больше по его лбу, вдумчивому и спокойному, чем по его общему виду, молодому и зрелому, иногда специфичному для обычного здорового тела, как оригинальному дару природы, или, в какой-то

степени, как эффекту или вознаграждению из-за умеренности к страстям, сохраняемому, возможно, его конституцией так же, как и моралью. А опрятная, миловидная, почти румяная щека, холодная и свежая, как красный цветущий клевер в холодном рассвете, была тёплым цветком, достойно сохранённым на холоде. Каждый человек, общавшийся с ним, отмечал в нём проницательность и тонкость, необычайным образом смешанные; таким образом, он казался смесью янки-коробейника и татарского священника, хотя, как казалось, в стеснённом положении первый не стал бы, по всей вероятности, играть вторую скрипку по отношению к другому.

— Сэр, — сказал космополит, поднявшись и раскланявшись со сдержанным достоинством, — если я не могу из чистого наслаждения намёком указать на человека, кто просто чокался общим стаканом со мной, то, с другой стороны, я не расположен недооценить повод, который в данном случае смог вызвать такой намёк. Мой друг, место которого ещё не остыло, удалился на ночь, оставив в своей бутылке какое-то большое или малое содержимое. Умоляю, сядьте на его место и выпейте со мной; и затем, если вы далее решите не намекать на что-то неприятное о человеке,

дружелюбное тепло которого частично перейдёт к вам, то его приветливость пройдёт через вас — и пусть будет так.

— Весьма недурная самонадеянность, — сказал незнакомец, уже по-менторски и артистически разглядывая живописного оратора, как будто он был статуей во дворце Питти. — Весьма недурная. — Затем с самым серьёзным интересом: — Ваша душа, сэр, если я не ошибаюсь, должна быть душой красивой — исполненной всеобщей любви и веры, поскольку там, где красота, там и они должны быть.

— Прекрасная вера, — согласился космополит, начав говорить тем же тоном, — и, признаться, она давно нравилась мне. Да, вместе с вами и с Шиллером я рад полагать, что красота в основе своей несовместима со скверной, и не потому ли я так эксцентричен, что уверен в скрытой доброте этого красивого существа, гремучей змеи, чья отполированная спираль гибкой шеи из желтовато-коричневого золота столь ловко завивается вверх на солнце, что никто в прерии не может созерцать её без удивления?

Когда он выдохнул эти слова, то, как показалось, серьёзно проникся их духом, — так некоторые описываемые серьёзные ораторы подсознатель-

но наклоняются и взбивают хохолок на своей голове, пока он не окажется почти таким же, как у описанного существа. Тем временем незнакомец воспринял их с некоторым удивлением, очевидно, в более мистическом ключе, и тут же сказал:

— Когда вы бываете очарованы красотой этой гадины, разве вам никогда не приходит мысль поменяться с ней местами? Почувствовать, что это вы должны были стать змеёй? С незримым скольжением в траве? Ужалить, убить при малейшем прикосновении; разве не всё ваше красивое тело — это переливающиеся ножны смерти? Короче говоря, разве никогда у вас не появляется желание почувствовать себя освобождённым от знаний и совести и насладиться некоторое время беззаботной радостной жизнью абсолютно инстинктивного, недоброго и безответственного существа?

— Такого желания, — ответил другой, неощутимо взволновавшись, — я должен признаться, у меня сознательно никогда не возникало. Такое желание, воистину, едва ли смогло бы прийти в обычном воображении, и сам я не могу рассуждать столь изысканно.

— Но теперь, когда идея предложена, — сказал

незнакомец с младенческим любопытством, — разве она не вызывает желание? Едва ли. Хотя я не думаю, что у меня есть какое-либо твёрдое предубеждение против гремучей змеи, тем не менее я не хотел бы быть ею. Если бы я сейчас был гремучей змеёй, то не было бы такой проблемы, как быть приветливым с людьми: люди боялись бы меня, и тогда я должен был бы стать очень одинокой и несчастной гремучей змеёй.

Правда, люди боялись бы вас. И почему? Из-за вашего треска, вашей гулкой дроби — звука, как говорится, подобного тряске маленьких сухих черепов в мелодии Вальса смерти. И здесь мы имеем другую красивую правду. Когда какое-либо существо становится недружелюбным к другим существам, природа по ходу дела помечает это существо даже ярче, чем яд, сделанный аптекарем. Поэтому, кто бы ни решился уничтожить гремучую змею или другое вредное существо, это — его собственная ошибка. Они должны были уважить этикетку. Об этом говорит и отрывок из Священного Писания:

> *Кто пожалеет заклинателя, который укушен змеёй?*

— Я пожалел бы его, — сказал космополит, воз-

можно, немного прямодушно.

— Но вы же не думаете, — возразил другой, всё ещё сохраняя свой бесстрастный облик, — вы же не думаете, что для человека пожалеть там, где природа безжалостна, немного предпочтительней?

— Позвольте казуистам заниматься казуистикой, но пусть сердце само за себя решит вопрос сострадания. Но, сэр, — становясь серьёзным, — из того, что я сейчас впервые понял, вы с того момента, как в жизнь было введено слово «безответственность», не использовали его. Теперь, сэр, тем не менее, из-за духа терпимости, в который я верю, я стараюсь изо всех сил никогда не пугаться любого предположения, если оно следует чести, и всё же на этот раз я должен признать, что, действительно, процитированный вами пункт вызывает моё беспокойство, потому что надлежащее представление о вселенной, то представление, которое призвано порождать соответствующую веру, учит, если я не ошибаюсь, что поскольку все явления разумно управляются, то не так много живых существ не должны следовать обязательствам.

— Действительно ли гремучая змея имеет обязательства? — спросил незнакомец со сверхъ-

естественным холодом, глядя драгоценными камнями прозрачно-голубых глаз так, что он казался скорее метафизическим водяным, чем чувствующим человеком. — Разве гремучая змея имеет обязательства?

— Если я и не подтверждаю этого, — ответил другой с осторожностью опытного мыслителя, — то я и не буду этого отрицать. Но если мы предположим, что это так, то мне не стоит говорить, что эти обязательства ни ваши, ни мои, ни Суда по гражданским делам, ни кого-то более превосходящего всех перечисленных.

Он продолжал говорить, пока незнакомец не прервал его; но только лишь прочитав его аргумент в его взгляде, космополит, не ожидая момента, когда он будет высказан словами, сразу заговорил с ним:

— Вы возражаете против моей гипотезы, но только с той позиции, что место гремучей змеи — не манифест её природы; но может ли почти такое же существо иметь предубеждение против человека? Это сводится к абсурду… доказывать обратное тщетно. Но если теперь, — продолжал он, — вы считаете, что у гремучей змеи существует способность к нанесению вреда (заметьте, я не обвиняю её в том, что она вредна,

но я говорю, что она способна быть такой), то можете ли вы полностью избежать допущения, что есть не совсем симметричное представление о вселенной, которое должно поддерживаться кем-то; в то время как подразумевается, что запрещено убивать без судебного решения, и у его товарища, обладающего той же способностью гремучей змеи, допускающей свободу убивать любое существо, рождается капризная обида — и человека тоже? Но, — утомлённым голосом, — это невесёлый разговор; по крайней мере, это не для меня. Рвение непосвящённого тяготит меня. Я сожалею об этом. Умоляю, сядьте и отведайте этого вина.

— Ваши предложения для меня новы, — сказал другой со своего рода снисходительной благодарностью, как тот, кто, обладая знанием, смотрит свысока на получающего его крошки, тем более нищего, — и поскольку я, совсем как афинянин, приветствую новую мысль, то не могу согласиться позволить ей так резко упасть. Итак, гремучая змея…

— Хватит о гремучих змеях, я умоляю, — с отчаянием. — Я должен опуститься до того, чтобы повторно защитить это существо. Сядьте, сэр, я прошу, и отведайте этого вина.

— Пригласить меня сесть с вами — весьма гостеприимно, — одновременно соглашаясь сейчас же поменять тему, — и легендарное восточное гостеприимство по сути своей приятный аравийский роман, что также очень романтичная вещь сама по себе, — поэтому я всегда слышу выражения о гостеприимстве с удовольствием. Но что касается вина, то моё отношение к этому напитку столь своеобразно и я так боюсь разрешить ему насытить меня, что удерживаю свою любовь к нему в долгих рамках непроверенной абстракции. Короче, я осушил огромные порции вина со страниц Хафиза, но я редко делаю глоток вина из чаши.

Космополит спокойно взглянул на говорившего, который теперь, заняв стул напротив него, уселся там, целиком сияя холодом, как призма. Казалось, можно было почти услышать его стеклянный звон и перезвон. В тот момент космополит остановил проходящего мимо официанта, которого попросил принести кубок воды со льдом.

— Лучшего льда, официант, — сказал он, — и теперь, — обратившись к незнакомцу, — вы, пожалуйста, объясните мне свою причину предупреждений, которые вы мне сначала ад-

ресовали.

— Я надеюсь, что они не были такими же предупреждениями, как большинство предупреждений, — сказал незнакомец, — предупреждения, которые не предупреждают, но осмеивают, приходят после случившегося. И всё же что-то в вашем предложении, как я теперь полагаю, безотносительно скрытого мнения, которое ваш самозваный друг, возможно, имел о вас, пока ещё остаётся незаконченным. Вы распознали, кто он.

— И что тут сказать? «Это — приветливая душа». Итак, вы видите, что вы должны или бросить свою доктрину этикеток, или же ваше предубеждение против моего друга. Но скажите мне, — с возобновившейся серьёзностью, — за кого вы его приняли? Кто он?

— Кто вы? Кто я? Никто не знает, кто есть кто. Данные, которые жизнь предоставляет для составления истинного мнения о любом существе, так же недостаточны для этой цели, как в геометрии одной стороны недостаточно для определения треугольника.

— Но не эта ли доктрина треугольников некоторым образом противоречит вашей доктрине этикеток?

— Да, но что из того? Я редко хочу быть после-

довательным. В философском представлении последовательность — определённый уровень во всех случаях, поддерживаемый при работе ума. Но так как природа почти всегда состоит из холмов и долин, то как же может каждый естественным путём продолжать продвигаться в знании, не подчиняясь естественной неравномерности движения? Продвижение в знаниях точно такое же, как движение по великому каналу Эри, где, в зависимости от характера местности, изменение уровня неизбежно; вы заперты и ограничены снизу бесконечными несоответствиями, и всё же всё время вы преуспеваете, в то время как самая унылая часть из всего маршрута — это та, которую лодочники называют «долгим уровнем», — бесконечно-плоская равнина в шестьдесят миль по стоячим болотам.

В одной детали, — подхватил космополит, — ваше сравнение, возможно, неудачно. Ну сколько времени после всех движений вверх и движений вниз в более высокой равнине вы, в конце концов, выдержите? Не хватит ли подавать это как пример? С молодости я приучен почитать знания, и вы должны простить мне, если на этот счёт я отвергну вашу аналогию. Но, действительно, вы неким образом околдовываете меня своей заман-

чивой беседой так, что я продолжаю неожиданно отклоняться от своей точки зрения. Вы говорите мне, что не можете, конечно же, знать, кто или каков мой друг; тогда умоляю, как вы догадались, кто он тогда?

Я угадал, что он тот, кого среди древних египтян называли… — используя некое неизвестное слово.

…! И кто это?

…Это тот, кого Прокл в небольшом примечании к своей третьей книге по богословию Платона определяет как… «изрекающего греческие сентенции».

Держа свой стакан и постоянно разглядывая его на просвет, космополит возразил:

— Это настолько определённая вещь, что Прокл отнёс её к современным понятиям, воспринимаемым в самом кристальном свете, чего я не буду опрометчиво отрицать; тем не менее, если бы вы могли вставить определённые слова, подходящие для моего восприятия, то я должен был бы принять их к использованию.

— Благо! — немного приподняв свои холодные брови. — Благо брака я воспринимаю как узел из белых лент, как весьма красноречивое отражение чистоты истинного брака; но и другие блага

я всё же должен знать; и, тем не менее, в неуловимый момент слово, которое вы используете, кажется мне неприятным обозначением в основном какого-то скверного, трусливого подчинения тому, кто хорош уже сам по себе.

В этот момент был принесён кубок с замороженной водой и по знаку космополита был поставлен перед незнакомцем, который прежде, чем выразить признательность, отпил глоток, очевидно, освежаясь, — сама его неприветливость, как это бывает с некоторыми людьми, оказалась полностью неподходящей.

Наконец, поставив назад кубок и мягко вытирая со своих губ бусинки воды, недавно уцепившейся там, как в створке коралловой раковины на рифе, он обернулся к космополиту и в более холодной манере, по возможности, наполовину овладевшей им, сухо сказал:

— Я придерживаюсь метемпсихоза; и кем бы я ни был теперь, я чувствую, что был однажды стоиком Аррианом, и есть намёки на то, что я был также озадачен словом на соответствующем языке его времени, которое, что очень вероятно, соответствовало вашему слову «благо».

— Вы благодарны за мои пояснения? — вежливо спросил космополит.

— Сэр, — ответил незнакомец почти без серьёзности, — я люблю ясность во всех вещах и боюсь, что я едва ли окажусь в состоянии удовлетворения разговором с вами, если вы не примете её во внимание.

Космополит в размышлении следил за ним некоторое время, затем сказал:

— Лучший путь для того, чтобы выйти из лабиринта, как я слышал, это вернуться той же дорогой. Я соответственно восстанавливаю свой путь и спрашиваю, поможете ли вы мне. Короче говоря, ещё раз вернуться к вопросу: по какой причине вы предостерегаете меня против моего друга?

— Тогда кратко и ясно: потому что, как прежде было сказано, я предполагаю, что его место среди древних египтян…

— Умоляю, сейчас, — с искренним осуждением космополит, — умоляю, скажите, зачем теперь тревожить покой этих древних египтян? Что нам их слова или их мысли? Разве мы — нищие арабы, без нашего собственного дома, кто должен вернуться поселенцами к мумиям, лежащим среди пыльных катакомб?

— Самый бедный из формовщиков фараоновых кирпичей с большей честью покоится в своих

тряпках, нежели император Российской империи во всех своих шелках, — словно оракул, сказал незнакомец. — По отношению к смерти путь у червя величественен, в то время как жизнь, пусть даже и у короля, презренна. Этот разговор не против мумий. Он — часть моей миссии научить человечество долгу почитания мумий.

К счастью, эту бессвязную речь остановил, или, скорее, изменил её направление приблизившийся измученный, вдохновлено выглядящий человек — сумасшедший нищий, испрашивающий милостыню как торговец вразнос напыщенным трактатом, самостоятельно составленным, формулирующий свои требования при помощи некоего напыщенного апостольства. Хотя он был рваный и грязный, в нём не было никакого следа вульгарности, отчего по своей природе его поведение не было грубым; его худое тело казалось большим из-за широкой, дикой налобной повязки на его лбу, спутанной со взъерошенной массой чёрных, как вороново крыло, завитков, бросающих ещё более глубокую тень на худое тело, подобное сушёной ягоде. Ничто не могло превзойти его облика живописных итальянских руин и революций, усиленного, как казалось, всего лишь аргументированным мерцающим

взглядом, недостаточным для того, чтобы придать ему необходимую продолжительность, но, возможно, подходящим для того, чтобы время от времени предположить возникновение скрытых мучительных сомнений в том, была ли его заплесневелая мечта о славе верной.

Приняв предложенный ему трактат, космополит посмотрел на него и, казалось, увидев, что это было, закрыл его, положил его в свой карман, одновременно следя за человеком, затем наклонился и подал ему шиллинг, сказав ему добрым и внимательным тоном:

— Я сожалею, мой друг, что сейчас оказался занят; но, купив вашу работу, я обещаю вам получить большое удовлетворение от её прочтения при самом ближайшем досуге.

В своём изодранном однобортном сюртуке, кое-как застёгнутом до подбородка, скрытый мыслитель отвесил ему по клон, который, из-за любезности, подошёл бы виконту, затем повернулся с тихим обращением к незнакомцу. Но незнакомец сидел, ещё более, чем когда-либо, напоминая холодную призму, одновременно демонстрируя увлечённость привлекательной женщиной-янки, уже придав своему выражению мистическую форму и добавив дополнительные

сосульки своему облику. Весь вид его, казалось, говорил: «От меня — ничего». Отвергнутый проситель бросил на него взгляд, полный задетой гордости и разрушительного презрения, и пошёл своим путём.

— Ну-ну, — сказал космополит немного укоризненно, — вы должны сочувствовать этому человеку; скажите мне, сочувствуете вы или не сочувствуете? Вы посмотрите на его трактат — вполне трансцедентального направления.

— Извините меня, — сказал незнакомец, отодвигая трактат. — Я никогда не покровительствую негодяю.

— Негодяю?

— Я обнаружил в его, сэр, убийственном взгляде чувство — проклятие, я бы сказал так; есть ощущение подлости в кажущемся сумасшествии. Я считаю его хитрым бродягой, ловко играющим роль сумасшедшего. Разве вы не заметили, как он вздрогнул под моим взглядом?

— Действительно? — изображая долгий, удивлённый вздох. — Я едва ли смог угадать в вас характер, настолько невероятно подозрительный. Вздрогнули? Будьте уверены, он такой и есть, бедняга; вы прониклись его хромотой. Что касается его ловкой игры в сумасшедшего,

отдельные критики могли бы так же выступить против одного или двух бродячих волхвов в эти дни. Но это — вопрос, о котором я ничего не знаю. Но ещё раз, и в последний раз, чтобы вернуться к отправной точке: почему сэр, вы предупредили меня относительно моего друга? Если это станет доказательством того, что вы хотите быть уверенным в моём друге на основании столь же зыбком, как и ваше недоверие к сумасшедшему, то я буду рад это узнать. Ну, почему вы предупреждали меня? Изложите это, я умоляю, в нескольких словах, и английских.

— Я предостерёг вас относительно него потому, что он подозревается — так говорили мне — как Миссисипский мошенник, о котором известно на этих кораблях.

— Мошенник, ах? Он мошенничает, не так ли? Мой друг тогда является кем-то, кого индейцы называют Великим шаманом, не так ли? Он мошенничает, он обчищает, он лишает достатка.

— Я чувствую, сэр, — сказал незнакомец, оставаясь невосприимчивым к откровенной шутке, — что ваше понятие о том, кого называют Великим лекарем, нуждается в коррекции. Великий шаман среди индейцев не менее важен, чем человек, серьёзно почитающий благоразумную

проницательность.

— И разве мой друг не благоразумен? Разве мой друг не проницателен? По вашему собственному определению, разве мой друг не Великий шаман?

— Нет, он — мошенник, Миссисипский мошенник, двуличный тип. В том, что он такой, я мало сомневаюсь, мне указали на него как на жаждущего приобщить меня к какой-то небольшой авантюре в этой западной области, где я никогда прежде не путешествовал. И, сэр, если я не ошибаюсь, вы здесь также чужестранец (но, действительно, не каждый ли чужестранец в этой чужой вселенной?), и это — причина, почему я почувствовал толчок, чтобы предостеречь вас относительно компаньона, который не может быть никем иным, как опасным для человека бескорыстного и доверчивого. Но я повторяю, что надеюсь, что к настоящему времени, по крайней мере, он не преуспел с вами, и верю, что и в будущем не преуспеет.

— Спасибо за ваше беспокойство, но я едва ли смогу аналогично поблагодарить за столь твёрдо отстаиваемую гипотезу о неприемлемом характере моего друга. Правда, я завёл с ним знакомство сегодня впервые и мало знаком с его прошлым,

но это не кажется мне простой причиной, почему его натура не должна сама по себе внушать доверие. И, учитывая, что ваших собственных знаний о джентльмене, по вашим же собственным словам, столь точных, как это необходимо, нет, то вы простите мне, если я откажусь воспринимать дальнейшие сообщения, нелестные для него. Действительно, сэр, — доброжелательно, — давайте сменим тему.

Глава XXXVII
Мистик представляет практикующего ученика

— И то и другое, тему и собеседника, — ответил незнакомец, вставая и дожидаясь возвращения прогуливающегося в удалённой точке палубы человека, только что развернувшегося кругом и направлявшегося к нему.

— Эгберт! — сказал он, подзывая его.

Эгберт, хорошо одетый, выглядящий как коммерсант, джентльмен приблизительно тридцати лет, окликнутый на ходу, поразительно почтительный и через мгновение стоящий рядом, в отношении своего вышестоящего компаньона был, очевидно, его верным последователем.

— Это, — сказал незнакомец, беря Эгберта за руку и подводя его к космополиту, — это — Эгберт, ученик. Я хочу, чтобы вы знали Эгберта. Эгберт был первым среди людей, кто отредактировал для практического применения принципы Марка Винсама, — принципы, ранее считавшиеся менее адаптированными к жизни, чем туалет. Эгберт, — оборачиваясь к ученику, который с ка-

жущейся скромностью немного сжался от таких похвал, — Эгберт, это, — с приветствием к космополиту, — как и все мы, иностранец. Я хочу, чтобы вы, Эгберт, называли этого иностранца братом; пообщайтесь с ним. Особенно если в настоящее время по каким-либо причинам его любопытство невелико, то оно должно быть возбуждено точным характером моей философии, и я полагаю, что вы не оставите такое любопытство неудовлетворённым. Вы, Эгберт, просто сформулировав ваши принципы, можете сделать больше для объяснения моей теории, нежели я сам смогу сделать это при помощи простых слов. Действительно, именно вы лучше всего понимаете меня самого. Поскольку у каждой философии есть определённые оборотные составляющие, весьма важные составляющие, то они, как затылок, лучше всего заметны при отражении. Теперь, как в стакане, вы, Эгберт, в вашей жизни отражаете для меня наиболее важную часть моей системы. Тот, кто одобряет вас, одобряет философию Марка Винсама.

Хотя части этой речи могли, возможно, по фразеологии показаться самопочитанием, всё же никакого следа самодовольства не было заметно в поведении говорившего, которое всецело было

простым, скромным, достойным и мужественным; учитель и пророк, казалось, скрывались больше в идее, как говорится, чем в том, кто был её носителем.

— Сэр, — сказал космополит, который, казалось, весьма заинтересовался этим новым кругом вопросов, — вы говорите об определённой философии, более или менее оккультной, и намекаете, что она касается практической жизни; прошу, скажите мне, склоняется ли исследование этой философии к некоторым формам, характерным для мирового опыта?

Да, это так, и это — испытание её истинности; если какая-либо философия вступила в противоречие с мировым опытом и склоняется к созданию противоречий с ним, то такая философия обязательно должна стать всего лишь обманом и мечтой.

— Вы немного удивляете меня, — ответил космополит, — из-за вашей открывшейся проницательности, а также из-за ваших намёков на глубокий труд Платона по богословию; казалось бы, не естественно ли предположить, что если вы — создатель какой-либо философии, то она должна быть глубокомысленной, чтобы оказаться выше примитивного практического

применения?

— Вы не ошибаетесь относительно меня, — присоединился другой. Затем, смиренно став в позу Рафаэля: — Пока золотые тени древних мраморных Мемнонов всё ещё остаются загадочными, то никто не в состоянии предугадывать приобретения или потери каждого живого человека. Сэр, — со спокойствием, — человек пришёл в этот мир не для того, чтобы сидеть и размышлять, затуманивая себя тщетной утончённостью, а чтобы подпоясать ремнём свою поясницу и работать. Тайна заключена в утре, и тайна заключена в ночи, и величайшая из тайн находится повсюду; но, тем не менее, простая правда остаётся, и тот же рот и тот же кошелёк должны быть наполнены. Если к настоящему времени вы приняли меня за провидца, то у вас открылись глаза. Я также не одержим одной идеей, не более, чем провидцы до меня. Разве Сенека не был ростовщиком? Бэкон — придворным? И Сведенборг, хоть и с одним невидящим глазом, разве не полагался на другой? Наряду с тем, что мне дано, я — человек практических знаний и человек светский. Знайте, кто я такой. И что касается присутствующего здесь моего ученика, — оборачиваясь к нему, — если вы надеетесь

найти какой-либо смягчённый утопизм и погружение в него в прошлом, то смешно полагать, что он сделает вас своей правой рукой. Доктрины, преподанные ему мною, я верю, не приведут его ни в сумасшедший дом, ни в богадельню, чему послужили многие другие доктрины своим доверчивым сторонникам. Кроме того, — оглядываясь на него по-отечески, — Эгберт — и мой ученик, и мой поэт. Субъекты поэзии — не чернила и рифмы, но мысли и действия, и в конце пути можно найти всё что угодно, когда идёшь в нужном направлении. Одним словом, здесь мой ученик — процветающий молодой коммерсант, практикующий поэт вест-индской торговли. Здесь, — приблизив Эгберта за руку к космополиту, — я подвожу его к вам и оставляю вас.

С этими словами и без поклона мыслитель ушёл.

Глава XXXVIII
Последователь не поддаётся и соглашается играть сценическую роль

В присутствии учителя его адепт стоял, не сознавая своего места; скромность его заключалась в демонстрации некоего подобия распластанного почтения. Но как только его руководитель удалился, он, казалось, изящно выскочил из-под него, словно заводной человечек из игрушечной табакерки.

Это был, как прежде сообщалось, молодой мужчина приблизительно тридцати лет. Выражение его лица было весьма обыкновенным, которое, во время спокойствия, не было ни привлекательно, ни неприятно; поэтому казалось довольно сомнительным, что оно может поменяться. Его платье было опрятным и модным настолько, насколько можно было спасти его от упрёков в оригинальности, и при общей респектабельности, хотя и с переделкой в деталях, его костюм казался скроенным по его владельцу. Но в целом он был, судя по всему, последним человеком

в мире, которого можно было бы принять за изучающего какую-то необыкновенную философию; впрочем, пожалуй, что-то в его остром носе и бритом подбородке, казалось, намекало на то, что если мистика как наука когда-нибудь и повстречалась бы у него на пути, то он смог бы с характерной ловкостью истинного жителя Новой Англии обратить эту бесполезную вещь даже себе на пользу.

— Хорошо, — сказал он, теперь уже садясь рядом на освобождённый стул, — что вы думаете о Марке? Возвышенная личность, не так ли?

— То, что каждый член человеческой гильдии — мой друг, достойный уважения, — согласился космополит, — есть факт, который ни один поклонник этой гильдии не подвергнет сомнению; но это, ввиду более высокой натуры, возвышенное слово, так часто относимое к нему, без конфуза также можно отнести к человеку, к точке зрения, которую человек избирает для себя; хотя, действительно, если он решится это утверждать, то я возражать не стану. Но мне любопытно узнать больше о той философии, о которой в настоящее время я не догадываюсь. Вы, его первый ученик среди остальных людей, как кажется, весьма грамотны для того, чтобы

разъяснить её. У вас есть какие-либо возражения против того, чтобы начать сейчас же?

— Ни единого, — придвигаясь к столу. — С чего мне начать? С первых принципов?

— Вы помните, что существует практический путь, который вы представили вполне подходящим для чистого обозрения. Теперь то, что вы называете начальными принципами, я в некоторых вещах нахожу более или менее неопределённым. Разрешите мне тогда попросту представить некую общую ситуацию из реальной жизни, относительно которой я хотел бы услышать слова, где сообщалось бы, как вы, обученный интересуемой меня практической философии, себя бы в ней повели.

— Вполне наглядно. Предложите пример.

— Не только пример, но и людей. Вот пример: есть двое друзей, друзей с детства, закадычных друзей, один из которых впервые нуждается, впервые просит ссуду у другого, который, насколько позволяет состояние, более чем способен её предоставить. И людей должны будем изображать вы и я: вы — того приятеля, у которого ссуда испрашивается, я — друга, которому она нужна; вы — изучающий рассматриваемую философию, я — обыкновенный человек, менее знакомый

с философией, чем с сознанием того, что, когда я нахожусь в комфорте и тепле, я не чувствую холода, и если у меня лихорадка, то я дрожу. Следите за тем, что теперь вы должны будете включить своё воображение и по возможности говорить и вести себя так же, как если бы предполагаемый пример оказался реальным фактом. Для краткости вы должны называть меня Фрэнком, а я назову вас Чарли. Вы согласны?

— Отлично. Вы начинаете.

Космополит сделал небольшую паузу, затем, приняв серьёзный и озабоченный вид, наиболее подходящий для предписанной роли, обратился к своему предполагаемому другу.

Глава XXXIX
Гипотетические друзья

— Чарли, я собираюсь довериться вам.

— Это всегда можно сделать, и не без причины. Что случилось, Фрэнк?

— Чарли, у меня нужда — срочная нужда в деньгах.

— Это плохо.

— Но всё будет хорошо, Чарли, если вы дадите мне взаймы сто долларов. Я не попросил бы вас об этом, только вот у меня мучительная нужда, и поскольку у вас и у меня давняя общность сердец и мыслей, то неадекватно с моей стороны доказывать нашу дружбу, используя факт нужды с моей стороны, при помощи раздела кошелька. Вы сделаете мне одолжение, не так ли?

— Одолжение? Что вы подразумеваете под этим, прося сделать вам одолжение?

— Да ведь, Чарли, вы никогда раньше не говорили так.

— Поскольку, Фрэнк, вы со своей стороны никогда не использовали таких слов.

— Но разве вы не дадите мне деньги взаймы?

— Нет, Фрэнк.

— Почему?

— Потому что мой здравый смысл запрещает. Я отдаю деньги, но никогда не даю взаймы их; и избегаю человека, который называет себя моим другом, стоящим выше получения милостыни. Переговоры о ссуде — деловой процесс. И я не веду дел с другом. Какой бы ни был друг, в социальном ли отношении или интеллектуальном, я оцениваю социальную и интеллектуальную дружбу слишком высоко для того, чтобы осложнить её с обеих сторон денежным эквивалентом. Я уверен, что у меня есть те, кого называют деловыми друзьями, то есть знакомые по бизнесу, очень нужные люди. Но я отрицаю двойное сокращение дистанции между ними и моими друзьями в истинном смысле — моими социальными и интеллектуальными друзьями. Короче говоря, истинный друг не имеет никакого отношения к кредитам, его душа должна быть выше кредитов. Кредиты — столь недружеское соглашение, что обычно заключается с бездушной банковской корпорацией, которой дают постоянную гарантию и платят регулярный процент.

— Недружеское соглашение? Разве эти слова красиво сочетаются?

— Как и хозяйство бедного фермера, состоящее из старика и коровы, — некрасиво, но цельно. Посмотрите, Фрэнк, ссуда денег ради прибыли — это денежный кредит. Продать вещь в кредит можно по дружбе, но где тут дружелюбие? Немногие люди из этих соображений, за исключением мошенников, занимают деньги из интереса не иначе, как по необходимости, которая сродни голоду. Ну, тогда где дружелюбие в моём разрешении для голодающего человека, скажем, получить денежный эквивалент барреля муки с условием, что в конкретный день он должен будет предоставить мне денежный эквивалент из расчёта полутора баррелей муки, особенно если я добавляю дальнейшее условие, что если он так не сделает, то тогда я обеспечу себе денежный эквивалент моего барреля и ещё половины его барреля, выставив его сердце на публичных торгах, и разве это не будет так же жестоко, как разделять семью, разлучая его с женой и детьми?

— Я понимаю, — с патетической дрожью, — но даже если и был бы такой шаг со стороны кредитора, то позвольте нам ради чести человеческого естества понадеяться, что тут меньше намерений, чем непредвиденных обстоятельств.

— Но, Фрэнк, непредвиденное обстоятельство

не было учтено заранее при оформлении долговых ценных бумаг.

— Однако, Чарли, разве ссуда не была первым действием друга?

— И аукцион в завершающий момент, как недружественное действие. Разве вы не видите? Вражда выделяется на фоне дружбы, как и руины на рельефе местности.

— Я, должно быть, очень глуп сегодня, Чарли, но действительно я не могу этого понять. Извините меня, мой дорогой друг, но это останавливает меня при входе в философию предмета, вы же частично исходите из её глубины.

— Так сказала неосторожная болотная птица океану, но океан ответил: «Это — просто другой путь, мой друг по влаге» — и утопил её.

— Это, Чарли, басня, почти столь же несправедливая к океану, как и к животным. Океан — великодушный субъект и презрел бы убийство бедняжки, уж не говоря о насмешке над её действиями. Но я не понимаю того, что вы говорите о вражде, выраженной в дружбе, и руинах на рельефе.

— Я проиллюстрирую, Фрэнк, что нуждающийся человек — поезд, который соскальзывает с рельсов. Тот, кто даёт взаймы ему деньги ради

прибыли, является тем, кто посредством услуги помогает вернуть поезд туда, где ему надлежит быть, но затем увеличивает всё в квадрате и даже немного более, телеграфируя агенту, отстоящему на тридцать миль впереди на обрыве, указание просто сбросить его там с определённой точки, как только тот её пересечёт. Ваш искатель принципа и прибыли — это друг, скрывающий зло. Нет, нет, мой дорогой друг, никакой прибыли для меня. Я презираю прибыль.

— Ну, Чарли, никто не желает вас в этом обвинять. Дайте мне взаймы без процентов.

— Это тоже было бы милостыней.

— Милостыней, если одолженная сумма возвращена?

— Да, милостыней, но не из принципа, а из прибыли.

— Но у меня мучительная нужда, поэтому я не перестану просить. Увидите, Чарли, как благодарно я приму милостыню под процент. Не нужно оскорблений между друзьями.

— Как тогда из чистого представления о дружбе вы можете позволить себе так говорить, мой дорогой Фрэнк? Это причиняет мне боль. Хоть я и не придерживаюсь мрачной мысли Соломона, что в час нужды незнакомец лучше, чем брат, я

всё же полностью соглашаюсь со своим мудрым руководителем, который в своём Эссе о Дружбе благородно говорит, что если он и ищет земного блага, то только своему закадычному другу (или другу социальному и интеллектуальному), и пусть ищет, но только если для его земного удобства его земному другу (или более скромному деловому партнёру) это подходит. Весьма удачно он объясняет причину: потому что высокая натура, которая ни в коем случае никогда не может опускаться до добрых дел, раздражается из-за просьб сделать их, тогда как стоящий ниже никаким путём никогда не сможет подняться выше своих способностей, заставляющих всегда кланяться первому, что неприемлемо.

— Тогда я буду считать вас не своим божественным другом, а неким другим.

Для меня было мучительно прийти к этому, но, чтобы угодить вам, я сделаю это. Мы — товарищи по бизнесу, дело есть дело. Вы хотите договориться о ссуде. Очень хорошо. На какой бумаге? Вы заплатите три процента в месяц? Где ваши гарантии?

— Конечно, вы не взыщете эти формальности со своего старого одноклассника — того, с кем вы так часто прогуливались по рощам Академии,

рассуждая о красоте достоинства и изящества, которые сосредоточены в доброте, — и всё ради настолько несерьёзной суммы. Гарантия? Наша сущность однокашников и друзей с детства и является гарантией.

— Простите меня, мой дорогой Фрэнк, но то, что мы были товарищами-академистами, — наихудшая гарантия, в то время как то, что мы были друзьями с детства, — просто не гарантия вообще. Вы забываете, что мы теперь — товарищи по бизнесу.

— И вы, с вашей стороны, забываете, Чарли, что, как ваш деловой партнёр, я не могу дать вам гарантии; моя потребность столь остра, что я не смогу согласиться на предложенное.

— Тогда никакого сочувствия, никакой ссуды.

— И вот, Чарли, если не годится ни один, ни другой из определённых вами сортов друзей, то могу ли я здесь получить искомое; что, если, объединив их, я приду с просьбой от обоих?

— Вы кентавр?

— Когда всё сказано, тогда что хорошего в вашей дружбе, если рассматривать её в этом свете?

— Поэтому благо, заключённое в философии Марка Винсама, низведено до практики практикующим учеником.

— И почему вы не добавите, как много пользы может принести философия Марка Винсама? Ах, — оборачивая в шутку, — что есть дружба, если это не рука помощи и не чувствительное сердце, добрый самаритянин, наполняющий нуждающемуся кошелёк, словно флягу!

— Вот сейчас, мой дорогой Фрэнк, не будьте ребёнком. Из-за слёз человек никогда не видит свой путь в темноте. Я должен считать вас недостойным искренней дружбы, порождённой вами, и мог ли я подумать, что дружба в идеале слишком высока для вас, чтобы сохранить её? И позвольте мне сказать вам, мой дорогой Фрэнк, что вы серьёзно сотрясёте основы нашей любви, если когда-нибудь снова должны будете повторить существующую сцену. Философия, выстраданная мной, представляет простой контакт. Позвольте тогда мне сейчас, в самое подходящее время, искренне раскрыть определённые обстоятельства, которых вы, кажется, не знаете. Хотя наша дружба началась в детстве, не думайте, что она началась с моей стороны в наименьшей степени неосознанно. Мальчики — маленькие мужчины, как говорится. Я по-ребячески выбрал вас своим другом в благоприятный для вас момент времени; в большой степени из-за вашей

благовоспитанности, хорошего платья, положения ваших родителей и состояния. Короче говоря, как любой взрослый мужчина, мальчик, которым я был, пришёл на рынок и выбрал себе своего барана, но не из-за его истощения, а из-за его жирности. Другими словами, мне показалось, что вы — школьник, у которого всегда было серебро в его кармане, учитывая вероятность того, что вы никогда не оказывались ни в малейшей нужде, ни в большой поддержке; и если моё раннее впечатление не было проверено случаем, то только из-за случайного каприза, создающего ошибочность человеческих ожиданий, пусть даже и осторожных.

— О, я что, должен слушать это хладнокровное откровение?!

— Немного хладнокровия в ваших горячих венах, мой дорогой Фрэнк, не причинило бы вам какого-либо вреда, позвольте мне сказать вам. Хладнокровие? Вы говорите так потому, что моё откровение кажется несущим низкую истину с моей стороны. Но это не так. Моя Причина остановить мой выбор на вас в моменты, о которых я упомянул, частично состояла исключительно в целях сохранения крепкой деликатной связи. И из-за этого — так поступить, но думать

об этом — что может быть печальней для близкой дружбы, сформировавшейся раньше, чем ваш друг, в конечном счёте мужественно заглянувший дождливой ночью за своей небольшой ссудой приблизительно в пять долларов? Близкая дружба сможет это выдержать? И с другой стороны, сохранила бы тогда свою деликатность такая близкая дружба, как эта? Разве не вы вначале инстинктивно говорите о своём плачущем друге: «Я обманулся, мошеннически обманулся в этом человеке; он не истинный друг, если в платонической любви требует любовные обряды»?

— И обряды, что вдвойне справедливо, таковыми и являются, жестокий Чарли!

— Принимайте их как хотите, с учётом того, что, слишком назойливо требуя эти права, как вы их называете, вы потрясаете те основы, на которые я намекал. Поскольку, как оказалось, я в период своей ранней дружбы выстроил себе богатый дом в бедном краю, и столько страданий и средств растратил я на этот дом, что в конце концов он стал дорог для меня. Нет, я не потерял бы благую сладость вашей дружбы, Фрэнк. Но остерегайтесь.

— И чего же? Оказаться в нужде? О, Чарли! Вы говорите не с богом, который самодостаточен,

а с тем, кто, будучи человеком, спорит с ветром и волнами судьбы и кто возвышается до небес или скатывается к чертям, когда волны катят его в корыте или на гребне.

— Выражаю неодобрение! Фрэнк, человек не так несчастен, как видно, — совсем не несчастная дрейфующая морская водоросль во вселенной. У человека есть душа, которая, если он хочет, лежит за указателем к удаче и будущим недовольством. Не жалуйтесь, как отхлёстанная собака, Фрэнк, или, клянусь сердцем истинного друга, я заставлю вас замолчать.

— Заставьте уже меня, жестокий Чарли, и поскорей. Вспомните дни, когда мы шли собирать орехи, время, когда мы шли по лесу, обняв друг друга руками, словно взаимно сплетённые ветвями стволы деревьев. О, Чарли!

— Смеётесь! Мы были мальчишками.

— Тогда счастливая судьба была у новорождённого ребёнка в Египте, замёрзшего в могиле до наступления зрелости от ударивших коварных холодов. Чарли?

— Фу! Вы — девочка.

— Помогите, помогите, Чарли, мне нужна помощь!

— Помощь? Если ничего не сказать о друге, то

в человеке, которому нужна помощь, присутствует что-то не то. Где-то есть дефект, желание, короче говоря, потребность, потребность в крике где-то в этом человеке.

— Есть, Чарли. Помогите, помогите!

— Насколько же глуп крик, просящий о помощи, если он является сам по себе доказательством содержания.

— О, это опять не вы, Чарли, а некий чревовещатель, который узурпирует вашу гортань. Это — Марк Винсам говорит, но не Чарли.

— Если так, то, слава Богу, голос Марка Винсама не чужд, но благоприятен для моей гортани. Если философия этого прославленного учителя находит немного взаимности среди всего человечества, то лишь потому, что оно не обладает натурами с темпераментом, предрасположенным к согласию с нею.

— Добро пожаловать этому комплименту человечеству, — воскликнул Фрэнк с энергией, — более истинному, поскольку непреднамеренному. И в этом отношении человечество долго может оставаться таким, каким вы его показываете. И так будет долго; с начала времён есть внутреннее ощущение, что субъект, оказавшийся в затруднительном положении и, следовательно,

столь ценящий помощь, будет из-за эгоизма, как никто другой, долго откладывать ратификацию философии, которая послана в помощь миру. Но Чарли, Чарли! Скажите, как вы ею пользуетесь; скажите мне, что вы поможете. В другой ситуации совсем легко я бы дал вам взаймы деньги прежде, чем вы бы попросили меня о ссуде.

— …Я… прошу?.. Я… прошу ссуду? Фрэнк, этой рукой ни при каких обстоятельствах я бы не принял ссуду, даже без требуемого нажима на меня. Пример с Китайской Астрой мог бы предупредить меня.

— И что это такое?

— Не очень отличается от опыта человека, который построил себе дворец из лучей луны и, когда луна закатилась, был удивлён, что его дворец исчез вместе с нею. Я расскажу вам о Китайской Астре. Мне жаль, что я не смог изложить это моими собственными словами, но, к несчастью, подлинный рассказчик здесь так довлеет надо мной, что для меня довольно сложно повторить его сюжет, не соскальзывая в его стиль. Я предупреждаю вас относительно того, что не стоит думать, будто я столь же плаксив, как в некоторых частях этой истории, казалось бы созданной её рассказчиком. Это слишком печально,

что любая душа, особенно в столь малом вопросе, должна иметь такую силу навязать саму себя другой душе, одновременно подавляя лучшие её качества. Однако это удовольствие — знать, что основную мораль, к которой всё приходит, я полностью одобряю. Ну, я начинаю.

Глава XL, в которой из вторых уст пересказывается история Китайской астры, и тем же самым рассказчиком, кто, соглашаясь с её моралью, отказался от её стиля

Каллистефус (Китайская Астра) был молодым свечным мастером из города Мариетта, вдающегося в округ Мускингам, — тем, чьё занятие было предопределено родительским ремеслом и небесным провидением, создавшим средство, эффективно или нет, но проливающее некий свет на застигнутую темнотой планету. Но это занятие приносило ему небольшой доход. Много забот было у бедного Каллистефуса и его семьи из-за нехватки средств к существованию; он смог бы, если б захотел, осветить запасами из своего магазина целую улицу, но не смог с той же лёгкостью обеспечить достаток для своей семьи.

В ту пору у Каллистефуса был друг — Орхис, сапожник, про которого говорили, что он уводит людей от голой взаимосвязи с сущностью вещей, что было весьма полезным призванием,

и который, назло пророчествам всех умников, едва ли оставил бы это занятие, пока скалы остаются твёрдыми и кремни продолжают искрить. Внезапно, выиграв приз в лотерее, этот славный сапожник перескочил со скамьи на диван. Маленький набоб, когда был сапожником, человеческое взаимопонимание применял к самому себе. Не то чтобы Орхис стал процветающим и ликующим от бессердечности. Отнюдь. И както однажды, придя утром в своей прекрасной одежде к свечному заводу, принялся весело стучать по свечным коробкам своей тростью с золотым оголовком, — как раз в это время бедный Каллистефус в своей сальной бумажной кепке и кожаном переднике продавал одну свечу за один пенс бедной краснокожей женщине, которая с покровительственной холодностью самостоятельного покупателя требовала тщательно завернуть и завязать свечу в половинку листка бумаги, — оживившийся Орхис, когда женщина ушла, прекратил свою забаву и сказал: «Это невыгодное дело для тебя, дружище Каллистефус, твой капитал слишком мал. Ты должен забросить это мерзкое масло и поставлять чистый спермацет для общественных нужд. Я скажу, что тебе нужна одна тысяча долларов для развития.

По сути, ты должен начать зарабатывать деньги, Каллистефус. Мне не нравится видеть твоего маленького мальчика, бегающего без обуви».

«Да благословит Небо твою доброту, друг Орхис, — ответил свечной мастер, — но не держи на меня зла, если я припомню слова своего дяди, кузнеца, который, когда ему предложили ссуду, отверг её, сказав: „Когда я поднимаю собственный молот, меня посещает мысль, что хорошо бы сделать его более тяжёлым, если приварить к нему часть от молота соседа с тем расчётом, чтобы у него ещё остался некий вес; иначе говоря, если одолженный кусочек внезапно потребуют снова, то его невозможно будет отколоть из-за того, что он приварен, как с одной стороны, так и с другой“».

«Ерунда, друг Каллистефус, не будь таким щепетильным; твой мальчик бос. Кроме того, разве богатый человек проиграет бедному человеку? Или друг будет худшим другом? Каллистефус, я боюсь, что, склонившись над своими чанами здесь этим утром, ты обрёл свою идею. Тихо! Я больше не хочу ничего слышать. Где твой стол? О, здесь». С этими словами Орхис выписал чек на его поверхности и, бесцеремонно представив его, сказал: «Тут, друг Каллистефус, твоя тысяча

долларов; когда ты заработаешь десять тысяч, что произойдёт достаточно скоро (опыт, как единственное истинное знание, учит меня, что всех ожидает удача), тогда, Каллистефус, — почему бы и нет? — тогда ты сможешь вернуть мне деньги или же нет, как пожелаешь. Но в любом случае не беспокойся, поскольку я никогда не буду требовать платы».

Итак, поскольку у добрых небес есть голодный человек, для которого хлеб — большое искушение, то его не стоит слишком резко обвинять, если, предположим, он берёт его, даже считая сомнительным то, сможет ли он когда-нибудь его в состоянии оплатить; таким образом, для бедного человека предложенные деньги одинаково соблазнительны, и самое плохое, что может быть сказано о нём, так это то, что если он принимает деньги, то только лишь из-за голода. Короче говоря, щепетильность бедного свечного мастера уступила его аморальной потребности, которая имела место время от времени. Он взял чек и аккуратно убрал его из виду, когда Орхис, переключившись снова на свою трость с золотым набалдашником, сказал: «Между прочим, Каллистефус, это ничего не означает, но предположу, что если ты дашь маленькую расписку,

то в ней не будет ничего плохого, как ты понимаешь». Так Каллистефус дал Орхису свою расписку на одну тысячу долларов с возвратом по требованию. Орхис взял её, на мгновенье взглянул: «Фу, я сказал тебе, друг Каллистефус, что я никогда не собираюсь что-либо просить». Затем, оторвавшись от бумаги и снова переведя взгляд на дальние коробки со свечами, небрежно сказал: «Это вложение на четыре года». Таким образом, Каллистефус дал Орхису свою расписку на одну тысячу долларов на четыре года. «Ты увидишь, что я никогда не буду беспокоить тебя из-за денег, — сказал Орхис, засовывая её в свой бумажник, — кроме совета на будущее, дружище Каллистефус, как лучше всего инвестировать твои деньги. И не забывай про мой намёк о спермацете. Вложись в него, и я куплю у тебя весь твой свет». С этими поощрительными словами он, как обычно расточая любезности, откланялся.

Каллистефус остался стоять там, где Орхис оставил его, когда внезапно два пожилых друга, сочтя за лучшее так поступить, заглянули к нему для беседы. После неё Каллистефус, в сальной кепке и переднике, бегом догнал Орхиса и сказал: «Друг Орхис, небеса вознаградят тебя за твои благие

намерения, но вот тебе чек, и теперь отдай мне расписку».

«Твоя честность — словно бурав, Каллистефус, — сказал Орхис с удовольствием. — Я не приму чек от тебя».

«Тогда ты должен будешь взять его с тротуара, Орхис», — сказал Каллистефус, и, взяв камень, он положил расписку под него на дорожке.

«Каллистефус, — сказал Орхис, с любопытством глядя на него, — после моего отъезда свечной завод сейчас — единственное, до чего эти задницы снизошли, чтобы поговорить с тобой, и поэтому теперь ты спешишь за мной и действуешь как дурак? Не стоит задаваться этим вопросом, если именно этих обоих старых задниц мальчишки называют Прямодушным Стариком и Стариком Благоразумным».

«Да, они оба таковы, Орхис, но не оскорбляй их».

«Стая старых костлявых ворон. У Прямодушного Старика была сварливая жена, и она сделала его сварливым; Благоразумный Старик, будучи мальчиком, свалился с яблони, и это лишило его силы духа. Нет лучше занятия для осведомлённых франтов вроде меня, кроме как выслушивать старческий хрип старого кислого Прямодушного

Старика, пока Благоразумный Старик стоит в стороне, опираясь на свою палку, покачивая своей седой старой головой и вмешиваясь в каждую реплику».

«Как можешь ты говорить так, друг Орхис, о друзьях моего отца?»

«Упаси меня от этих друзей, если эти старые вороны были друзьями Честного Старика. Я называю так твоего отца из-за того, что все привыкли к этому его прозвищу. Почему они позволили ему встретить старость на попечении города? Да ведь я, Каллистефус, часто слышал от моей матери, летописицы, что те два старика вместе с Совестливым Стариком — так мальчишки называли раздражительного старого квакера, ныне покойного, — как они втроём решили идти в богадельню, когда твой отец жил там, и, окружив его кровать, говорили с ним перед всем миром точно так же, как Елифаз, Вилдад и Софар говорили со старым, разорённым, нищим Иовом. Да, горе-утешителями стали Прямодушный, Благоразумный и Совестливый старики для твоего бедного старого отца. Друзья? Я хотел бы знать, кого ты тогда назовёшь врагом? Своим постоянным брюзжанием и упрёками они замучили больного Честного Старика, твоего отца,

до смерти».

При этих словах, вспомнив печальный конец своего достойного родителя, Каллистефус не смог сдержать скупых слёз, относительно чего Орхис сказал: «Да ведь, Каллистефус, ты — печальное существо. Почему бы тебе, Каллистефус, не стать веселее? Ты никогда не преуспеешь в своём деле или в чём-либо ещё, если ты не будешь оптимистом. Это самоубийственно — быть мрачным». Затем весело ударил своей тростью с золотым набалдашником: «Почему нет? Почему ты не станешь жизнерадостным и многообещающим, как я? Почему ты не веришь?»

«Я верю, что не знаю, друг Орхис, — трезво ответил Каллистефус, — но, может быть, для меня, не вытянувшего лотерейный приз, как ты, можно будет внести некоторую поправку».

«Ерунда! Прежде чем я что-нибудь узнал о призе, я был весел, как жаворонок, так же весел, как и теперь. Фактически у меня всегда был принцип — придерживаться оптимизма».

При этих словах Каллистефус не совсем уверенно посмотрел на Орхиса, поскольку правда состояла в том, что, пока выигрыш не пришёл к нему, Орхис имел прозвище Скорбная Свалка, прежде времени страдая от ипохондрии

из-за стремления сэкономить и вложить в дело несколько долларов своего скудного дохода, что имело место до того дождливого дня, когда он начал переживать о других.

«Я говорю тебе, друг Каллистефус, что теперь, — сказал Орхис, указывая вниз, на расписку под камнем, и затем ударяя по своему карману, — чек должен лежать там, если ты так решил, но твоя бумага не должна зависеть от этой компании. Фактически, Каллистефус, я слишком искренний твой друг, чтобы воспользоваться преимуществом при мимолётном приступе твоего уныния. Ты пожнёшь плоды моей дружбы». С этими словами, мигом застегнув своё пальто, он побежал дальше, оставив чек на месте.

Сначала Каллистефус собирался разорвать его, но, решив, что этого не стоит делать, кроме как в присутствии его составителя, он размышлял некоторое время и, взяв бумагу, потащился назад к свечному заводу, полный решимости скоро позвать Орхиса, поскольку работа на сегодня была закончена, и разорвать чек на его глазах. Но так получилось, что, когда Каллистефус позвонил в дверь, Орхис отсутствовал, и, тщетно прождав его томительное время, Каллистефус пошёл домой, всё ещё с чеком, но всё же решив

не хранить его до следующего дня. Ярким и ранним следующим утром он бы снова последовал за Орхисом и, несомненно, решил бы этот вопрос, найдя его в его постели, поскольку с того момента, как лотерейный приз попал к нему, Орхис, помимо того что стал более радостным, стал также немного ленивым. Но судьба была такова, что той же самой ночью у Каллистефуса было мечтательное видение, в котором существо под маской улыбающегося ангела, державшее своего рода рог изобилия в своей руке, нависло над ним, изливая поток маленьких золотых долларов, толстых, как зёрна. «Я — Блестящее будущее, дружище Каллистефус, — сказал ангел, — и если ты поступишь так, как хочет друг Орхис, то увидишь, что из этого выйдет». С этим Блестящим будущим при новом наклоне рога изобилия, из которого на него вылился такой душ из маленьких золотых долларов, человеку казалось, будто они разлиты повсюду вокруг, и он забрался в него, как солодовник в солод. Вот сейчас мечты — штука замечательная, это всем известно, — воистину, настолько замечательная, что некоторые люди, недолго думая, приписывают их непосредственно небесам; и Каллистефус, который имел надлежащий склад ума во всём, решил,

что, учитывая мечту, было бы весьма неплохо немного подождать, прежде чем снова искать Орхиса. В течение дня ум Китайской Астры жил всё время этой мечтой, он был так полон ею, что, когда перед обедом к нему заглянул Прямодушный Старик с целью увидеть его, что он часто и делал из интереса, который он проявлял к сыну Честного Старика, Каллистефус рассказал всё о своём видении, добавив, что он не может и думать, что столь сияющий ангел может обмануть; и, действительно, говорил про это столь высоким слогом, что каждый бы решил, что он поверил ангелу, как некоему красивому человеку — филантропу. Приблизительно так Прямодушный Старик его и понял и, соответственно, в своей простой манере сказал: «Каллистефус, ты говоришь мне, что ангел явился тебе во сне. Тогда получается, что эту сумму назвал явившийся тебе во сне ангел? Сразу же, Каллистефус, пойди и верни чек, как я советовал тебе прежде. Если бы дружище Благоразумный был здесь, он сказал бы те же самые слова». С этими словами Прямодушный Старик ушёл искать друга Благоразумного, но поиски были безуспешны, и сам он вернулся к свечному заводу в тот момент, когда в его отсутствие и из-за продолжающегося раздраже-

ния Каллистефус в панике запер все свои двери и убежал в дальний уголок свечного завода, где никакого стука нельзя было услышать.

Считая печальной ошибкой, оставшись без друга, обсуждать другую сторону вопроса, Каллистефус в тот же самый день, размышляя о своей мечте, которая не сможет сбыться, если он не обменяет расписку на деньги, проработал до конца смены и вложил деньги в покупку хорошей партии спермацета для её превращения в свечи; такую операцию он считал лучшей для её превращения в пенни, которых он никогда не имел прежде в своей жизни; фактически эта его вера стала основанием для той самой удачи, которую пообещал ему ангел.

Тогда же при использовании денег Каллистефус решил пунктуально выплачивать проценты каждые шесть месяцев, пока долг не будет возвращён, хотя о таком условии Орхис не произнёс ни слова; впрочем, согласно обычаю, а также закону, действующему в таких вопросах, проценты законно накопились бы по ссуде, хотя ни о каком их возврате в долговом обязательстве не говорилось. Имел ли Орхис в это время такие мысли или нет — нет никаких достоверных сведений, но, по всей видимости, он никогда не тяготился ду-

мами по этому вопросу в той или иной степени.

Хотя спермацет скорее рисковал разочаровать жизнерадостные ожидания Каллистефуса, он всё же нашёл, чем оплатить проценты за первые шесть месяцев, и, поскольку его следующее предприятие оказалось ещё менее успешным, всё же ограничил свою семью в свежем мясе и — что причиняло ему ещё большую боль — обучение его мальчиков; он умудрился выплатить процент за вторые шесть месяцев, искренне огорчаясь, что честность, а также её противоположность хоть и не в равной степени, но иногда чего-нибудь да стоят.

Между тем Орхис по совету врача отправился в Европу, и это случилось потому, что, как только лотерейный выигрыш оказался у него, Орхис обнаружил, что его здоровье было не очень крепким, хотя он ни на что никогда прежде не жаловался, кроме как на небольшую болезненную раздражительность, в то время не стоящую даже разговора. Таким образом, Орхис, будучи за границей, не мог помочь в оплате Каллистефусом его процента, который накопился, однако он, возможно, был весьма отрицательно настроен к этому; поэтому Каллистефус заплатил его агенту Орхиса, который имел слишком деловую

способность регулярно уменьшать процент оплаты по ссуде.

Но чересчур беспокоить агента в этом отношении вовсе не означало, что такова судьба Каллистефуса, из-за чего, не имея скептического духа, который отказывается доверять клиентам, его третье предприятие закончилось плохими долгами, почти полным убытком — болезненным ударом для свечного мастера. Но Прямодушный и Благоразумный старики пренебрегли возможностью преподать ему довольно безрадостный урок последствий игнорирования их совета относительно того, чтобы не иметь никакого отношения к заёмным средствам. «Тут — всё, как я предсказывал», — сказал Прямодушный Старик, утирая свой старый нос старым цветным платком. «Да, действительно так», — вмешался Благоразумный Старик, постукивая своей тростью по полу, и затем, опершись на неё, взглянул с торжеством от сбывшегося предчувствия на Каллистефуса. Чувство подавленности охватило бедного свечного мастера, но внезапно тот, кто должен был прийти к нему с ясным лицом, его умный друг, ангел, появился в другом сне. Снова рог изобилия лил своё сокровище и обещал ещё больше. Восстановив силы видением, он

решил не унывать, но опять же — противореча совету Прямодушного Старика, поддержанному ради эффекта, как обычно, его близким другом, что при существующих обстоятельствах лучшее, что мог сделать Каллистефус, так это закрыть своё дело, рассчитаться, если получится, по всем своим обязательствам и затем пойти работать подмастерьем, где он мог получать хорошую плату и бросить с того времени и впредь все мысли о дальнейшем расширении производства, которое годится для более платёжеспособных людей, что более явно, чем требовалось, на фоне карьеры Каллистефуса к настоящему времени и продемонстрировал законный сын Честного Старика, который, как все знали, никогда не проявлял большого предпринимательского таланта, ибо он был столь мал, что многие фактически говорили про него, что он не имел никакой склонности к бизнесу, чтобы быть в бизнесе. И эта простая мысль, высказанная Прямодушным Стариком, теперь явно относилась к Каллистефусу, и Благоразумный Старик никогда не противоречил ей. Но ангел оставался в мечте и, невзирая на Прямодушного, действительно вкладывал совсем иные понятия в свечного мастера. Он обдумал то, что должен был сделать в отношении потери

статуса. Несомненно, как только Орхис вернётся в страну, он поможет ему в этой ситуации. Как бы то ни было, он обратился к другим; и пусть в мире некоторые люди намекают об обратном, честный человек при неудаче всё ещё может считать, что друзья останутся друзьями и помогут ему; но, несмотря на это мнение, Каллистефус наконец преуспел в том, чтобы одолжить у богатого старого фермера сумму в шестьсот долларов под обычный ростовщический процент, за что из соображений безопасности под этим тайно подписалась жена Каллистефуса и он сам ради достижения цели; и что все эти права и право на любую собственность, которая будет оставлена её зажиточным бездетным дядей, нетрудоспособным дубильщиком, в случае отказа Каллистефуса возвратить одолженную сумму в указанный день должны будут стать законным владением ростовщика. Правдой также было то, что Каллистефус имел возможность побудить свою жену, осторожную женщину, подписывать этот договор потому, что она всегда рассчитывала на обещанную долю в состоянии её дяди как на хороший якорь при встречном ветре трудных времён, в которые Каллистефус всегда более или менее часто попадал и от которых в кругу семьи

он никогда не видел реальных возможностей своего освобождения. Некое свойство характера, возможно, имелось у Каллистефуса, оставившее след в сердце и голове его жены, которое обычно коротким предложением описывалось видевшими его людьми. «Каллистефус, — говаривала бы она, — хороший муж, но плохой бизнесмен!» Действительно, она была роднёй по материнской линии Прямодушному Старику. Но Каллистефус не соблюдал осторожность, чтобы не позволить Прямодушному Старику говорить и Благоразумному Старику слышать о его деловых отношениях со старым фермером, поскольку десять к одному, что они в какой-то степени помешали бы его успеху в этом предприятии.

Намекали, что честность Каллистефуса была главным образом порождена ростовщиком, оказавшим ему поддержку при неудаче, и это, видимо, было очевидным, ведь, будь Каллистефус любым другим человеком, ростовщик, возможно, побоялся бы того, что в случае его провала при встрече со своей же распиской тот мог бы неким способом увёртываться — тем более что в час бедствия могли бы начаться угрызения совести из-за риска для денег его жены, отчего его сердце могло бы открыть предательство его

брачных уз, если не намекнуть на нечто более сомнительное, как и то, что такая секретность и требование, когда последним средством станет старый фермер, будет отстаиваться в законном суде. Но один вывод из всего этого состоял в том, что, имей Каллистефус что-то ещё, чем то, что у него было, он не имел бы доверия и поэтому ему было бы целесообразно не совать свою собственную голову и голову жены в петлю ростовщика; и всё те же самые люди, когда всё наконец вышло наружу, утверждали, что в этом представлении и в этой степени честность свечного мастера совсем не была для него преимуществом, и в высказанном эти люди сообщили то, о чём любое доброе сердце должно сожалеть и болтливый язык рассказать.

Стоит упомянуть, что старый фермер заставил Китайскую Астру принять в залог его ссуды трёх старых тощих коров и одну хромую лошадь, переболевшую сапом. Они были добавлены в довольно невысокой стоимости старым ростовщиком, имевшим исключительное предубеждение в отношении высокой ценности любого вида продуктов, выращенных на его ферме. С большим трудом и с большими потерями Каллистефус избавился от своего скота на публичных торгах,

поскольку не нашлось ни одного покупателя, решившего вложить в них свой капитал. И теперь, сгребая и чистя всё что можно и работая утром и вечером, Каллистефус наконец начал по новой, не без нового и тайного расширения. Однако он не стал снова пробовать свои силы в спермацете, но, предупреждённый опытом, вернулся к маслу. Но при закупке его хорошей партии к тому времени, когда он получил его для свечей, масло, а вместе с ним и свечи, упали в цене столь низко, что за фунт своих свечей он смог выручить только то, что он заплатил за масло. Тем временем за год неуплаченные проценты накопились по ссуде Орхиса, но сам Каллистефус не выдавал никакого беспокойства по поводу этого платежа, как и по платежу старому фермеру. Но он был рад, что появилась некоторая отсрочка для главного платежа. Однако тощий старик создал ему некоторую проблему, приезжая за ним каждый день или два на старой худой белой лошади, снабжённой заплесневелым старым седлом и раздражающим старческим шорохом старой грубой высохшей одежды. Все соседи говорили, что, конечно же, сама Смерть на бледной лошади пришла теперь вслед за бедной Китайской Астрой. И что-то пророческое было в этом, из-за

чего вскоре Каллистефус оказался вовлечённым в смертельные проблемы.

В этот момент дошли сведения об Орхисе. Орхис, как оказалось, возвратился из своего путешествия и, не покидая дома, женившись, в своих чудачествах жил в Пенсильвании, среди знакомых его жены, кто, среди всего прочего, побудил его присоединиться к церкви, или своего рода полурелигиозной протестантской школе; и более того, Орхис, сам не прибыв на место, послал письмо своему агенту с целью избавиться от части своей собственности в Мариетте и перевести ему полученные средства. В течение последующего года Каллистефус получил письмо от Орхиса, хвалившего его за точность в выплате процентов за первый год и сожалеющего о необходимости, что он, Орхис, вынужден был теперь использовать все свои дивиденды; поэтому он надеялся на оплату Китайской Астрой процентов за следующие шесть месяцев и, конечно же, накопившихся прежде процентов. Не более удивлённый, чем встревоженный, Китайская Астра решил купить билет на пароход, чтобы навестить Орхиса, но избежал этих расходов из-за неожиданного личного прибытия в Мариетту самого Орхиса, что было вызвано его странны-

ми внезапными капризами, характерными для него в последнее время. Как только Китайская Астра услышал о прибытии своего старого друга, то сразу же помчался поговорить с ним. Он нашёл его странно пожелтевшим, в ночной рубашке, с болезненными щеками и решительно менее весёлым и сердечным, что более всего удивило Каллистефуса, потому что в прежние дни он несколько раз слышал от Орхиса, с шумом заявлявшего, что он, Орхис, всецело хочет стать совершенно счастливым, весёлым и благожелательным человеком, съездить в Европу и жениться, свободно развивая свой истинный характер.

После заявления Китайской Астры его близкий друг затих на время, затем почему-то сказал, что он не будет давить на Китайскую Астру, но, тем не менее, его, Орхиса, нужда в предметах первой необходимости была срочной. Не мог бы Каллистефус заложить свечной завод? Он ведь честен и должен иметь обеспеченных друзей, и разве он не может увеличить продажи своих свечей? Не стоит ли немного расширить рынок в этом плане? Прибыль от свечей должна быть очень большой. Заметим теперь, что у Орхиса было понятие, что производство свечей было очень

прибыльным, и, хорошо понимая, в чём здесь состояла ошибка, Каллистефус попытался отрезвить его. Но он не смог донести правду до Орхиса. Орхис же проявил здесь полное непонимание и в то же время весьма особенную меланхолию. Наконец Орхис перескочил от этой неприятной темы к самым неожиданным с религиозной точки зрения размышлениям о непостоянстве и обманчивости человеческого сердца. Не имея, как он думал, опыта в чём-либо другом, Каллистефус не возражал против наблюдательности своего друга, но всё ещё воздерживался от каких-либо действий ради успокоения совести, сочувствия и чего-то ещё. В тот же момент Орхис без особых церемоний встал и, сказав, что он должен написать письмо своей жене, предложил своему другу проститься, но уже не тряся с горячностью его руку, как встарь.

В большом беспокойстве от этой перемены Каллистефус в подходящем месте навёл справки относительно того, что случилось с Орхисом и чего ещё не было известно о том, что вызвало такую революцию, и узнал наконец, что, помимо путешествия и женитьбы и присоединения к протестантской секте, Орхис так или иначе переболел тяжёлым расстройством желудка

и проиграл большую часть собственности из-за злоупотребления доверием агенту в Нью-Йорке. Услышав это сообщение, Прямодушный Старик, обладавший некоторыми знаниями о мировых потрясениях, покачал своей старой головой и сказал Китайской Астре, что, хотя он надеялся, что всё могло бы сложиться иначе, всё же ему показалось, что когда он общался с Орхисом, то обнаружил дурные предзнаменования относительно его будущего терпения — особенно, добавил он с мрачной улыбкой, в сфере его присоединения к протестантской секте; из чего следует, что если бы некоторые люди знали, каковы их истинные натуры, то вместо того, чтобы поменять их, они сочли бы, что их лучше сохранить, что, действительно, выглядит благоразумно. Все эти слова содержали понятия Благоразумного Старика, тоже, как обычно, вмешавшегося.

Когда день платежа наступил снова, Каллистефус на пределе возможностей смог заплатить агенту Орхиса только небольшую часть того, что было положено, и часть эта была составлена из денег, оставленных на подарок детям (яркие десятипенсовики и новые четвертаки, хранимые в именных небольших копилках), и передачи

в залог своей лучшей одежды, а также одежды его жены и детей так, что все были подвергнуты лишениям, связанным с уклонением от церковных празднеств. И старый ростовщик теперь также начал беспокоиться, когда Каллистефус заплатил ему его проценты и некоторые другие неотложные долги, приблизившись, наконец, к закладу свечного завода.

Когда на следующий день пришёл платёж Орхису, то на него не нашлось ни пенни. С горьким сердцем Каллистефус сообщил это агенту Орхиса. Тем временем наступил платёж старому ростовщику, и Китайской Астре нечем было его встретить; всё же по совпадению, весьма благоприятному для старого фермера, при котором небеса посылают свой дождь на справедливого и несправедливого в равной степени, зажиточный дядя, дубильщик, умер, и ростовщик вступил во владение той частью его собственности, которая была оставлена по воле покойного жене Каллистефуса. Когда же на следующий день платёж процентов для Орхиса пришёл опять, Каллистефус оказался в наихудшем положении, чем когда-либо, поскольку, помимо других своих проблем, он был теперь слаб из-за болезни. Еле дойдя до агента Орхиса, он встретил его на улице

и сказал ему, что с ним произошло, на что агент с довольно серьёзным лицом ответил, что у него были инструкции от его работодателя не давить на него требованиями о платеже в настоящее время, но сказать ему, что в своё время сумма платежей возрастёт и Орхис столкнётся тс тяжёлой задолженностью, и поэтому долги должны быть к этому времени, конечно же, уплачены — и, конечно же, причитающиеся проценты по ним; и не только так, но, поскольку Орхис позволил отсрочить платёж по процентам на длительное время, он надеялся, что из-за прежних платежей Каллистефус не будет взаимно иметь каких-либо возражений против ежегодных платежей по проценту. Безусловно, это не было законом, но между друзьями, которые помогают друг другу, был такой обычай.

Именно тогда Прямодушный Старик, разговаривая с Благоразумным, повернув за угол, налетел на Китайскую Астру, только что оставившего агента; и был ли это солнечный удар, или был ли тут несчастный случай, или же то, что он был настолько слаб, или же всё это сошлось вместе, и как это было точно — нет никаких сведений, но бедный Каллистефус упал на землю и, резко ударившись своей головой, потерял сознание.

Это был июльский день, такой яркий и жаркий, какой только бывает на берегах в среднем течении Огайо в разгар лета. Каллистефуса унесли домой на двери; он оставался несколько дней без сознания и продолжил пребывать таким, пока наконец не умер ночью, и, когда узнали об этом, дух его уже блуждал далеко в другом мире.

Прямодушный и Благоразумный старики, ни один из которых никогда не упускал возможности поприсутствовать на любых похоронах, что, действительно, было их главным занятием, — эти двое были среди самых искренних скорбящих, которые следовали за останками сына их давнего друга до могилы.

Стоит ли говорить о том, что последовало дальше: что этот свечной завод был продан залогодержателем, что Орхис так никогда и не получил ни пенса за свою ссуду и как в случае с бедной вдовой наказание из соображений милосердия было сокращено, ради чего, хоть её и оставили бедной, её не оставили бездетной. Всё же, не внемля этому послаблению, дух недовольства, который она, будучи раздражённой, назвала горечью своей судьбы и всемирной тяжестью, так истерзал её, что вскоре увёл её от мрака бедности к более глубоким теням могилы.

Но хотя безвыходное положение, в котором Каллистефус оставил свою семью, имело мрачный оттенок, то аналогично казалось, что смысл его честности потускнел вместе со смертью его главы, и хотя это не лучшим образом характеризует общество, всё же случившееся в этом случае, как в других, притом что мир, какое-то время оставаясь нечувствительным к заоблачной заслуге, всё же рано или поздно всегда отдаёт честь тому, кто этого заслуживает; для чего на смерть вдовы почётные граждане Мариетты как дань уважения Китайской Астре выразили свои убеждения в существовании у него высокой морали, передав в резолюции, что его дети, пока они не достигли зрелости, должны оставаться на попечении города. Совсем не простой словесный комплимент, какой бывает слышен от тех же некоторых государственных органов, для чего в тот же день сироты официально остались в том же самом богоугодном заведении, где их достойный дедушка, бывший перед ними на таком же попечении, испустил свой последний вздох.

Но хотя иногда честь, возможно, и платит памятью о честном человеке, тем не менее его могильный холм остаётся без памятника.

Не так, однако, случилось со свечным мастером. В начале дня Прямодушный Старик приобрёл простой камень и переваривал в своём уме, какое содержательное слово или пару слов высечь на нём, когда в пустом бумажнике Китайской Астры была обнаружена эпитафия, написанная, вероятно, в один из тех печальных часов, связанных с большим или меньшим умственным расстройством, возможно, часто случавшимся с ним за несколько месяцев до его кончины. Меморандум на обороте выражал сожаление, что её невозможно поместить на его могиле. Хотя с чувствами из эпитафии Прямодушный соглашался, он сам, время от времени страдая ипохондрией, — по крайней мере, так многие говорили, — всё же поразился её языку как слишком изобилующему словами; поэтому, после консультации с Благоразумным Стариком, они решили использовать эпитафию, но не без словесного сокращения. И когда всё было сделано, надпись всё же представлялась ему многословной, но, тем не менее, он решил, что с тех пор, как покойный высказал её, она стала не единственной, позволяющей ему говорить за себя, особенно из-за того, что он говорил с уважением, а также и о том, чтобы благодаря ей мог бы

быть преподан максимально благотворный урок, в результате чего у него появилась следующая краткая надпись, высеченная на камне:

ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ОСТАНКИ КАЛЛИСТЕФУСА,
СВЕЧНОГО МАСТЕРА,
ЧЬЯ КАРЬЕРА БЫЛА ПРИМЕРОМ ИСТИННОСТИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ,
ЧТО НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ
В ТРЕЗВОЙ ФИЛОСОФИИ И
МУДРОСТИ СОЛОМОНА;
ОН БЫЛ СОКРУШЁН ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО ПОЗВОЛИЛ СЕБЯ УБЕДИТЬ
НАПЕРЕКОР СВОЕМУ БЛАГОРАЗУМИЮ,
СВОБОДНО ПОТВОРСТВУЯ
ДОВЕРЧИВОСТИ И ЧРЕЗМЕРНОМУ
ОПТИМИЗМУ,
НЕ ВНИМАЯ СОВЕТЧИКУ,
ИМЕВШЕМУ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ МНЕНИЕ.

Эта надпись породила некий разговор в городе и вскоре была сурово подвергнута критике капиталистом — весьма энергичным, — который обеспечивал своей ипотечной ссудой Китайскую Астру; эта критика также была неприятна челове-

ку, на которого на городском собрании поначалу сместился комплимент, произнесённый в адрес покойного Каллистефуса, и которая, по сути, пятнала свечного мастера до такой степени, что критикуемый отказывался думать, что сам свечной мастер составил её, и затеял с Прямодушным Стариком спор об авторстве, утверждая, что внутренние признаки свидетельствуют, будто не он, а старый ворон сочинил такую жалобу на судьбу, а потому ради всего этого камень и поставили. Во всём, конечно, Прямодушный Старик не был временно уполномочен Благоразумным Стариком, что однажды оказался идущим на кладбище в пальто и в ботинках, хотя было солнечное утро, — решившим, что вследствие тяжёлых рос сырость могла скрываться в земле, — долго стоящим перед камнем, с силой опершимся на свою палку, надевшим очки, обстоятельно и пословно объясняющим эпитафию; и впоследствии, повстречав Прямодушного Старика на улице, громко постучав своей палкой, сказал: «Дружище Прямодушный, эта эпитафия весьма хороша. Тем не менее одно короткое предложение желательно». На что Прямодушный ответил, что уже слишком поздно, высеченные слова расположены точно и обычно эти надписи делают так,

чтобы ничто не могло быть вписано между строк. «Тогда, — сказал Благоразумный Старик, — я помещу его в форме постскриптума». Поэтому с одобрения Прямодушного Старика появились следующие слова, высеченные в левом углу камня и довольно низко:

ПЕРВОПРИЧИНОЙ ВСЕГО СТАЛА ДРУЖЕСКАЯ ССУДА

Глава XLI
Окончательно отвергнутая гипотеза

— С каким сердцем, — вскричал Фрэнк, всё ещё оставаясь в своей роли, — рассказали вы мне эту историю? История, которую я не могу одобрить: если бы я принял её мораль, то растерял бы всю веру до конца своих дней и по этой же причине остатки своего мужества. Поскольку, будь у оптимиста Китайской Астры живая вера и если бы он был бесстрашным человеком, поддерживаемым свыше, упорно работающим и иногда надеющимся на лучшее, то разве не сложилось бы всё хорошо? Если ваша цель, Чарли, рассказав эту историю, причинить мне боль, и острую, то у вас это получилось; но если она должна была разрушить мою последнюю веру, то я хвалю Бога за то, что у вас ничего не вышло.

— Веру? — вскричал Чарли, который, со своей стороны, казалось, проникся всем сердцем духом этой истории. — Какая вера разрешит этот вопрос? Мораль этой истории, которую я предложил вам, такова: безумно для обеих сто-

рон помогать друг другу. Разве не ссуда Орхиса Китайской Астре стала первым шагом к их отчуждению? И разве не она в результате породила враждебность Орхиса? Я говорю вам, Фрэнк, что настоящую дружбу, как и другие ценности, не нужно опрометчиво примешивать. И что может быть большим раздражением в отношениях между друзьями, если не ссуда? Постоянная помеха. И поскольку вы так помогаете, то, как помощник, разве не оказываетесь кредитором? И кредитор и друг — могут ли они вообще быть одним целым? Нет, это недопустимо в любом случае; с этих пор, из соображений милосердия, для того, чтобы соответствовать этому требованию, самое лучшее для друга-кредитора — это прекратить быть кредитором вообще. Но не стоит полагаться на это милосердие даже в самом прекрасном человеке, для самого прекрасного человека самое плохое — это подвергнуться всем смертельным непредвиденным опасностям. Он может путешествовать, он может жениться, он может присоединиться к протестантам или аналогичной деструктивной школе или секте, не говоря о других вещах, к которым более или менее склонен его характер. И кто-то ещё должен отвечать за его миропонимание, от которого так

много зависит?

— Но Чарли, дорогой Чарли…

— Нет, погодите. Вы выслушали мою историю напрасно, если не увидели этого, и хотя сейчас я могу казаться вам снисходительным и разумным, то для этого нет никакой гарантии в будущем. И в силу этой сомнительной индивидуальности, из-за которой моя человеческая сущность может поменяться, разве не должен здравый смысл отговорить вас, мой дорогой Фрэнк, от этого толчка? Ну, поглядите. Разве будет у вас насущная потребность принять ссуду от друга под залог вашей фермы, зная, что у вас нет причины почувствовать удовлетворение оттого, что ипотека будет в конечном счёте передана в руки недоброжелателя? Всё же различие между одним человеком и другим не столь велико, как различие между тем же самым человеком сегодня и тем, каким он может быть завтра. Поэтому не существует никакой духовной связи или направления мысли, которых любой человек придерживается на основании неизменной природы или будет придерживаться впредь. Даже для чувств и мнений, отождествляемых с непреложными правами и правилами, это не невозможно, а как личные убеждения они могут в действительности быть

всего лишь результатом некоторого случайного поворота Судьбы в момент броска при игре в кости. Поскольку, не входя в первопричину вещей и обойдя случайную предрасположенность к происхождению той или иной особенности характера, спуститесь ниже их и скажите мне: если вы поменяете этот человеческий опыт или те же книги судеб, то будет ли мудрость служить гарантией для неизменности убеждений? Как особенная пища порождает особенные мечты, так и особенные события или книги — особые чувства или верования. Я ничего не услышу из этого прекрасного лепета о развитии и его законах; нет развития мнений и чувств, но есть развитие во времени в период прилива и отлива. Вы можете считать весь этот разговор бесполезным, Фрэнк, но совесть предлагает мне показать вам, каковы фундаментальные причины для переговоров с вами, что я и делаю.

— Но Чарли, дорогой Чарли, что это за новые понятия? Я думаю, что человек совсем не был несчастным дрейфующим пёрышком во вселенной, как вы выразились; поэтому, если порассуждать, у него могли быть желания, пути, мысли и своё собственное сердце? Но теперь вы перевернули всё вверх дном снова, с несоответ-

ствием, которое поражает и потрясает меня.

— Несоответствие? Вот ещё!

— Тут снова заговорил чревовещатель, — вздохнул Фрэнк с горечью.

Плохую службу сослужил повтор намёка, мало льстящего его оригинальности, отчего только ради послушания ученик устремился поддержать своего учителя, воскликнув:

— Да, я перелистываю день и ночь с неутолимой болью возвышенные страницы моего пастыря, и, к сожалению для вас, мой дорогой друг, я не нахожу иной причины… здесь… рассуждать иначе, чем сейчас. Но достаточно: в этом вопросе пример Китайской Астры открывает главную мораль, которую смог предложить Марк Винсам и я вместе с ним.

— Я не могу так думать, Чарли, из-за того, что я не Китайская Астра и не оказался в его положении. Ссуда Китайской Астре должна была расширить его бизнес; ссуда, которую я ищу, должна удовлетворить мои основные потребности.

— Ваше платье, мой дорогой Фрэнк, респектабельное; ваши щёки не изможднены. Зачем нужен разговор о предметах первой необходимости, когда нагота и голод порождают единственно

реальные основные потребности?

— Но я нуждаюсь в поддержке, Чарли, и настолько, что я теперь заклинаю вас забыть, что я был когда-либо вашим другом, в то время как я обращаюсь к вам только лишь за поддержкой, от которой, конечно же, вы не будете отворачиваться.

— Это не так. Снимите свою шляпу, кланяйтесь до земли и испрашивайте у меня милостыню в лабиринте лондонских улиц, и тогда ваше отважное нищенство не окажется напрасным. Но позвольте мне сказать вам, что ни один человек не бросает пенсы в шляпу друга. Если вы отворачиваетесь от нищего, тогда, учитывая честь и благородство дружбы, для меня это странно.

— Достаточно, — закричал другой, вставая и двигая плечами, представляя, что презрительно отбросил взятую на себя роль. — Достаточно. Я так переполнен философией Марка Винсама, как будто сам действовал согласно ей. И это вздор, что эта теория имеет возможное отношение к практической философии, в действительности приводящей к занимательному эффекту, и потому, как я нахожу, она так же занятна, как и он сам. Но было бы несчастьем для моего народа,

если бы я решил, что он говорил правду, когда утверждал ради доказательства разумность его системы, и что это исследование обнаружило почти аналогичное изменение его характера из-за событий в мире. Способный ученик! Зачем морщить лоб и расходовать масло, как в жизни, так и в лампе, только ради того, чтобы вертеть головой под ледяным сердцем? Чтобы ваш прославленный заклинатель преподавал всем вам, бедным, старым, разбитым, слабым сердцем и, возможно, шепелявым денди? Умоляю, оставьте меня и заберите с собой оставшийся осадок от вашей бесчеловечной философии. И вот, возьмите этот шиллинг и на первой же лесной пристани купите себе немного жареного картофеля, чтобы растопить заледеневшую душу в вас самом и в вашем философе.

С этими словами и великим презрением космополит повернулся на пятках, оставив своего компаньона в недоумении определять, где именно фиктивный характер закончился, а реальный, если таковой имелся, вернулся. И если так и произошло, то разящая мысль пришла ему на ум, когда он пристально посмотрел вслед космополиту, вспомнив столь знакомые строки:

Весь мир – театр,

В нём женщины, мужчины – все актёры,
У каждого из них есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.

Глава XLII
В конце последней сцены космополит входит в парикмахерскую с благословением на устах

— Храни вас Бог, хозяин!

В этот момент последнего рабочего часа парикмахер пребывал совершенно один в течение десяти минут после визита последнего посетителя; теперь, наскоро составив самому себе туповатую компанию, он думал, что хорошо проведёт время с Джоном Сутером и Тамом О'Шантером, иначе называемыми Сомнусом и Морфеем, весьма добрыми малыми, хотя один из них был не очень ярким, а другой слыл настоящим олухом, выслушав которых ни один мудрец не поверил бы им даже под присягой.

Короче говоря, подставив спину яркому свету своих ламп и обратившись к двери, честный парикмахер спал, что называется, урывками и дремал на своём стуле; поэтому от внезапно услышанного благословения свыше, объявленного голосом совсем не ангельским, поднялся, полусонно посмотрел перед собой, но ничего

не увидел, поскольку незнакомец встал позади него. Поэтому из-за прерванного сна, видений и замешательства голос показался ему явлением духа, отчего он разинул рот, одновременно удивлённо уставившись глазами и подняв одну руку в воздух.

— Да ведь вы, мастер, тянете руку, чтобы поймать там птиц на изюмину?

— Ах! — разочарованно повернувшись. — Пока всего лишь человека.

— Всего лишь человека? Как будто быть всего лишь человеком совсем ничего не значит! Вы не слишком убеждены, что и я тоже существую. Вы называете меня человеком точно так же, как горожане называли ангелом того, кто в облике человека пришёл в дом Лота; точно так же, как еврейские крестьяне призывали дьяволов, которые в человеческом облике посещали могилы. Вы сможете придать некий абсолют человеческой форме, дорогой мой.

— Но я же смогу что-то получить при таком разговоре от человека, одетого в такое платье, — проницательно заключил парикмахер, оглядывая его с вернувшимся самообладанием и не без некоего скрытого опасения оттого, что оставался с ним наедине. То, что происходило

в его уме, казалось, предугадывалось другим, тем, кто теперь более рационально и серьёзно, как будто уже ожидая проявления внимания, сказал:

— Независимо от того, что вы сможете получить, моё желание, которое вы исполните, состоит в том, чтобы получить хорошее бритьё, — одновременно ослабляя ткань вокруг своей шеи. — Вы действительно способны хорошо побрить, уважаемый?

— Лучше любого брокера, сэр, — ответил парикмахер, чьё деловое суждение инстинктивно подошло к границе с деловыми интересами его посетителя.

— Брокер? Что брокер будет делать с пеной? Брокера я всегда рассматриваю как достойного дилера в каких-либо бумагах и металлах.

— Да, да! — приняв его теперь за некоего суховатого шутника, чьи шутки, если это клиент, уже можно было оценить. — Это так, это он! Вы довольно хорошо это понимаете, сэр. Сядьте, сэр, — кладя свою руку на большой мягкий стул, высоко поставленный и с высокими подлокотниками, с тёмно-красной обивкой и поставленный на своеобразное возвышение, который, казалось, не испытывал нужды в балдахине и уходе ради того, чтобы сделаться подобием настоящего тро-

на. — Садитесь, сэр.

— Спасибо, — присаживаясь, — и теперь, прошу, объясните насчёт брокера. Но глядите, глядите: что это? — внезапно вставая и указывая своей длинной трубкой на позолоченное уведомление вроде вывески таверны, качающееся под потолком среди цветной бумаги для уничтожения мух. — «В кредит не обслуживаем»? Никакого кредита — означает недоверие; недоверие означает, что нет веры. Хозяин, — повернувшись к нему взволнованно, — какая острая подозрительность породила это скандальное признание? Моя жизнь! — притопнув своей ногой. — Теперь, если не сказать «собачья», оттого, что у вас в ней нет веры; это оскорбительно для собаки, тем более для всей превозносимой расы бородатых людей! Моё сердце, сэр! Но, по крайней мере, вы отважны; смесь раздражительности Терсита с мужеством Агамемнона.

— Ваш разговор, сэр, не совсем по моей части, — сказал парикмахер, скорее, с сожалением, теперь уже снова потеряв надежду на своего клиента из-за вернувшегося беспокойства. — Не по моей части, сэр, — повторил он решительно.

— Но вы хватаете человечество за нос; привычка, дорогой мой, которая, к великому сожалению,

породила в вас равнодушие и непочтительность к человеку. Ведь, действительно, как концепция почтения может сосуществовать с бесконечной привычкой хватать за нос? Но, скажите мне, почему я, хоть и ясно вижу смысл вашего уведомления, пока ещё не чувствую, кому оно адресовано. Кто это?

— Хотя вы говорите не совсем с моей стороны, сэр, — сказал парикмахер, не получая облегчения от этого возвращения к прямому разговору, — я нахожу это уведомление очень полезным, сберегающим для меня множество сил, за которые не заплатят. Да, я потерял много средств, совсем и навсегда, до того, как повесил это предупреждение, — с благодарностью глядя на него.

— Но каков его субъект? Конечно же, вы не хотите сообщить в таком множестве слов, что у вас нет веры? Например, теперь, — сбрасывая ткань со своей шеи, отбрасывая назад свою блузку и повторно садясь на парикмахерский трон, при виде чего парикмахер механически продолжил наполнять чашку горячей водой из медного сосуда на спиртовке, — предположите, например, теперь, что я говорю вам: «Парикмахер, мой дорогой парикмахер, на беду, у меня сегодня вечером нет никакой мелочи, но побрейте меня и поло-

житесь на свои деньги завтра». Предположите, что если я должен был это сказать, то тогда вы поверили бы мне, не так ли? Вы бы поверили?

— Видя, что это вы, сэр, — с обходительностью ответил парикмахер, теперь уже смешивая пену, — видя, что это вы, сэр, я не отвечу на этот вопрос. В этом нет никакой нужды.

— Конечно, конечно — это видно. Но как гипотеза — вы бы поверили мне, не так ли?

— Почему нет? Да, да.

— Тогда зачем эта вывеска?

— Ах, сэр, не все люди такие, как вы, — прозвучал мягкий ответ, и в то же самое время, словно мягко закрывая дебаты, началось плавное наложение пены, и эта операция, однако, была движением, выступавшим против предмета разговора, однако желание возразить прозвучало в следующих словах:

— Не все люди такие, как я. Тогда я должен быть или лучше, или хуже, чем большинство людей. Если хуже, то вы не могли иметь это в виду; нет, парикмахер, вы не могли иметь это в виду, едва ли. Тогда, сдаётся мне, что вы думаете про меня лучше, чем большинство людей. Но тут я недостаточно привередлив, чтобы поверить, хотя от тщеславия, я признаюсь, никак пока ещё

не смог, как ни боролся, полностью освободиться; но, действительно, чтобы быть откровенным, моя тревога минимальна — это самое тщеславие, дорогой мой, столь же безопасно, столь же полезно, столь же безвредно, как привлекательна нелепая страсть.

— Весьма верно, сэр, и честно скажу, сэр, что вы говорите очень хорошо. Но пена немного остыла, сэр.

— Лучше холодная пена, мастер, чем холодное сердце. Зачем эта холодная вывеска? Ах, я не задаюсь вопросом, пытаетесь ли вы уклониться от признания. Вы чувствуете в своей душе, насколько это мелочный намёк. И всё же, хозяин, теперь, когда я изучаю ваши глаза, — которые так или иначе говорят со мной о материи, которая так часто изучается мной, — то осмелюсь сказать, — хотя вы и не можете так думать, — что дух этого уведомления не согласуется с вашим характером. Посмотрите теперь вокруг с точки зрения бизнеса на вещи в абстрактном свете; короче говоря, предположите случай, мастер; предположите, как я сказал, что вы видите незнакомца, его лицо, случайно повёрнутое, но его видимая часть выглядит очень респектабельно; как теперь, мастер, — я предаю его суду вашей совести,

вашего милосердия — каково ваше впечатление от этого человека с точки зрения морали? Разве в вашем сигнале незнакомец не ощущает, что вы напрямую записываете его в мошенники?

— Конечно нет, сэр, ни в коем случае! — вскричал парикмахер, по-человечески обиженный.

— Вы заставите его поднять лицо…

— Остановитесь, сэр, — сказал парикмахер, — ни слова о лице, вы помните, сэр, что это вне поля зрения.

— Я забыл об этом. Хорошо, тогда вы, возвращаясь к нему, считаете его, что весьма вероятно, неким достойным человеком, короче говоря, честным человеком, не так ли?

— Но вряд ли я должен так поступать, сэр.

— Теперь, пожалуй, — не будьте так нетерпеливы с вашим помазком, парикмахер, — предположите, что честный человек встречает вас ночью в некоем тёмном углу корабля, где его лицо пока остаётся невидимым, прося, чтобы вы доверились ему и побрили, — как тогда?

— Не доверял бы ему, сэр.

— Но разве честному человеку нельзя доверять?

— Почему, почему? Да, сэр.

— Вот! Теперь-то вы видите?

— Видите что? — спросил смущённый парикмахер, скорее, раздосадовано.

— Да ведь вы сами себе противоречите, хозяин, не так ли?

— Нет, — с упорством.

— Дорогой мой, — серьёзно и после тревожной паузы, — у врагов нашего народа есть высказывание, что неискренность является самым повсеместным и неисправимым недостатком человека, — серьёзное препятствие на пути к реальному положительному изменению, индивидуальному или общемировому. Не вы ли теперь, парикмахер, вашим упорством в этой ситуации даёте оценку такой клевете?

— Ух ты, ух ты! — вскричал парикмахер, теряя терпение, а вместе с ним и уважение. — Упорством? — Затем, постучав помазком о борта чашки: — Вы будете бриться или нет?

— Хозяин, я буду бриться, и с удовольствием, но, прошу, не повышайте в дальнейшем ваш голос. Поскольку если вы сейчас идёте по жизни, скрипя зубами, то вы всё время испытываете дискомфорт.

— Я потребляю столько же комфорта в этом мире, сколько вы или любой другой человек, — вскричал парикмахер, которого сладость жизни

другого человека, казалось, скорее раздражала, чем успокаивала.

— Прежде чем негодовать на какое-либо несчастье, я особенно часто наблюдал за определёнными типами людей, — сказал другой задумчиво и наполовину про себя, — и, будучи равнодушным к этому злому обвинению, высказанному повторно не ради пользы и не ради некой изысканности, я отметил одинаковые особенности у разных типов людей. Умоляю, мастер, — невинно подняв глаза, — кто-то думает, что вы существо изначальное?

— Весь этот разговор, — вскричал парикмахер, всё ещё взволнованный, — как я уже говорил, не по моей части. Через несколько минут я закрою эту лавку. Вы будете бриться?

— Брейте, мастер. Что препятствует? — поднимая своё лицо, как цветок.

Бритьё началось и продолжилось в тишине, пока не появилась необходимость подготовиться к небольшому повторному намыливанию, которое вело к завершению процедуры, где со стороны парикмахера не дозволено было ошибиться.

— Хозяин, — со своего рода осторожной добротой, предвидя его действия, — хозяин, теперь проявите немного терпения в отношении ко

мне; поверьте мне, я не хочу никого обижать. Я обдумал этот гипотетический случай с отвлечённым человеком, и я не могу избавиться от впечатления, что ваши ответные реплики на мои вопросы одновременно с тем, как вы относитесь к большей части множества других людей, противоречивы, — то есть вы верите, и затем снова у вас веры нет. Теперь я спросил бы, считаете ли вы правильным считать разумным человека, одной ногой стоящего на позициях веры, а другой — на позициях неверия? Разве вы не думаете, сэр, о том, что вы должны выбрать что-то одно? Не думаете ли вы, что последовательность требует, чтобы вы или сказали: «Я верю всем людям» — и сняли ваше уведомление, или сказали иначе: «Я подозреваю всех людей» — и оставили всё как есть.

Это беспристрастное, если не почтительное, предложение не смогло не произвести впечатления на парикмахера и в какой-то степени смирило его. Аналогично его острота заставила его задуматься; вместо того чтобы подойти к медному сосуду за большим количеством воды, какова была его цель, он остановился на полпути и после паузы, с чашкой в руке, сказал:

— Сэр, я надеюсь, что вы не будете ко мне

несправедливы. Я не говорю и не могу сказать, и не сказал бы, что я подозреваю всех людей, но я говорю, что незнакомцам нельзя доверять, и, таким образом, — подчёркивая знаком, — доверия нет.

— Но посмотрите теперь, я прошу, хозяин, — возразил другой с осуждением, не предполагая слишком сильно изменить настрой парикмахера, — посмотрите теперь: сказать то, что незнакомцам нельзя доверять, не подразумевается ли как высказывание, что нельзя доверять человечеству? Разве в человеческой массе все обязательно чужие друг для друга? Ну-ка, друг мой, — с обаянием, — вы же не Тимон, чтобы считать человеческую массу ненадёжной. Снимите своё уведомление, оно человеконенавистническое, этот же самый знак Тимон начертал древесным углём на лбу черепа, закреплённого в его пещере. Снимите его, хозяин, снимите его сегодня же вечером. Верьте людям. Просто попробуйте поставить эксперимент по доверию к людям во время этой небольшой поездки. Ну да, я — филантроп и застрахую вас от потери центов.

Парикмахер сухо покачал головой и ответил:

— Сэр, вы должны извинить меня. У меня се-

мья.

Глава XLIII
Исполненная очарования

— Так, значит, вы — филантроп, сэр, — добавил парикмахер с просветлевшим взглядом. — Так, значит, всем помогаете. Очень странные люди эти филантропы. Вы — второй, сэр, которого я видел. Филантропы очень странные люди, воистину. Ах, сэр, — снова задумчиво размешивая в чашке пену для бритья, — я, к сожалению, опасаюсь, что вы, филантропы, лучше знаете, что такое добро, чем то, каковы бывают люди. — Затем оглядел его, как будто тот был неким странным существом, сидящим за прутьями клетки. — Значит, вы — филантроп, сэр.

— Я — филантроп и люблю человечество. И больше, чем вы, цирюльник, ему верю.

Здесь парикмахер, случайно вспомнив о своём деле, держа наполненную пеной чашку, обнаружил, что во время своего последнего визита к водяному сосуду, стоящему на лампе, он не заменил воду. Он исправил ошибку и, ожидая, пока сосуд нагреется снова, стал совсем общительным, как будто нагревающаяся вода предназначалась

для пунша из виски, и заговорил почти так же галантно, как симпатичные парикмахеры в романах.

— Сэр, — сказал он, обхватывая трон, стоящий возле трона своего клиента (там стояли на возвышении три трона подряд, символизирующие трёх королей Кёльна, которые были святыми заступниками парикмахеров), — сэр, вы говорите, что верите людям. Ну, я предположу, что я мог бы разделить часть ваших убеждений, но не ради того ремесла, которым занимаюсь и которое негласно и слишком сильно сдерживает меня.

— Я думаю, что понимаю, — с печальным взглядом, — и почти такую же мысль я слышал от людей, занятых делами, отличными от ваших, — от адвоката, от конгрессмена, от редактора, не говоря уже о других со странной меланхоличной суетой, требующей во время их занятий постоянного предоставления самых верных доводов ради убеждения, что человек никогда не бывает лучше того, каким он должен быть. Все эти свидетельства, если они заслуживают доверия и взаимно подтверждаются, ослабили бы некоторую тревогу в уме хорошего человека. Но нет, нет, это — ошибка, абсолютная ошибка.

— Правда, сэр, весьма верно, — согласился парикмахер.

— Рад это слышать, — проясняясь.

— Не столь быстро, сэр, — сказал парикмахер. — Я соглашаюсь с вами в той мысли, что и адвокат, и конгрессмен, и редактор не совсем далеки, поскольку каждому из них требуются специфические средства для рассмотрения вопроса, потому что, как видите, сэр, правда состоит в том, что каждое ремесло или занятие, которое контактирует с фактами, сэр, — это ремесло или занятие, по сути, является путём к этим фактам.

— …Как… это точно?

— Да ведь, сэр, по моему мнению, — и в течение прошлых двадцати лет у меня в свободное время крутился некий вопрос в моём уме, а именно: о чём человек узнаёт, то не остаётся в его неведении. Полагаю, что это высказывание не опрометчиво; не так ли, сэр?

— Сэр, вы говорите как оракул — туманно, хозяин, туманно.

— Ну, сэр, — с некоторым самодовольством, — парикмахер всегда кажется оракулом, но что касается тумана, то я его не напускаю.

— Но умоляю, теперь, с вашей точки зрения, как именно это таинственное знание принесёт

пользу в вашем деле? Я представляю, что, действительно, как вы прежде и намекали, ваше занятие налагает на вас необходимость функционального хватания человечества за нос, — в этом отношении оно весьма неприятно; тем не менее хорошее воображение должно показать такое побуждение, как непотребное тщеславие. Но что я хочу узнать от вас, мастер: как простая обработка поверхностей людских голов принуждает вас не доверять внутреннему содержанию их сердец?

— Если не сказать больше, сэр, то можно ли, всегда имея дело с макассаровым маслом, краской для волос, косметикой, ложными усами, париками и тупеями, всё ещё полагать, что люди окажутся полнее, чем они надеются быть? Что вы думаете, сэр, о мыслях вдумчивого парикмахера, когда позади аккуратной занавеси он сбривает тонкую мёртвую щетину с головы и затем отбрасывает её в мир, окружённый золотисто-каштановым сиянием? Представить дрожащую атмосферу позади занавеса, робкое нетерпеливое ожидание того, что там можно обнаружить любопытного знакомого с весёлой самоуверенностью и сомнительной гордыней, с которыми этот же самый человек выйдет затем, весело паясничая,

на улицу, в то время как некий честный малый с копной волос кротко уступит ему путь! Ах, сэр, они могут говорить о храбрости правду, но моё ремесло учит меня, что правда иногда бывает робкая. Ложь, ложь, сэр, напористая ложь — это лев!

— Вы извращаете мораль, сэр; вы, к сожалению, вертите ею. Посмотрите-ка теперь, давайте представим: разве скромный человек, оказавшись голым на улице, не будет смущён? Примите его и оденьте его — вернётся ли к нему вера? И в любом случае, можно ли его в чём-то упрекать? Теперь, если что-то является в целом верным, то, соответственно, является верным и в частности. Для наготы лысины парик — это пальто. Чувствовать себя неловко от необходимости показывать наготу макушки и чувствовать покой от сознания одежды — эти чувства, которые, вместо того чтобы быть постыдными для смелого человека, фактически свидетельствуют о надлежащем уважении к себе и своим товарищам. И что касается обмана, то вы можете также назвать обманом прекрасную крышу прекрасного замка, и потому прекрасный парик — это тоже искусственное покрытие головы, поэтому то и другое одновременно украшают их хозяина внешне. Я опроверг вас, мой дорогой парикмахер, я запутал вас.

— Прошу прощения, — сказал парикмахер, — но я не понимаю, что вы имеете в виду. Ни один человек сам не решится распродавать своё пальто и свой костюм по частям, но обритый человек сбывает волосы не самому себе и ради самого себя.

— Не… свои… сэр? Если он законно купил волосы, закон будет защищать его собственность, выступая даже против требований головы, на которой они выросли. Но не может ли случиться так, что вы не верите тому, что вы говорите, уважаемый? Вы говорите просто ради смеха. Я не могу так думать о вас, предполагая, что вы были бы рады иметь дело с обманом, который вы же и осуждаете.

— Ах, сэр, я же должен как-то жить!

— И вы не можете не делать этого, не греша против вашей совести, которая суть вашей веры? Рассмотрим другие ответы.

— Не мешало бы пересмотреть этот вопрос, сэр.

— Вы, значит, думаете, сэр, что в определённый момент у всех людей всех занятий ответы одинаковы? Фатально, воистину, — поднимая свою руку, — парикмахерское дело невыразимо ужасно, если оно обязательно приводит к таким

заключениям. Парикмахер, — оглядывая его не без эмоций, — вы кажетесь мне не столько еретиком, сколько человеком, введённым в заблуждение. Теперь позвольте мне наставить вас на путь истинный, позвольте мне наставить вас так, чтобы вы доверяли человеческой натуре и никакие другие средства, даже сама ваша работа, не создавали подозрений.

— Вы имеете в виду, сэр, что сделаете так, чтобы я провёл эксперимент по снятию этого уведомления, — снова указывая на него помазком, — но вот в то время, пока я здесь сижу и болтаю, вода выкипает.

С этими словами и этаким весьма довольным, хитрым, скрытным выражением лица, которое, как говорится, появляется у некоторых людей, когда они размышляют, удалась ли их маленькая хитрость, он поспешил к медному сосуду и скоро вспенил в чашке такие белые пузыри, как будто это была кружка свежего пива.

Тем временем другой попытался продолжить беседу, но хитрый парикмахер намылил его столь щедрой пеной и столь пышной, что его лицо стало похоже на пенный гребень волны, и тот уже не думал о разговоре под ней, как тонущий священник в море, у которого не получилось

призвать своих товарищей-грешников к строительству плота. Ему ничего не оставалось, кроме как держать рот на замке. Несомненно, пауза не изменила его мыслей, поэтому, когда следы процедуры были наконец удалены, космополит поднялся и для того, чтобы освежиться, вымыл своё лицо и руки и, тщательно приведя себя в порядок, продолжил обращение к парикмахеру уже в иной манере, сильно отличающейся от предыдущей. Трудно сказать точно, что это была за манера, тем более намекать, что это было своего рода волшебство; мягкая манера, трудно отличимая от манеры, выдуманной или нет, неких существ в природе, у которых есть сила убедительного обаяния — сила удержания другого существа глазными зрачками, как иногда случается, несмотря на серьёзное нежелание и воистину серьёзные протесты жертвы. С помощью этой манеры вопрос был решён; когда, наконец, уже все аргументы и уговоры казались тщетными, парикмахер, неодолимо убеждённый, согласился в оставшееся время плавания поставить эксперимент по доверию к людям, поскольку оба выразили такое желание. Правда, чтобы уберечь свой вклад как независимого участника, он громко утверждал, что делает это

только ради новизны, на которую он согласился, и потребовал от другого, прежде чем он проявит свою добрую волю, поискать гарантию для него от какой-либо потери, которая могла бы последовать; но, тем не менее, оставался факт, что он будет доверять людям, — о чём он прежде говорил, что этого не сделает, по крайней мере, весьма несдержанно. Тем не менее, чтобы максимально сохранить своё влияние, он настоял в последнем пункте, что в соглашении должны быть чёрным по белому упомянуты гарантии. Другой не выразил никакого сомнения; перо, чернила и бумага были приготовлены, и со всей серьёзностью, словно нотариус, космополит уселся за стол, но, прежде чем взять перо, поглядел на уведомление и сказал:

— Сначала снимите эту вывеску, хозяин, — знак Тимона, вон там; снимите её.

Это, согласно договору, было сделано, хотя немного неохотно, — с прицелом на будущее вывеска была тщательно уложена подальше в ящик.

— Теперь, значит, к написанию, — сказал космополит, поправляя на себе костюм. — Ах, — со вздохом, — боюсь, я стану несчастным адвокатом. Парикмахер, как видно, не идёт дело,

которое игнорирует принцип чести, и не разрешается, пока оно не закреплено договором. Странно, парикмахер, — поднимая чистый лист, — что такая пустяковая материя, как эта, держится на таких крепких тросах, и столь низко в придачу. Сэр, — вставая, — я не буду его писать. Это будет размышление о нашей общей чести. Я приму ваше слово, и вы должны принять моё.

— Но ваша память не может быть одной из лучших, сэр. Ведь хорошо же для вас, с вашей стороны, иметь его написанным чёрным по белому, только в качестве меморандума, ну, вы же знаете.

— Действительно, это так! Да, и поможет… вашей… памяти тоже, не так ли, сэр? Ваша, с вашей стороны, также немного слаба, осмелюсь сказать. Ах, парикмахер! Насколько мы, люди, изобретательны и как любезно мы оплачиваем маленькие слабости друг друга, не так ли? Разве это не лучшее доказательство того, что теперь мы — добрые, внимательные друзья со взаимно поддерживаемыми чувствами, — а, парикмахер? Но к делу. Позвольте взглянуть. Как вас зовут, уважаемый?

— Уильям Крим[10], сэр.

Немного подумав, он начал писать и после некоторых исправлений откинулся назад и зачитал вслух следующее:

СОГЛАШЕНИЕ

между
ФРЭНКОМ ГУДМЕНОМ, филантропом и гражданином мира,
и
УИЛЬЯМОМ КРИМОМ, парикмахером с парохода «Фидель» на Миссисипи.

Первый по настоящему соглашению компенсирует последнему любую потерю, которая может произойти из-за его доверчивоти к человечеству при оказании своих услуг в оставшееся до завершения плавания время; ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Уильям Крим не упускает из виду, что из-за данного слова его уведомление о КАКОМ-ЛИБО НЕДОВЕРИИ не появится и он никаким иным способом никому не выразит ни малейшего намёка или указания, направленного на то, чтобы отговорить людей от предоставления кредита на его услуги в течение вышеуказанного времени; на-

---

10 Примечания: 10
Крем, взбитые сливки (англ.). — Прим. пер.

оборот, он всеми надлежащими и разумными словами, жестами, манерами и взглядами окажет абсолютное доверие всем людям, особенно незнакомцам; в противном случае это соглашение будет недействительным.

Написано и заверено 1 апреля 18… года, в четверть двенадцатого ночи, в лавке указанного Уильяма Крима, на борту упомянутого парохода «Фидель».

— Вот, дорогой мой, что ещё?

— Всё будет готово, — сказал парикмахер, — если сейчас вы поставите своё имя.

Когда оба поставили подписи, парикмахер, на попечении которого был инструмент, поднял ради самоуспокоения вопрос о предложении обоим пойти к капитану и вверить документ в его руки, — парикмахер намекал на то, что это только ради безопасности, потому что капитан — обязательно сторона незаинтересованная и, более того, не может по своей природе злоупотребить доверием. Всё это было выслушано с некоторым удивлением и беспокойством.

— Почему, сэр, вы считаете, — сказал космополит, — что это правильно? В отношении себя скажу, что я верю капитану просто потому, что он — человек, но он не должен иметь никакого

отношения к нашему делу, поскольку, если у вас нет веры в меня, парикмахер, то я верю вам. Вот, сами держите бумагу, — великодушно вручая её.

— Очень хорошо, — сказал парикмахер, — и теперь для меня ничего не остаётся, кроме как получить наличные деньги.

Хотя упоминание об этом слове или, в особенности, о любом из его многочисленных эквивалентов, находящихся в серьёзном соседстве к опустошению кошелька, приводит к более или менее примечательному влиянию на человеческое самообладание, производя во многих случаях его резкое падение, в других случаях — к корчам и беспокойному взгляду, направленному в особенную точку, а иногда — к приходу абсолютной бледности и фатального испуга, — всё же ни единого следа какой-либо потери этих признаков самообладания у космополита замечено не было, несмотря на то что они могли появиться более внезапно и неожиданно, чем требование парикмахера.

— Вы говорите о наличных деньгах, мастер; прошу сказать, в какой связи?

— Примерно в той, сэр, — ответил парикмахер менее вежливо, — при которой я думаю о человеке со сладким голосом, который хотел, чтобы я

доверял ему однажды при бритье, и оказавшемся своего рода тринадцатым кузеном.

— Действительно, и что бы вы сказали ему?

— Я сказал бы: «Спасибо, сэр, но я не вижу взаимосвязи».

— Как вы могли дать столь несладкий ответ человеку со столь сладким голосом?

— Потому что я вспомнил, что сын Сирака говорит в Книге Истин: «Сладкие речи слетают с уст врага», — и потому я сделал то, что сын Сирака советует в таких случаях: «Я поверил немногим его словам».

— Вы говорите, сэр, что такой циничный взгляд изложен в Книге Истин, под которой, конечно же, вы подразумеваете Библию?

— Да, и ещё во многих книгах о том же самом. Прочитайте Книгу притчей Соломоновых.

— Это уже странно, хозяин; поскольку я никогда, оказывается, не встречался с теми строками, которые вы цитируете. Прежде чем я лягу спать этой ночью, я посмотрю Библию, которую сегодня видел на столе каюты. Но думаю, что вы не должны указывать на Книгу Истин как указующий путь для людей, входящих сюда; это будет считаться нарушением договора. Но вы не представляете, как я рад почувствовать, что

вы подошли к завершению всего этого.

— Нет, сэр, пока вы не внесёте наличные деньги.

— Снова наличные деньги! Что вы имеете в виду?

— Да ведь в этой бумаге сказано, что вы обязуетесь, сэр, застраховать меня от определённой потери…

— Бесспорно? Вы так уверены в проигрыше?

— Почему же, этот способ взять слово не может быть плохим, но я не имею в виду его. Я имел в виду… конкретную… потерю; вы понимаете, определённую потерю, так сказать, определённую потерю. В этом случае, сэр, как использовать ваше простое письмо и высказанные заверения, если вы заранее не оставите в моих руках денежный залог, достаточный для этой цели?

— Ясно дело, материальный залог.

— Да, и я прикреплю его пониже; говорю о пятидесяти долларах.

— Тогда что это за начало? Вы, сэр, в течение данного времени займитесь тем, как доверять человеку, приобрести веру в людей, и в виде вашего первого шага повесьте объявление, подразумевающее доверие к тому самому человеку, который вас нанимает. Но пятьдесят долларов — пустяк,

и я бы с лёгкостью отдал вам их, только я, к сожалению, могу только попросить у вас небольшого извинения.

— Но у вас есть деньги хотя бы в вашем багаже?

— Будьте уверены. Но вы же понимаете — фактически, сэр, вы должны быть последовательным. Нет, теперь уж я не позволю вам получить деньги, я не позволю вам нарушить сокровенный дух нашего контракта, его направленность. Поэтому доброй ночи и увидимся снова.

— Останьтесь, сэр, — запинаясь и невнятно. — Вы что-то забыли.

— Носовой платок? Перчатки? Нет, ничего не забыл.

— Спокойной ночи.

— Оставьте, сэр, за бритьё.

— Ах, я забыл об этом. Но теперь, когда это задевает меня, я не заплачу вам в настоящее время. Посмотрите на своё соглашение: вы должны доверять. Не возмущайтесь! У вас есть гарантия от потерь. Доброй ночи, мой дорогой парикмахер.

С этими словами он пошёл прочь, оставив парикмахера в замешательстве смотрящим ему вслед.

Но при этом продолжающемся обаянии естественной философии, гласящей, что ничего не может происходить там, где ничего нет, парикмахер уже не торопился вернуть свои чувства и самообладание, первым доказательством чего, возможно, стало то, что, вынув своё уведомление из ящика, он повесил его туда, где оно находилось прежде; что же касается соглашения, то он его порвал, отчего он чувствовал себя свободно, отделавшись от впечатления, что, при всём человеческом правдоподобии, он вряд ли когда-либо ещё увидит человека, который оставил его. Оказалось ли это впечатление обоснованным или нет, неизвестно. Но в последующие дни, рассказывая об этом ночном приключении своим друзьям, достойный парикмахер всегда говорил о своём странном клиенте как о человеке-заклинателе — как верно называют заклинателями змей восточных индийцев, — и все его друзья как один решили, что это был ВПОЛНЕ СЕБЕ ОРИГИНАЛ.

Глава XLIV, в которой последние три слова последней главы написаны в виде дискуссии, где будет выражена уверенность в большем или меньшем внимании у тех читателей, которые её не пропустят

«Вполне оригинал» — фраза, которая, как мы полагаем, скорее и чаще используется молодым, или забывчивым, или неопытным путешественником, нежели старым, или начитанным, или человеком, который совершил длительное путешествие. Конечно, наиболее высокая оригинальность присутствует у младенца, и, вероятно, наименее низка у того, кто прошёл круг наук.

Что касается оригинальных характеров в беллетристике, то благодарный читатель будет, повстречавшись с одним, отмечать годовщины этого дня. Правда, мы иногда слышим об авторе, который за один присест создаёт примерно два или три десятка таких характеров, что вполне возможно. Но они едва ли могут быть оригинальными в том смысле, в каком они оригинальны

у Гамлета, Дон Кихота или Сатаны Мильтона. Так сказать, оригиналов нет в полном смысле вообще. Они новы, или исключительны, или поразительны, или очаровательны, или и то, и другое, и третье вместе.

Более вероятно, что они — то, что называют странными характерами; но из-за этого они не более оригинальны, чем те, кого называют странными гениями в своём роде. Но если они оригинальны, то откуда они берутся? И где романисты подбирают их?

Где каждый романист находит характеры? По большей части — в городе, уверяю вас. Каждый большой город — своего рода человеческое шоу, где романист бродит в поисках своего материала точно так же, как агроном идёт на выставку рогатого скота ради себя самого. Но на любой ярмарке новый вид четвероногих животных едва ли более редок, чем у беллетриста новые оригинальные разновидности характеров. Их редкость может ещё больше проявляться оттого, что характеры просто исключительные подразумевают только исключительные формы, так сказать, оригинальные, воистину такие, что подразумевают оригинальные инстинкты.

Короче говоря, благодаря концепции, по ко-

торой создаются подобные персонажи в беллетристике, они становятся в ней почти таким же чудом, как новый законодатель в реальной истории, создатель новой философии или основатель новой религии.

Почти во всех оригинальных характерах, вольно относимых к такой работе фантазии, как-то заметно превалирует местность или время, каковое обстоятельство само по себе, казалось бы, лишило бы законной силы требование к ним, вынесенное на основе предложенных здесь принципов.

Кроме того, если мы, как обычно, даём право характеру в беллетристике считаться оригинальным, то это самоограничение совсем не что-то личное. Характер не теряет свою особенность в своей среде, тогда как оригинальный характер, по существу, походит на автоматически возобновляемые лучи Драммонда, излучаемые во все стороны вдаль, — всё освещено ими, всё начинается с него (как в случае с Гамлетом), так что в определённых умах, следующих за соответствующей концепцией такого характера, производимый эффект по-своему оказывается сродни воздействию Книги Бытия, обращающей внимание на начало вещей.

Почти по той же причине, что всего лишь одна планета вращается на одной орбите, придумывается всего лишь один такой оригинальный характер. Два характера создали бы конфликт и хаос. Если говорить в том ключе, что в книге их больше чем один, то правильно предположить, что нет ни одного вообще. Но новыми, исключительными, поразительными, странными, эксцентричными и всеми интересными и поучительными характерами хорошая беллетристика вполне может быть наполнена. Создавая такие характеры, автор, помимо других вещей, должен будет увидеть многое и увидеть через многое: создание только одного оригинального характера ему, должно быть, принесёт удачу.

Кажется, существует не только одна общая черта у этого явления в беллетристике и всеми остальными видами творчества: оригинал не может быть порождён авторским воображением, что является столь же верным в литературе, сколь и в зоологии, где вся жизнь происходит из яйца.

Силясь показать, насколько возможно, неуместность фразы «вполне оригинал», используемой друзьями парикмахера, мы приходим к трактату, граничащему с прозой, который, возможно, весь-

ма туманен. Если это так, то лучшее применение, которого достоин туман, состоит в удалении под его покрытием, и по возможности с сохранением должной формы в отношении к этой истории.

Глава XLV
Космополит становится серьёзным

Посреди каюты для джентльменов горела качавшаяся под потолком яркая лампа, из-за матового стекла которой повсюду вокруг ложились разнообразные причудливые прозрачные тени с изображением рогатого алтаря, откуда исходил огонь, противостоя фигуре одетого человека с головой, окружённой ярким ореолом. Свет этой лампы после ослепляющего падения на мраморно-белый круг в центре стола, стоящего под ней, лился во все стороны, слегка колеблясь с какой-то уменьшающейся отчётливостью, пока, как расходящиеся от брошенного камня круги на воде, его лучи не исчезали в тумане самого дальнего и укромного уголка этого места.

Тут и там, соответствуя своему месту, но не своей функции, качались другие лампы, словно безжизненные планеты, которые или вышли из строя от истощения, или были погашены теми обитателями каюты, которых раздражал свет, или теми, кто хотел спать и не хотел его видеть.

Упрямый человек в дальнем углу погасил бы и оставшуюся лампу, не запрети этого стюард, сославшийся на команду капитана, потребовавшего, чтобы она горела до наступления естественного дневного света. Этот стюард, кто, как и многие из его полка, бывая слегка откровенным время от времени, из-за человеческого упрямства напомнил ему не только о печальных последствиях, которые — в случае чего — могли произойти в покидаемой в темноте каюте, но также и о том обстоятельстве, что в месте, полном незнакомцев, показывать само стремление создавать темноту из-за возможного беспокойства по меньшей мере не стоит. Поэтому лампа — одна из немногих оставшихся — продолжала гореть внутри каюты при благословении с одних мест и тайно ненавидимая из-за этого с других.

Неся свою одинокую вахту под своей одинокой лампой, которая освещала лежащую на его столе книгу, сидел чистый, миловидный старик с головой белоснежной, как мрамор, и спокойствием, которое воображение приписало бы славному Симеону, когда тот наконец увидел Духовного Пастыря, благословил его и отправил в мир. Из-за своего здорового свежего снежного облика и из-за своих рук, загоревших, очевидно, за это

лето меньше, чем за все прошлые, старик казался зажиточным фермером, с радостью освободившимся от своих процветающих дел, начиная с полей и заканчивая домашним очагом, и был одним из тех, кто в семьдесят лет имеет молодое сердце, как у пятнадцатилетнего юноши, кому уединение даёт большее счастье, чем знание, и кто в прошлом отправлялся в небеса, миром не испорченные, лишь потому, что не был осведомлён о них, подобно тому как соотечественник, останавливающийся в лондонской гостинице и никогда не выезжающий из неё как турист, уезжает наконец из Лондона, не потерявшись в его тумане или не испачкавшись его грязью.

Благоухающий после бритья, словно жених, лёгкой походкой идущий к брачному чертогу, и из-за своего оживлённого вида, казалось, вносящий своего рода утро в ночные часы, вошёл космополит, но, заметив старика и то, чем тот был занят, он пригнулся, мягко прошёл и сел с другой стороны стола, ничего при этом не сказав. Однако своеобразное выражение ожидания присутствовало в его облике.

— Сэр, — сказал старик после недолгого озадаченного взгляда на него, — сэр, — сказал он, — можно подумать, что это кафе, и сейчас

военное время, и у меня здесь газета с важными новостями в единственном имеющемся экземпляре, и потому вы сидите и смотрите на меня столь нетерпеливо.

— И потому у вас хорошие новости, сэр, — самые лучшие из хороших новостей.

— Слишком хорошие, чтобы быть правдой, — донеслось с одного из занавешенных мест.

— Прислушайтесь! — сказал космополит. — Кто-то говорит во сне.

— Да, — сказал тот, что постарше, — и вы, вы, кажется, говорите во сне. Почему вы, сэр, говорите о новостях и обо всём подобном, когда вы должны были увидеть, что книга, которую я держу, — Библия, а не газета?

— Я знаю это, и, когда вы закончите с ней — но не секуной раньше, — я поблагодарю вас за неё. Она принадлежит кораблю, я верю, как дар общества.

— О, возьмите её, возьмите её!

— Нет, сэр, я вообще не хотел вас тревожить. Я просто сказал об этом факте в качестве объяснения моего ожидания здесь, ничего более. Продолжайте читать, сэр, или мне станет тревожно за вас.

Эта любезность не осталась без последствий.

Сняв свои очки и сказав, что он закончил главу, старик любезно предложил книгу, которая была принята со взаимной благодарностью. После продолжавшегося в течение нескольких минут чтения до тех пор, пока выражение его лица не перешло от внимательности к серьёзности, и оттого со своего рода некой болью, космополит медленно сложил книгу и вернул её старику, который к настоящему моменту наблюдал за ним со скромным любопытством, и сказал:

— Не могли бы вы, будь вы моим другом, разрешить моё сомнение — тревожащее сомнение?

— Если есть сомнения, сэр, — ответил старик, изменившись в лице, — если есть сомнения, сэр, то это означает, что у человека есть сомнения и этот человек не может разрешить их.

— Верно, но посмотрите теперь, каково моё сомнение. Я — тот, кто думает о первооснове человека. Я люблю человека. Я верю в человека. Но что услышал я не далее как полчаса назад? Мне сказали, что я найду вот такую запись: «Не верьте множеству слов — с уст врага слетают сладкие речи», и я тоже сказал бы, что нашёл намного больше подтверждения этого же самого явления и всего остального в этой книге. Я не мог рассуждать так; и, придя сюда взглянуть на само-

го себя, что же я читаю? Не только то, о чём было сказано, но также то, что занимательно, о некой цели, такой, как эта: «С большим усердием он будет соблазнять тебя; он будет улыбаться тебе, и говорить тебе о тщеславии, и спрашивать: „Чего ты хочешь?“ Если ты жаждешь достатка, то он будет использовать тебя; он сделает тебя спекулянтом и не пожалеет об этом. Наблюдайте и будьте очень внимательны. Когда вы слышите это, очнитесь от вашего сна».

— Кто тут описывает мошенника? — снова донёсся голос с прежнего места.

— Не спится, конечно же, не так ли? — сказал космополит, снова удивлённо оглядевшись. — Тот же самый голос, как и прежде, разве нет? Странный мечтательный человек, скорее всего. Где вы там? Умоляю вас, скажите!

— Не берите в голову, сэр, — сказал старик с тревогой, — но скажите мне точно, о чём вы сейчас вычитали из книги?

— Я прочитал, — изменившимся голосом, — про злобу и полынь для самого себя, верящего в человека; про самого себя, филантропа.

— Почему, — придвинувшись, — вы не хотите сказать, что то, о чём вы поведали, действительно там есть? И зрелым мужчиной, и мальчиком

я читаю эту добрую книгу семьдесят лет и не забываю увидеть что-либо иное, чем это. Позвольте мне взглянуть, — с важностью поднявшись и обходя его.

— Вот это, и там и тут, — перелистывая страницы и указывая на предложения одно за другим, — там всё «Мудрость Иисуса, сына Сираха».

— Ах! — вскричал старик, проясняясь. — Теперь я знаю. Посмотрите, — перелистывая страницы взад и вперёд, пока весь Ветхий Завет не лёг плашмя на одну сторону и весь Новый Завет на другую, в то время как его пальцы оказались между двумя частями книги, — посмотрите, сэр: всё, что справа, — несомненная правда, и всё, что слева, — несомненная правда, но всё, что я держу в своей руке, является апокрифом.

— Апокрифом?

— Да, и это слово в чёрно-белых тонах, — указывая на книгу. — И что говорит это слово? Оно говорит, что «нет гарантии»; ведь что говорят преподаватели из колледжа относительно чего-либо подобного? Они говорят, что оно недостоверно. Я получил известие с кафедры проповедника, что под самим словом подразумевается некое сомнение. Таким образом, если ваше волнение возникло из-за чего-то в этой апокрифической

книге, — снова приподнимая страницы, — то в этом случае не думайте много о ней, поскольку это апокриф.

— Что там сказано об Апокалипсисе? — уже в третий раз донеслось с того же места.

— Перед ним предстали видения, не так ли? — сказал космополит, ещё раз глядя в направлении голоса. — Но, сэр, — продолжая, — я не могу высказать вам, насколько я благодарен за ваше напоминание об апокрифических книгах. В настоящий момент это то, чего я избегал. Факт состоит в том, что, когда всё связано вместе, иногда возникает путаница. Неканоническая часть должна быть ясно привязана. И теперь я думаю о том, как хорошо поступили те учёные доктора, что отвергли из-за нас всю эту Книгу Сираха. Я никогда не читаю ничего такого, что способно разрушить веру человека в человека. Этот сын Сираха даже говорит: «Я видел его», но в тот же момент: «Примите во внимание ваших друзей»; но при наблюдении ваши друзья, что кажутся друзьями, — лицемерны, ваши друзья лживы, но они — ваши… друзья, ваши настоящие друзья, — то есть самому истинному другу в мире не нужно слепо доверять. Может ли Ларошфуко оправдать такое? Я не должен задаваться

вопросом, почему его точка зрения на природу человека, как у Макиавелли, была заимствована у этого сына Сираха. И названа его мудростью — Мудростью сына Сираха! Мудрость, воистину! До чего же уродлива эта мудрость! Дайте мне безумие, которое покрывает рябью щеку, говорю я, а не мудрость, которая створаживает кровь. Но нет, нет, это не мудрость; это — апокрифические книги, как вы говорите, сэр. Как же может заслуживать доверия тот, кто проповедует неверие?

— Я скажу вам, как именно, — тут же закричал тот же самый голос, что и прежде, только с большей или меньшей насмешкой. — Если вы оба не знаете точно, спать вам или нет, то не надо мешать спать более мудрым людям. И если вы хотите знать, какова мудрость, то пойдите и найдите её под вашими одеялами.

— Мудрость? — закричал другой голос с ирландским акцентом. — Разве это не мудрость, когда два гуся постоянно только о ней и тараторят? Уснуть из-за вас, грешников, можно будет только тогда, когда ваши пальцы сгорят вместе с подобной им мудростью.

— Мы должны говорить потише, — сказал старик. — Я боюсь, что мы разбудили этих славных

людей.

— Я должен извиниться, если мудрость кого-то раздражает, — сказал другой, — но мы понизим наши голоса, как вы просите. Подведём итог: рассмотрев эти вещи, что я и сделал, удивляетесь ли вы моему беспокойству из-за чтения отрывков, столь исполненных духом неверия?

— Нет, сэр, я не удивлён, — сказал старик, затем добавил: — Судя по тому, что вы говорите, я вижу, что вы — человек моего образа мыслей — думаете, что недоверие по отношению к творению — это своего рода недоверие к Творцу. Ну, мой молодой друг, что это? Это совсем недавно появилось в вас. Что вы хотите от меня?

Эти вопросы были отложены при появлении мальчика в рваном, старом, линялом пальто, потрёпанном и пожелтевшем, который, босиком сойдя с палубы на мягкий ковёр, никем не был услышан. Вся подчёркнуто трепеща, рубашка из красной фланели маленького человечка смешивалась с его жёлтым пальто, пылая на нём, как нарисованный огонь на одежде жертвы аутодафе. Его лицо имело тот же блеск застывшей грязи, отчего его тёмные глаза искрились, как блестящие искры на свежем угле. Он был юным коробейником или савояром, как вежливые

французы, возможно, назвали бы его, приглашённым сюда ради комфорта путешественников, и, не имея отдельного места для сна, в своих блужданиях по кораблю он увидел через стеклянные двери двух людей в каюте; и, хотя уже было поздно, его никогда не покидала мысль, что никогда не поздно получить пенсы.

Среди прочего он нёс любопытную вещь — миниатюрную красную деревянную дверцу, приделанную к рамке и, соответственно, отделанную со всех сторон, кроме одной, о которой вскоре пойдёт речь. Эту маленькую дверцу он сейчас же многозначительно выставил перед стариком, который, поглядев на неё какое-то время, сказал:

— Дитятко, иди своим путём со своими игрушками.

— Скорей всего, сию секунду я никак не стану столь же старым и мудрым, как вы, — рассмеялся мальчик под своей сажей и широко раскрыл почти леопардовые зубы, как дикий нищий мальчик с картины Мурильо.

— Уже диаволы смеются, не так ли? — донёсся голос с акцентом со своего места. — Ей-богу, что смешного диаволы находят в мудрости? В постель идите, вы — диаволы, это точно.

— Ты видишь, дитя, что ты потревожил этого человека, — сказал старик. — Ты не должен больше смеяться.

— Ах, теперь, — сказал космополит, — не говорите так, умоляю; не позволяйте ему думать, что в этом мире глупость преследует бедняка за смех.

— Хорошо, — сказал старик мальчику. — Ты должен, во всяком случае, говорить очень тихо.

— Да, это, пожалуй, правильно, — сказал космополит, — но, мой добрый друг, ты тут что-то сказал моему почтенному другу; что именно?

— О, — понижая голос, ради прохлады открывая и закрывая свою маленькую дверцу, — только это: когда я держал лавку с игрушками на ярмарке в Цинциннати в прошлом месяце, то продал детские погремушки не одному старику.

— Не сомневаюсь, — сказал старик. — Я сам часто покупаю такие вещи для своих маленьких внуков.

— Но эти старики, о которых я говорю, были старыми холостяками.

Старик на мгновенье уставился на него, и тогда уже зашептал космополит:

— Странный мальчик, на вид простой, не так ли? Что ещё ты знаешь, а?

— Больше ничего, — сказал мальчик, — иначе я не был бы таким оборванным.

— До чего же тонкий слух у тебя, мальчик! — воскликнул старик.

— Если бы он был похуже, то я услышал бы меньше плохого о себе, — сказал мальчик.

— Ты кажешься довольно мудрым, мой юноша, — сказал космополит. — Почему бы тебе не продать свою мудрость и не купить пальто?

— Мудрость, — сказал мальчик, — это то, что я сделал сегодня, и это пальто — цена моей мудрости. Но вы разве покупатель? Посмотрите теперь, это не та дверь, которую я хочу продать; я только ношу дверь по кругу в качестве образца. Посмотрите теперь, сэр, — выкладывая вещь на стол, — предположите, что эта небольшая дверца является дверью вашего купе, хорошо? — открыв её. — Вы выходите ночью, вы закрываете свою дверь за собой — так. Вот теперь разве это не настоящий сейф?

— Я предполагаю, что это так, мальчик, — сказал старик.

— Конечно, так, мой славный приятель, — сказал космополит.

— Настоящий сейф. Хорошо. Теперь, скажем, около двух часов утра, джентльмен с ловкими

руками мягко проходит и пробует нажать кнопку здесь — вот; мой джентльмен с ловкими руками дрожит — и раз, вот это скорость! Как же ещё дотянуться до мягких наличных?

— Я вижу, я вижу, мальчик, — сказал старик, — что твой прекрасный джентльмен — прекрасный вор, и нет никакого замка к твоей небольшой дверце, не пропускающей его. — При этих словах он всмотрелся в него более близко, чем прежде.

— Ну, теперь, — снова показывая свои белые зубы, — ну, теперь некоторые из вас, пожилых людей, конечно же, знают это, но вот появляется великое изобретение. — Он извлёк маленькое стальное приспособление, очень простое, но оригинальное, которое он, прихлопнув на внутренней части маленькой дверцы, запер, как на задвижку. — Вот теперь, — восхищённо удерживая его на расстоянии вытянутой руки, — вот теперь позвольте этому джентльмену с ловкими руками прийти и мягко попытаться нажать на эту небольшую кнопку здесь и позволить ему повторить попытку, пока он не обнаружит свою голову столь же пластичной, как и свою руку. Купите доступный замок путешественника, сэр, всего двадцать пять центов.

— Дорогой мой, — вскричал старик, — вот так

припечатал! Да, мальчик, я приобрету один и использую его этой же ночью.

С напускным равнодушием старого банкира мальчик уже повернулся к другому:

— Вы купите один, сэр?

— Извини меня, мой славный приятель, но я никогда не пользуюсь изделиями таких кузнецов.

— Тот, кто обеспечивает кузнецу большую часть работы, редко покупает у кузнеца что-либо, — сказал мальчик, подмигивая ему и показывая уровень некой осведомлённости, которая казалась необычной для его возраста. Но подмигивания старик не заметил — или же, судя по всему, не понял, кому оно было предназначено.

— Тогда сейчас, — сказал мальчик, снова обращаясь к старику. — С вашим замком путешественника на вашей двери сегодня вечером вы будете думать, что представляете собой сейф, не так ли?

— Полагаю, мальчик, что так и подумаю.

— Но как насчёт окна?

— Вот это да! Окно, мальчик. Я никогда не думал об этом. Я должен увидеть его.

— Вы никогда не будете думать об окне, — ска-

зал мальчик, — или же, чтобы быть честным, и о замке путешественника (хотя я не жалею ни об одном проданном), если просто купите одну из этих маленьких игрушек, — доставая несколько похожих на подвязки объектов, которые он подвесил перед стариком. — Денежные пояса, сэр; всего пятьдесят центов.

— Денежный пояс? Никогда не слышал о таком.

— Своеобразный бумажник, — сказал мальчик, — только более безопасной конструкции. Очень хорош для путешественников.

— О, бумажник. Странно выглядят эти бумажники, впрочем, это мне так кажется. Разве они не слишком длинны и узки для бумажников?

— Они оборачиваются вокруг талии, сэр, под одеждой, — сказал мальчик. — Открыта дверь или заперта, бодрствуете вы на своих ногах или крепко спите на своём стуле — невозможно оказаться ограбленным при наличии денежного пояса.

— Я вижу, вижу. Будет тяжело обчистить денежный пояс. И я бы сказал, что сегодня Миссисипи — не лучшая река для карманников. Почём они?

— Всего пятьдесят центов, сэр.

— Я возьму этот. Вот!

— Благодарность исключает ошибку. И теперь у меня есть подарок для вас. — С этими словами он вытащил из-за пазухи пачку небольших бумаг, разбросал их перед стариком, который, глядя на них, прочитал:

— «Определитель мошенничества».

— Очень хорошая вещь, — сказал мальчик, — я отдаю её всем своим клиентам за семьдесят пять центов; лучшего подарка не придумать. Продать вам денежный пояс, сэр? — поворачиваясь к космополиту.

— Извини меня, мой славный приятель, но я никогда не пользуюсь такими вещами; свои деньги я ношу свободно.

— Приманиваете небрежностью, это неплохо, — сказал мальчик, — смотрите на ложь и находите правду, не заботясь об Определителе мошенничества, не так ли? Или это поветрие Востока, как вы думаете?

— Мальчик, — сказал старик в некотором беспокойстве, — ты не должен сидеть дальше, это влияет на твой ум; иди вон туда, ляг спать.

— Если бы у меня были мозги, как у некоторых людей, то прилёг бы. Я бы прилёг, — сказал мальчик, — но доски тверды, вы же знаете.

— Иди, мальчик. Иди, иди!

— Да, мальчик, да, да, — сказал мальчик и, плутовато пародируя, как по желобку сдвинул назад твёрдую ногу, стоявшую на тканом цветном ковре, подобно тому как в мае непослушное пастуху стадо с трудом несёт назад свои роговые копыта к пастбищу; и затем, развернув свою шляпу, которая, как часть его лохмотьев, из-за тяжёлых времён не подходила ему по возрасту, хотя и не по его опыту, — это была отвергнутая взрослыми людьми касторовая шляпа, — повернулся и с грацией молодого кафра освободил место.

— Странный мальчик, — с заботой о нём сказал старик. — Интересно, кто его мать и знает ли она, чем он занят в поздние часы?

— Вероятно, — заметил другой, — что его мать не знает. Но если помните, сэр, то вы что-то говорили, когда мальчик прервал вас своей дверцей.

— Поэтому я его удалил. Позвольте мне взглянуть, — оставив в этот момент без внимания свои покупки, — что теперь не так? Что это было, о чём я говорил? Вы помните?

— Не очень, сэр, но, если я не ошибаюсь, это было что-то вроде того: вы верите, что нельзя не доверять божьему существу, поскольку это подразумевает неверие в Создателя.

— Да, что-то вроде этого, — теперь уже механически и по-простому разрешив ему взглянуть на свои покупки.

— Умоляю, скажите, вы положите свои деньги в ваш пояс сегодня вечером?

— Это же лучше, не так ли? — немного привстав. — Никогда не бывает слишком поздно для того, чтобы стать осторожным. «Повсюду на корабле остерегайтесь карманников».

— Да, и это, должно быть, был сын Сираха или какого-то другого болезненного циника, который начертал их там. Но я не об этом. Так как вам он понравился, то позвольте мне, сэр, помочь вам с поясом. Я думаю, что вместе мы сможем соорудить из него вещь для безопасного хранения.

— О нет, нет, нет! — сказал старик не без возмущения. — Нет, нет, я не буду беспокоить вас из-за мирской суеты. — Затем, нервно складывая пояс: — И для меня также будет невежливо делать её перед вами для себя самого, а также по любой из этих причин. Но теперь, когда я думаю о нём, — после паузы, тщательно вытаскивая несколько комочков из дальнего уголка кармана своего жилета, — вот два счёта, которые дали мне вчера в Сент-Луисе. Несомненно, они в порядке, но только к моменту прихода корабля я сверю их

здесь с Определителем. Это счастье, что мальчик сделал мне такой подарок. Общественный благодетель этот маленький мальчик!

Затем, положив Определитель прямо перед собой, он, подобно офицеру, приковавшему наручниками преступника к стойке бара, разложил оба этих счёта напротив Определителя, при помощи которого приступил к экспертизе, продлившейся некоторое время, производимой с тщательным изучением и бдительностью указательным пальцем правой руки, подобно адвокату, который силён в отслеживании и применении доказательств, каких бы трудов это не стоило.

Поглядев на него некоторое время, космополит сказал формальным тоном:

— Ну, что вы скажете, господин Форман: виновен или невиновен? Невиновен, разве это не так?

— Я не знаю, я не знаю, — озадаченно ответил старик. — Столько разнообразных признаков для распознавания, что я как-то не уверен. Вот здесь и сейчас этот чек, — прикасаясь к одному, — гарантирует три доллара по счёту в «Виксбург-Трасте» и Страховой банковской компании. Ну, Определитель говорит…

— Но почему в этом случае вас беспокоит то, что он говорит? Вера и Гарантия! Что ещё вам нужно?

— Ничего, но Определитель сообщает среди пятидесяти других статей, что если счёт нормальный, то он должен иметь утолщение тут и там в структуре бумаги, небольшие волнистые красные пятна; и говорит, что тут должно быть нечто шелковистое, красное шёлковое полотно, как для носового платка, произведённое в чане для производства бумаги, — бумаги, сделанной по заказу компании.

— Ну, и…

— Останьтесь. Но тогда нужно добавить, что на этот знак не стоит полагаться всегда; некоторые хорошие счета становятся несколько потрёпанными, что красные отметки стираются. И здесь в этом случае с моим счётом видно, насколько он стар, — или иначе это подделка, или же — я не вижу справа — или же — дорогой, вот это да! — я не знаю, что и думать.

— Какую кучу проблем Определитель создал теперь для вас; поверьте мне, счёт хорош, не будьте так подозрительны. Это доказательство того, о чём я всегда думал; из-за того, что в эти дни многие ищут подлинности, вы видите поддель-

ные определители на каждом столе и прилавке. Заставляющие людей сомневаться в хороших чеках. Прошу вас, выбросьте его, если всего лишь из-за этой беды растёт ваше беспокойство.

— Нет, это неприятно, но я думаю, что оставлю его. Останьтесь, теперь вот другой знак. Он говорит, что, если счёт хорош, он должен иметь в одном углу переплетённую с виньеткой фигуру гуся, очень маленькую, воистину почти микроскопическую, и для дополнительной предосторожности как бы фигуру Наполеона, нарисованную в общих чертах на дереве, незаметную даже при увеличении, если внимание не направлено на неё. Теперь детально изучите его, поскольку я не смогу увидеть этого гуся.

— Не видите гуся? Почему же, я вижу, и этот гусь известен. Вон там, — вытягиваясь и указывая на пятно в виньетке.

— Я не вижу его. Вот это да — я не вижу гуся. Действительно ли это настоящий гусь?

— Прекрасный гусь, красивый гусь.

— Дорогой, дорогой, я не вижу его.

— Тогда выбросьте этот Определитель, повторяю вам; он только делает вас подслеповатым; разве вы не видите, к чему привела вас погоня за недостижимым? Счёт хороший. Выбросьте

Определитель.

— Нет, он не столь хорош, как я думал, но я должен исследовать другой счёт.

— Как вам угодно, но я не могу, по совести говоря, помогать вам дальше; прошу теперь извинить меня.

Поэтому, пока старик с ещё большим усердием возобновил свою работу, космополит, ради того чтобы позволить ему перепробовать все средства, возобновил своё чтение. Далее, увидев, что он бросил своё занятие как безнадёжное и снова оказался свободен, космополит обратился к нему с неким серьёзным интересным замечанием в книге, лежащей перед ним, и, к настоящему времени становясь всё более и более серьёзным, заговорил, медленно кладя обратно на стол большой том, где были едва заметны поблёкшие остатки золотой надписи, сообщающей имя компании, которая предоставила книгу кораблю.

— Ах, сэр, хотя все должны радоваться при мысли о наличии в общественных местах такой книги, всё же есть что-то, что портит удовольствие. Посмотрите на этот томик; по внешней стороне он разбит, как какой-то старый чемодан в багажном отделении, а внутри — белый и девственный, как сердцевины несозревших лилий.

— Это так, это так, — печально сказал старик, направив всё своё внимание на данное обстоятельство.

— И это не единственный случай, — продолжал другой, — когда я видел эти общественные Библии на кораблях и в отелях. Все во многом такие же, как эта, — старые снаружи и новые внутри. Что, по правде говоря, точно символизирует их внутреннюю свежесть, лучший показатель истины, хоть и древней; но тогда это говорит о ней не так хорошо, как можно говорить об уважении к хорошей книге в умах путешествующей общественности. Я могу ошибаться, но мне кажется, что вряд ли большая вера была вложена в неё путешествующей общественностью.

С уже иным чувством, весьма отличающимся от того, с каким он склонился над Определителем, старик сидел, размышляя о своих компаньонах, виденных им в последнее время, и, наконец, с увлечённым взглядом сказал:

— И всё же у людей путешествующих потребность надеяться на ту опеку, о которой сообщает эта книга, выше, чем у всех прочих.

— Верно, верно, — глубокомысленно согласился другой. — И можно подумать, что они хотят этого и будут этому рады, — продолжал старик,

распаляясь, — поэтому во время всего нашего блуждания по этой долине становится приятно то, что нам не обязательно сознавать отсутствие нужды поднимать безумные тревоги, предполагать какие-либо безумные опасности, веря в ту Силу, которая всегда готова защитить нас в тот момент, когда мы не сможем сделать этого самостоятельно.

Его поведение вызвало ответную реакцию у космополита, который, склонившись к нему, грустно сказал:

— Хотя это тема, на которую путешественники редко говорят друг с другом, всё же вам, сэр, я скажу, что разделяю ваше чувство некой защищённости. Я много ездил по миру и всё ещё продолжаю путешествие; но, хотя на этой земле, и особенно в этих её пределах, некоторые истории, рассказывающие о пароходах и железных дорогах, создавали некоторую тревогу, тем не менее я всё же могу сказать, что ни на земле, ни на воде они никогда меня серьёзно не беспокоили, однако время от времени мимоходом доставляли неудобства; но с тех пор, как я оказался вместе с вами, сэр, я верю в Хранителей, тихо парящих над всеми, в невидимый патруль, который более бдителен в те часы, когда мы спим

здоровым сном и биения наших сердец так же проносятся через леса, как и через города, и вдоль рек так же, как и вдоль улиц. Короче говоря, я никогда не забываю отрывок из Священного Писания, в котором говорится: «Иегова должен быть вашей верой». У путешественника, у которого нет этой веры, должно быть предчувствие несчастья, или, что тщетно, он должен лишить самого себя недальновидных устремлений.

— Даже так, — тихо сказал старик.

— Есть глава, — продолжил другой, снова беря книгу, — которую, как безошибочно верную, я должен прочитать вам. Но эта лампа, солнечная лампа, горит уже тускло.

— Так и есть, так и есть, — сказал старик уже иным тоном. — Дорогой мой, должно быть, очень поздно. Я должен спать, спать! Позвольте мне взглянуть, — поднимаясь и задумчиво глядя повсюду вокруг, сначала на табуреты и диваны и затем на ковёр, — позвольте мне взглянуть, позвольте мне взглянуть; есть что-то, что я забыл, — забыл? Что-то я вроде бы смутно помню. Что-то, что мой сын — осторожный человек — сказал мне при отплытии этим утром, этим самым утром. На что-то обратить внимание — на что-то, прежде чем я приду на своё место.

Что бы это могло быть? Что-то о безопасности. О, моя худая старая память!

— Позвольте мне высказать небольшое предположение, сэр. Спасательный жилет?

— Да-да. Он велел мне не упускать из виду спасательный жилет в моём купе; сказал, что корабль также снабжён ими. Но где они? Я не вижу ничего. На что они похожи?

— Что-то вроде этого, сэр, я уверен, — поднимая коричневый табурет с кривым оловянным отсеком внизу. — Да, это, я думаю, и есть спасательный жилет, сэр, и очень хороший, я должен сказать, хотя и не претендую на то, чтобы больше знать о таких вещах, никогда не используя их самостоятельно.

— Почему же, действительно, вот! Кто бы подумал, что это он? Это спасательный жилет? Это же табурет, я сидел на нём, не так ли?

— Истинно так. И это показывает, что жизнь выглядит иначе, чем кажется кому бы то ни было. Фактически любой из этих табуретов, находящихся здесь, будет держать вас на плаву, сэр, если кораблю случится столкнуться с препятствием и утонуть в темноте. Но так как вы хотите остаться один в вашей комнате, умоляю, возьмите этот, — вручая его ему. — Я думаю, что могу по-

рекомендовать его; оловянная часть, — постучав на ней костяшками пальцев, — кажется, весьма прекрасна — по звуку очень полая.

— Уверен, что вполне прекрасная. Хотя… — Затем, с тревогой надев свои очки, он тщательно исследовал его с довольно близкого расстояния. — Хорошо спаянная? Вполне крепкая?

— Я должен сказать, что это так, сэр; хотя я, как уже говорил, действительно, сам никогда эти вещи не использую. Однако думаю, что в случае аварии в отсутствие хвойных древесных пород вы сможете полагаться на этот табурет из-за особой предусмотрительности.

— Тогда доброй ночи, доброй ночи; мы оба под хорошей защитой у Провидения.

— Будьте уверены, что это так, — глядя на старика с симпатией, пока тот стоял, держа денежный пояс в руке и спасательный жилет под мышкой. — Будьте уверены, сэр, с того самого момента, как вы и я одинаково понадеялись как на Провидение, так и на человека. Но, благослови меня Бог, нас оставляют здесь в темноте. Тьфу! И к тому же какой запах!

— Ах, мне пора идти, — вскричал старик, всматриваясь перед собой. — Где там моё купе?

— У меня зоркий глаз, и я покажу вам; но снача-

ла, ради здоровья лёгких всех присутствующих, позвольте мне погасить эту лампу.

В следующий момент угасающий огонёк потух, и вместе с ним исчезли огонь из рогатого алтаря и ореол вокруг лба одетого человека; затем в наступившей темноте доброжелательный космополит повёл старика дальше. Чего и следовало ожидать в этом маскараде.

КОНЕЦ

Мелвилл и Булгаков: эстафета. Послесловие переводчика

После публикации в 2016 году русского перевода романа Германа Мелвилла «Confidence-man: his masquerade (Маскарад, или Искуситель)» появилась версия, свидетельствующая о том, что главная идея «Мастера и Маргариты» — философия Сатаны — была подсказана вышеуказанной книгой. «Маскарад», очевидно, прочитала и перевела Булгакову его вторая жена Любовь Белозерская, хорошо знавшая английский язык и англосаксонскую литературу. Булгаков настолько проникся идеей и фабулой романа Мелвилла, что не мог отказать себе в стремлении «отбить мяч» после пятидесятилетнего писательского забвения великого и забытого, но возрождаемого в 1920-х годах творчества гениального американца. Даже первые варианты названий булгаковского романа совпадают с переводом названия книги Мелвилла.

Так например, многие детали у Мелвилла и Булгакова либо одинаковы, либо абсолютно противоположны. Воланд появляется на закате,

а Сатана под личиной кудрявого блондина — на рассвете. Месяц ниссан (апрель) у Мелвилла конкретизируется до точной даты — Первого апреля, Дня дурака. В «Маскараде» диалог Сатаны со студентом об исторических хрониках напоминает разговор Воланда и Берлиоза на Патриаших прудах, а диалог Азазелло с Маргаритой построен в ритме диалога Сатаны с благотворительницей, единственным женским персонажем «Маскарада». Надо отметить, что «Маскарад» почти целиком состоит из диалогов, напоминая своим построением пьесу. И не случайно булгаковский застывший пруд выступает антитезой могучему течению великой американской реки. У Мелвилла Сатана путешествует на корабле, а Воланд, словно по русской поговорке, появляется в Москве, чтобы устроить бал — сходит «с корабля на бал». Более того, слово «маскарад» по своей сути уже означает костюмированный бал-карнавал, который Булгаков переносит е с водной глади Миссисипи на российскую сушу. И таких сопоставлений открывается довольно много для того, чтобы понять: Булгаков заразился своей идеей на волне интереса к творчеству Мелвилла, пришедшей в литературный мир в 1920-х годах.

Еще в одной книге Мелвилла — «Mardi (Марди и путешествие туда)» — также показано вселение некоего беса в путешествующего философа Баббаланью, но из того бес, в конце концов, бесследно изгоняется, а в «Маскараде» остается. Кстати, имя этого беса —Азагедди- перекликается с именем булгаковского Азазелло.

Мелвилл ко времени написания своего романа теряет свою религиозность и выступает скорее как атеист или как человек, сильно сомневающийся в существовании сил добра. Например, в конце «Маскарада» Сатана в беседе с пожилым пассажиром все христианские книги называет апокрифами, то есть литературой, не имеющей ни доказательств проявления чудес, ни четкой исторической последовательности описанных в них событий. Причем эта беседа об апокрифах, завершающая «Маскарад», открывается в самом начале «Мастера»

И еще один аргумент, скорее, символический. Слова «Маскарад» и «Мастер» начинаются с одного слога.

Тут стоит рассмотреть значение слова «мастер», имеющее двойной смысл. Обыватели, читавшие роман, считают, что мастером назван Писатель. Но если взглянуть глубже, то английское слово

«master» означает владелец, хозяин, господин, король бала, где выбирают королеву. И Писатель на эту роль никак не подходит, хотя и носит это название. Хозяином и господином того московского маскарада-карнавала, что описал Булгаков, является не заключенный в «желтый дом» литератор, а сам Мессир Воланд. Как и на корабле «Фидель».

Напомним, что сам Булгаков довольно долго подбирал название к своему роману и оставил в нем такие слова, которые прямо не указывают на суть сатанинского вмешательства в светскую жизнь.

Обе книги — Мелвилла и Булгакова, написанные при разных обстоятельствах, в разных степенях и плоскостях свободы творчества, оказываются одновременно и антирелигиозными, и антиклерикальными, и пессимистичными по духу.

Возможно, что «Мастер» был бы написан лишь как книга о Сатане, если б у Булгакова не появилось сильное чувство к своей будущей третьей жене — Елене Шиловской Любовная линия и линия литературных нравов советской деспотии под антуражем буффонады дополнили линию мрачной философии писателя-американца, по-

родив в своем симбиозе один из сильнейших романов XX века.

К 200-летию Германа Мелвилла Галерея «Кампа-Арт» опубликовала его романы, никогда ранее не переводившиеся на русский язык:

«Редберн. Его первое плавание» (1849 г.)

Роман во многом строится на том периоде жизни писателя, когда он совершил путешествие в Англию юнгой на парусном корабле «Святой Лаврентий» в 1839 году, и подробно описывает всё, с чем ему пришлось встретиться в этом плавании.

Этот роман в отпечатанном виде вы можете приобрести у Администрации Галереи.

«Марди и путешествие туда» (1849 г.)

Это первый крупный роман Германа Мелвилла, («Моби Дик», «Маскарад», «Редберн»), впервые с момента выхода в 1849 году представленный русскому читателю.

Эту книгу всегда считали странной, как русские, так и англосаксонские критики, однако, в Российской Империи и СССР читатель мог судить о ней только заочно, поскольку идеи книги для любой деспотии всегда опасны.

Известный критик Ф. Шаль писал в 1849 году:

«Марди, и путешествие туда» — самая странная книга, которая когда-либо появлялась на Земном шаре. Это странное творение начинается как сказка, переходит к волшебству, вдается в аллегорию, достигает сатиры через элегию, драму и шуточный роман»

Это соединение памфлета и мелодрамы, этники и эзотерики, психологии и мемуаров, детектива и путевых заметок, философии и поэзии, вплетенных в историческую канву середины 19 века.

Главный герой попадает в метафорический мир, отражающий облик стран Старого и Нового Света в зеркале социумов условной Океании, где каждый остров имеет свой прототип или общественную модель.

Для широкого круга читателей.

Этот роман в электронном виде вы можете приобрести в магазинах: Ridero: https://ridero.ru/books/per/

ЛитРес: https://www.litres.ru/german-melvill-24154388/p-er/chitat-onlayn/

Amazon:https://www.amazon.com/dp/B08CZQMMZQ

На ridero.ru вы можете заказать печать книги в любом количестве экземпляров.

«Пьер, или Двусмысленность» (1852 г.)

Новая Англия. Первая половина 19-го века. Молодой, богатый, красивый и успешный американский ари стократ готовится к свадьбе. За несколько дней до этого события он получает письмо от таинственной незнакомки, которое делает его заложником понятий о чести и достоинстве, заставляя серьёзно пересмотреть свои планы.

Многие события взяты из жизни самого автора, неудовлетворённого как материальной, так и личной стороной своей жизни. В чём-то книга оказалась пророческой для самого писателя и повлияла на всю его дальнейшую судьбу.

Этот роман в электронном виде вы можете приобрести в магазинах: Ridero: https://ridero.ru/books/per/

ЛитРес: https://www.litres.ru/german-melvill-24154388/p-er/chitat-onlayn/

Amazon:https://www.amazon.com/dp/B08CZQMMZQ

На ridero.ru вы можете заказать печать книги в любом количестве экземпляров.

И ЕЩЁ сборник из трёх повестей Феликса Ван Клейна «Мой последний сон», включающий в себя:

Повесть двух времён **«Мой последний сон, вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах»**

В повести делается попытка создать окончание произведений Э. Т. А. Гофмана «Крейслериана» и «Житейские воззрения кота Мурра»

Повесть **«Партеногенез»**

Один день из жизни современной молодой женщины. От рассвета до заката. В повести предстают её взаимоотношения с родственниками, друзьями, коллегами, бывшими и потенциальными ухажёрами.

Время действия — конец 1980-х годов.

Тема — поиск своего места и своего счастья в жизни.

Мистическая повесть **«Будучи там. Исповедь самоубийцы»** Отчаянная попытка молодого мужчины выбраться из сложившейся вокруг него цепи замкнутости, безысходности и постоянных неудач, приводящая к решению добровольно уйти из жизни и заглянуть в мир, где, по его мнению, есть ответы на все вопросы.

Этот сборник вы можете купить уже в отпечатанном виде у Администрации Галереи.

По вопросам публикации, приобретения и распространения указанных книг просим обращаться по адресу:

art@kampa.ru или kampa-art@mail.ru.